

# Поль Бурже

## Женское сердце

### Глава I

#### Происшествие с каретой

В безоблачный светлый мартовский день восемьдесят первого года, около трех часов дня, с одной из двадцати «самых хорошеньких женщин» тогдашнего Парижа, как говорят газеты, графиней Кандаль, случилось крайне неприятное и опасное, но вместе с тем и обыкновенное происшествие. На повороте с авеню д'Антен к спуску Елисейских Полей лошадь испугалась, бросилась в сторону, упала и притом так неудачно, что карета ударилась о тротуар и левая оглобля сломалась. Графиня отделалась лишь сильным толчком и несколькими минутами нервного потрясения. Но все ее планы на этот день были разбиты; о количестве же их можно было судить по длинному списку, начертанному на белой грифельной дощечке, вделанной в кожаную рамку, находившуюся вместе с маленькими часиками и портфелем с визитными карточками внутри кареты. В то время, как молодая женщина выхо-

дила из кареты среди собравшейся вокруг нее толпы, ее хорошенькое тонкое личико с нежными чертами и тонким профилем, ясными голубыми глазами, освещенное горячим оттенком белокурых волос, выражало близкое к гневу недовольство.

Всеобщее любопытство, устремленное на нее, окончательно испортило ее настроение; вопреки своему всегдашнему справедливому и даже снисходительному отношению к прислуге, она сурово сказала лакею:

– Франц, как только лошадь встанет, ступайте в клуб Королевской улицы, и пусть этот разиня Аманд справляется сам, как знает. Через полчаса карета должна меня ждать у госпожи Тильер.

И, несмотря на свою слишком тонкую для ходьбы обувь, она направилась к улице Матиньон, где жила ее подруга, имя которой она только что бросила бедному Францу. Последний, здоровый малый, совершенно переконфуженный и бледный от испуга, с трудом поворачиваясь в своей длинной темной ливрее, не успел ответить: «Слушаюсь, графиня», как товарищ его, сойдя с козел, весь красный от стыда, разворчался на него за неповоротливость, за то, что он не умеет помочь ему. Но графиня Кандаль, пройдя сквозь толпу любопытных, всецело погрузилась в мысли о том, что все ее планы на этот день расстро-

ились.

– Разиня! – повторяла она. – Ведь надо же это-  
му случиться именно в тот день, когда я так спешу...  
Лишь бы еще Жюльетта была дома... Если ее нет, тем  
хуже, я подожду у ее матери... а мне бы необходимо  
ее застать... Вот уже скоро неделя, как мы не вида-  
лись. В Париже ни на что не хватает времени...

Рассуждая так про себя, она шла, высоко держа  
свою маленькую головку; на ней была очарователь-  
ная лиловая шляпа и серое, отделанное перьями то-  
го же оттенка пальто, плотно облегавшее ее гибкую  
талию. Она шла, чувствуя на себе взгляд прохожих, –  
взгляд, в котором молодая женщина читает победу, а  
старая – разрушение своей красоты. При встрече с  
женщиной, обладающей подобно Габриелле Кандаль  
той внешностью «дамы большого света», которой и в  
наши дни невозможно подражать, проходящий мимо  
нее мужчина разыгрывает целую комедию. Он прохо-  
дит мимо и точно ее не замечает. Но понаблюдайте за  
ним; стоит ей отойти шага на два – и тут вы увидите,  
каким быстрым движением он обернется раз, другой и  
третий, чтобы проводить ее глазами. Пусть физиологи  
объяснят эту тайну: чтобы удостовериться в произ-  
веденном впечатлении, ей не нужно оборачиваться. А  
теперь пусть моралисты объяснят другую тайну: она  
чувствует себя польщенной этим впечатлением неза-

висимо от того, каков прохожий; будь он горбатым, косым или одноруким, она все равно будет польщена, даже, если она, как графиня Кандаль, носит одно из самых прекрасных исторических имен Франции!..

Без сомнения, графиня не слыла в своем кругу кокеткой. Она только что избежала серьезной опасности: ей предстояло лишиться на некоторое время своей новой кареты – английской кареты, глубокой, с узкими окнами, сделанной в Лондоне по специальному заказу; и пользовалась-то ею она всего лишь два месяца!

И лошадь, конечно, испорчена; а это – лучшая лошадь из ее конюшни. Казалось бы, всего этого было слишком достаточно, чтобы войти в дом на улице Матиньон в самом плохом настроении духа. Но несмотря на все, когда затянутая в перчатку рука ее опустилась на старые тяжелые ворота, сдвинутые брови золотистого цвета на лице прелестной «Святой», – как называла ее подруга, к которой она входила, – не выражали уже прежнего гнева. В течение пятиминутной ходьбы она вкусила удовольствие сознания своей красоты под взглядами нескольких анонимных поклонников.

Чем меньше «Святые» позволяют себе быть женщинами, тем с большим наслаждением они вкушают это чисто женское удовольствие. В то время как пересекая двор, она приближалась к маленькому, защи-

ценному стеклянными рамами крыльцу, находившемся в глубине налево, лицо ее принимало слегка задорное выражение – признак хорошего расположения духа. Впрочем, это веселое настроение могло быть также вызвано ответом дворника, который сказал ей, что госпожа Тильер не выходила.

Возможность сейчас же рассказывать о перипетиях приключения, хотя бы вполне невинного, заставляет радоваться самому приключению, и, нажимая кнопку звонка, графиня улыбалась при мысли, что подруга ее испугается за нее больше, чем она сама...

Хотя, после событий, прологом к которым послужил этот неожиданный визит, прошло девять лет, но много ли в Париже и особенно в обществе, где вращалась графиня де Кандаль, таких лиц, которые помнят прелестную и таинственную женщину, которую графиня и в глубине души своей, и в разговоре с другими называла просто «мой друг»? Для смысла этой истории не будет излишним начертать несколькими штрихами облик теперь уже исчезнувшей подруги госпожи Кандаль, которая уже в ту пору была почти неизвестной даже для друзей своего друга. Но что же? Госпожа Тильер была одной из тех светских женщин, которые живут рядом со светом скромно и сдержанно, оставаясь для него незаметными, и прилагают столько же дипломатии, чтобы стусеваться, сколько их соперни-

цы ради того, чтобы блистать и властвовать. Кстати, самый выбор этого простого и скромного жилища с узким крыльцом, на котором в эту минуту вырисовывался аристократический силуэт Габриеллы, не служил ли символом ее характера? От этого дома, отделенного от главного корпуса двором, окруженного со стороны улицы Цирка садами, веяло уединением и одиночеством. И эта самая улица Матиньон, окаймленная с одной стороны длинной оградой с ее старыми, не изменившимися с прошлого века домами, – улица, которую объезжают стороной господские экипажи, предпочитая возвращаться с Елисейских Полей в предместье Сен-Оноре через авеню д'Антен, – не являлась ли в иные часы парадоксом провинциальной тишины в этом шумном современном квартале? Даже маленькая лесенка, изолированная в своем стеклянном убежище, имела оригинальную физиономию. Пять ступенек, обтянутых выцветшим ковром, вели к двери, верх которой был также стеклянным, чтобы свет проникал в переднюю; изнутри же она была затянута красной драпировкой. Это не был обыкновенный павильон: дом был четырехэтажный; нельзя было его также назвать и отелем в буквальном смысле слова, так как госпожа Тильер и мать ее госпожа Нансэ занимали лишь первый и второй этажи. Тем не менее они чувствовали себя вполне хозяйками это-

го жилища, особенно благодаря внутренней лестнице, соединявшей их квартиры и устранявшей необходимость пользования общей лестницей, правый вход которой был защищен одинаковой стеклянной рамой. Не будем преувеличивать значения всех этих мелочей; но подобно тому, как выставление напоказ роскоши предполагает некоторое тщеславие, — предпочтение, отданное этому несколько меланхолическому жилищу на довольно отдаленной улице, служило показателем известной душевной замкнутости, как бы страха перед светским успехом. Если бы госпожа Тильер не приложила всех стараний к защите своей интимной жизни, смогла ли бы она решить невероятно трудную задачу, а именно: оставшись в двадцать лет вдовой, будучи свободной, богатой и очаровательной, прожить десять лет в Париже, не заставив почти произнести своего имени?

Итак, вполне естественно, что равнодушные уже забыли эту женщину, столь не похожую на современных модниц. Но зато некоторые из ее, — о, конечно, немногочисленных! — друзей интересовались ею с фанатизмом, который с годами нисколько не остывал. На вопросы любопытных, удивлявшихся тому, что такая хорошенькая женщина хоронит свои молодые годы в плену, друзья ее неизменно отвечали: «Она столько страдала». И в тоне их слышалось, что

тема эта слишком щекотлива, чтобы о ней можно было говорить. Трагедия, сделавшая Жюльетту вдовой, оправдывала такую характеристику. Ее муж маркиз Рожер де Тильер, один из самых блестящих военных, капитан генерального штаба, был убит в июле 1870 г. рядом с генералом Дуэ одним из первых выстрелов этой ужасной кампании. Новость эта, объявленная маркизе на седьмом месяце беременности без всяких предосторожностей, вызвала страшный нервный припадок, после чего она очнулась матерью недоношенного ребенка, который не прожил и трех недель. Этого достаточно, не правда ли, чтобы чувствовать себя разбитой на всю жизнь. Но как бы ужасны или страшны ни были обстоятельства нашей жизни, они ничего в нас не создают. Самое большее, если они усиливают или ослабляют наши врожденные склонности. Госпожа Тильер всегда оставалась бы личностью неяркой, домоседкой, склонной к отшельничеству, даже если бы она была вполне счастливой и довольной жизнью.

Под искренним и безыскусственным стремлением держаться в стороне всегда скрывается болезненная утонченность чувства, особенно у таких красивых, родовитых, богатых, а следовательно, и быстро уносимых вихрем жизни женщин, как Жюльетта, – она и мать имели сто двадцать тысяч франков годового до-



хода. С первых же шагов такие женщины должны чувствовать, сколько лжи, банальности и скрытой грубости заключает в себе светская жизнь. Сразу их инстинкт оскорблен, и они уходят внутрь самих себя. Они реагируют на свет тем, что начинают размышлять; в них развивается утонченность чувства; у них – истинно артистическое умение уйти в интимную жизнь. Они чувствуют потребность, чтобы все в их существовании, начиная с обстановки, туалетов и кончая дружбой и любовью, было исключительным, редкостным, особенным и индивидуальным. Они стараются избавиться от моды, а если подчиняются ей, то переделывают ее по-своему. Они много живут у себя и так устраиваются, что быть принятым у них считается большой милостью. Как они этого достигают? Это их тайна. Их приходится долго просить, чтобы позвать к себе; этим путем они достигают того, что присутствие их в каком-нибудь салоне так же считается с их стороны милостью. Но такие милые маневры для них не безопасны, во-первых, потому, что грозят придать слишком большое значение их особе, а, во-вторых, они искусственно развивают в их душе болезненность и сложность. Но в общении с такими женщинами есть какая-то необыкновенная прелесть. Ведь общение это предполагает выбор, лестный для самолюбия друзей. В него входит множество знаков вни-

мания, много постоянного баловства. Такие женщины привыкли детально изучать характер всех, кто к ним приближается, и их житейский такт избавляет вас от малейших обид-.

Для тех, кто жил в их интимной сфере, они становятся необходимыми и незаменимыми. Исчезая, они оставляют по себе столь же глубокие, сколь и немногочисленные воспоминания; такова была судьба Жюльетты. Даже и теперь при встрече с некоторыми верными посетителями маленького салона улицы Матиньон – художником Феликсом Миро, генералом Жардом, бывшим дипломатом д'Авансоном, бывшим префектом Людовиком Аккранем – попробуйте, ради опыта, рассказать какой-нибудь анекдот, могущий дать пищу пересудам, и разговор не обойдется без таких ответов с их стороны:

– Если бы вы знали госпожу Тильер...

Или:

– Таких людей вы наверняка не встретили бы у госпожи Тильер...

Или:

– Я знал только одну госпожу Тильер, которая...

Но не настаивайте. Иначе лица их примут выражение авгуров, и они вернутся к обычной теме своих разговоров: Миро – к своей последней картине «Цветы»; Жард – к новому проекту вооружения; д'Авансон – к

своей тайной миссии в Италии после Садовы; Людовик д'Аккрань – к своему делу о ночлежничестве, деятельным агентом которого он состоит. И вам кажется, что в школе своего бывшего друга они вполне усвоили ту деликатность, которой такие женщины требуют от своих поклонников. Впрочем, были ли они способны – художник своим конкретным, слишком картинным языком, генерал своим техническим словом, дипломат необычайной любезностью своих формул, а бывший чиновник административной холодностью своих фраз – передать столь неуловимое явление, как обаяние, которым госпожа Тильер обладала в исключительной степени? Обаяние! Только женщина, сильно любившая другую женщину, – это бывает, – способна в тайном признании вдохнуть жизнь в то волшебное, таинственное и пленительное «нечто», которое обозначается словом «обаяние» – словом, которое само по себе не поддается определению. Для того, чтобы представить себе госпожу де Тильер во всей ее невинной и зачаровывающей прелести, следовало обращаться к графине Кандаль, если только она соглашалась говорить – чего почти не бывало, так как бедная «Святая» боялась воспоминаний о ней, как упрека. Нам так трудно, когда упреки совести заставляют трепетать фибры нашего сердца, не считать себя причиной того несчастья, к которому мы

случайно подали повод; и сколько раз чуткая графиня мысленно переносилась к той минуте, когда в светлый мартовский день она позвонила у двери «своего друга», и каждый раз при этом думала: «А что, если бы в этот день нам не пришлось говорить друг с другом? Если бы я не поехала на улицу Матиньон?» Называть ли случайностью или судьбой ту постоянную и неожиданную игру событий, от которой иногда счастье или несчастье какого-нибудь существа зависит от падения лошади на мостовой, неловкости кучера, сломавшейся оглобли, следствием чего было посещение графини?

Случай, судьба или провидение? Кто знает! Но ни эти вопросы, ни какое-либо другое мучительное предчувствие не роились в хорошенькой белокурой головке графини Кандаль, когда лакей, проведя ее через большую гостиную, ввел в другую, маленькую, где, как всегда, сидела Жюльетта. Она писала, сидя за узким письменным столиком, защищенным низкими ширмами и стоявшим в углу между окном и дверью, – так что, поднимая глаза, она видела сад. В этот голубой, безоблачный весенний день на еще черных ветвях деревьев начинали появляться лиловатые почки. Зеленый газон редкими и короткими былинками пронизывал темную землю, а так как простая, покрытая плющом стена отделяла маленький садик от двух боль-

ших садов, простиравшихся до самой улицы Цирка, то хорошенькое личико ее рельефно выделялось на их безлиственном фоне. Увидев госпожу Кандаль, она удивленно-радостно вскрикнула и встала, чтобы обнять ее.

– Видишь, я одета и жду карету, – сказала она. – Я собиралась поехать к тебе, узнать о твоём здоровье...

– И ты бы меня не застала, – ответила графиня, – и никто не рассказал бы тебе, что ты могла никогда не увидеть меня такой, какой видишь сейчас.

– Какое безумие!

– Я только что избежала очень серьезной опасности.

– Ты меня пугаешь...

И Габриелла начала свой рассказ – слегка преувеличенный, как все женские рассказы, – о приключении с каретой. Жюльетта же изредка прерывала ее речь легкими восклицаниями. Комната, где находились подруги, была мягким и теплым гнездышком, самым подходящим для задушевных бесед двух близких друзей; весь день она нагревалась горячим мартовским солнцем, а теперь тепло исходило от камина, в котором медленно горели длинные, широкие полена. Напрасно вы стали бы искать в этой комнате груды пестрых материй и безделушек, без коих не могут обойтись современные парижанки. Обладая остроумной

аристократической фантазией, госпожа Тильер просто перенесла в свое жилище обстановку одного из будуаров замка Нансэ, так что все, до мельчайших подробностей в этой маленькой гостиной, было во вкусе времен Людовика XVI, – эпохи, в которую один из предков госпожи Тильер, Карл де Нансэ, покровитель Ривароля, реставрировал свой замок. Белый тон этой прелестной тонко сработанной мебели и голубой оттенок поблекшей материи гармонировали с висевшими в золотых рамах старинными портретами. Подсказал ли внутренний голос Жюльетты, что именно эта обстановка прошлого столетия наиболее подходила к ее своеобразной красоте? Без сомнения, с легкой дымкой пудры на белокурых волосах, пепельно-белокурых, отличавшихся от золотисто-белокурых волос Габриеллы, мушками в уголке тонкого рта, румянами на розоватых щеках, высокими туфлями на маленьких ножках и в охватывающем: ее гибкую талию платье Марии Антуанетты она казалась бы современницей знаменитой маркизы Лоры де Нансэ, портрет которой стоял на камине рядом с портретом маркиза Карла. И даже без мушек, пудры, румян и туфель она поражала вызывавшим даже некоторое беспокойство сходством со своей прабабушкой, так недостойно вознагражденной за свою романическую страсть – во времена далеко не романические – ужасной страни-

цей из воспоминаний Тилли. У Жюльетты, так же как и у ее красивой прабабушки, грациозная детская внешность, напоминавшая хрупкую статуэтку из саксонского фарфора, уравновешивалась глубоким выражением взгляда и грустным отпечатком улыбки. Еще одна подробность в лице госпожи Тильер преображала в мечтательное очарование хорошенькую миловидность XVIII века. В те минуты, когда она волновалась, не желая этого показывать, внезапно зрачки ее так расширились, что прекрасные нежные темно-голубые глаза казались совершенно черными; в них ощущалась болезненная нервность, сдерживаемая очень сильной волей. Это лицо, заключавшее в себе столько благородства, родовитости и сдержанной страсти, являлось странным контрастом с таким же тонко-аристократическим, утонченным вековой наследственностью, но энергичным и деятельным лицом графини Кандаль. Живя под гипнозом своего культа к грозному маршалу де Кандаль, другу Монлюка, соперничавшего с ним в жестокости, графиня в пору религиозных войн была бы одной из тех воинственных женщин, о жестокостях которых рассказывает Эстуаль, а в пору, более близкую к нам, — шуанкой, одной из тех амазонок Вандеи, которые участвовали в перестрелках на дорогах с такою же храбростью, как самые бесстрашные из их товарищей. Олицетворенная

мягкость и нежность маркизы Тильер напоминала тех героинь любовной жизни, тип которых история воплотила в трогательных образах Лавальер или Аиссэ. Одна была как бы портретом кисти Ван-Дейка, сошедшим с полотна в силу атавизма, а другая – старинной пастелью, одухотворенной таинственным вдохновением. Но если внешним аналогиям соответствовала аналогия внутренняя и если действительно в душе одной трепетали струны скрытого героизма, а в душе другой таилась бездонная страсть, то самому тонкому наблюдателю не удалось бы этого открыть, прислушиваясь к разговору, происходившему в углу, на диване. Окончив рассказ о своем приключении, одетый Бортом портрет кисти Ван-Дейка и наряженная в платье от Дусе старинная пастель начали рассказывать друг другу о том, как провели они последнюю неделю; и разговор этот был ничем иным, как простой болтовней двух подруг, говоривших по очереди то о тряпках, то о визитах, то о вечерах, – болтовней, – это противное слово вполне верно характеризует милое щебетание насмешливых птичек, – кончавшейся неизбежной в таких случаях фразой, произнесенной графиней:

– Итак, когда же ты приедешь ко мне обедать и хорошенько поговорить? Хочешь завтра?

– Завтра? Нет, – ответила госпожа Тильер, – у меня обедает моя кузина Нансэ. Так не хочешь ли после-



завтра в четверг?

– В четверг? Четверг? В этот день я занята; я обедаю у своей сестры д'Арколь. Тогда не хочешь ли в пятницу?

– Да это скачка! – сказала, смеясь, Жюльетта. – Я обедаю у д'Авансон. Представь себе, мне придется мирить своего поклонника с его женой. Но госпожа д'Авансон ложится очень рано, а это как раз день твоего абонемена в Опере, и если у тебя никого не будет...

– Никого... Вот это великолепно! Не бери своей кареты; к девяти часам я сама заеду за тобой к д'Авансон... Но до пятницы еще очень, очень далеко. Да, вот мысль! Не придешь ли ты ко мне просто сегодня вечером?

– Нет, – ответила госпожа Тильер, – взгляни на мой стол, я кончала это письмо в ту минуту, когда ты вошла... Я писала Миро; он уже очень давно просит меня назначить ему день, и так как сегодня я дома вдвоем с моей матерью...

– Не посылай письма, вот и все, – возразила графиня, – и ты сделаешь мне большое одолжение... Этот обед меня немного тяготит... Вся охотничья орава из Пон-сюр-Йоны. Ты знаешь этих охотников: Прони, д'Артель, Мозе... и, наконец, – нерешительно сказала она, – может быть, только с последним из них ты

не пожелаешь познакомиться, – с ним... Ведь ты такая, как говорят англичане, «патикьюлэ»...

– А французы – неприступная или несносная, – смеясь, прервала ее Жюльетта. – И все это потому, что я не хочу бывать у тебя, когда у тебя творится столпотворение... А кто это таинственное лицо, с которым я должна запретить тебе меня знакомить?..

– О, совсем не таинственное! – возразила Габриелла.

– Это Раймонд Казаль.

– Тот самый... госпожи Корсьё? – спросила Жюльетта и, получив утвердительный ответ, лукаво продолжала:

– Дело в том, что строгий Пуаян отнесется к этому неодобрительно, и я неизбежно услышу фразу: «Зачем госпожа Кандаль принимает таких людей?»

Вероятно, графиня мало симпатизировала другу, над неявной бдительностью которого весело подсмеивалась Жюльетта, так как насмешка эта вызвала у нее недобрую радость, на миг блеснувшую в ее глазах. словно ободрившись, она продолжала:

– Во-первых, ты скажешь ему, что это друг моего мужа гораздо больше, чем мой. И, во-вторых, могу ли я говорить с тобой откровенно? Казаль, не правда ли, для тебя и для Пуаяна и для кого бы то ни было, – шалопай, бывающий у женщин только для того, чтобы

губить их, фат, скомпрометировавший госпожу Гакевиль, д'Эторель, Корсьё, тысячу и трех других, игрок, который ведет в клубе нелепую игру, огрубевший тип, который встает из-за игорного стола только для того, чтобы садиться на лошадь, фехтовать или охотиться и вечером надринькаться как лорд? Таков только твой Казаль и Казаль твоего Пуаяна...

– Мой Казаль! – прервала ее Жюльетта. – Да я его совсем не знаю; да и Пуаян – совсем не «мой»; я не желаю брать на себя ответственность за антипатии моих друзей, будь же справедлива?..

– Конечно, конечно, твой Пуаян, – настаивала графиня. Что если бы он просто овдовел, а не разъехался со своей женой, что если бы эта самая негодная жена сделала ему приятный сюрприз и умерла во Флоренции, где она ведет такую жизнь?..

– Что же? Кончай, – сказала Жюльетта.

– Мне всегда казалось, что ты способна выйти за него замуж; что же касается до него – я готова держать пари: он думает об этом и охраняет тебя, как невесту.

– Во-первых, не думаю, чтобы у него были такие злодейские замыслы, – громко смеясь, сказала Жюльетта, – а во-вторых, не знаю, что бы я ответила, если бы представился такой случай... Наконец, почти тридцатилетняя невеста может не бояться чар фатоватого прожигателя жизни, ярого игрока, отчасти жо-

кея, довольно хорошо владеющего оружием, и горького пьяницы, – вот верный, хотя и не лестный портрет твоего гостя...

– Ты прервала меня как раз в тот момент, когда я хотела сказать, что этот легендарный Казаль так же мало похож на настоящего, как изображенный в «Жатве» Наполеон III не похож на нашего бедного императора... Казаля считают фатом? Но виноват ли он в том, что жизнь столкнула его с тремя или четырьмя сумасшедшими, которые афишировали свою связь с ним. Смейся сколько тебе угодно. Да, они его афишировали! Полина Корсьё дошла до того, что ее невозможно было принимать. А после разрыва кто стал сплетничать направо и налево? Он или она? Я знаю только одно – я, которая дорожу своей репутацией честной женщины, – что никогда, слышишь ли, никогда, он не сказал мне чего-нибудь такого, что не должен был говорить. Он умен, интересен и полон воспоминаний о своих путешествиях. Он изъездил весь свет: Восток, Индию, Китай, Японию. Прожигатель жизни? Игрок? Он был только немного богаче всех этих господ, а потому имел больше лошадей и проигрывал более крупные куши. Есть чем возмущаться! Возможно, что у него есть страсть к фехтованию, но он о ней не говорит, и я никогда не слышала, чтобы он злоупотреблял своим умением владеть шпа-

гой. Возможно также, что он пьет, но, приходя ко мне, он всегда владел собой в совершенстве... Знаешь ли, что он такое? Балованный ребенок, которому жизнь всегда давалась слишком легко, но который сохранил в себе много хороших качеств. И при этом красив! Но ты его видела?..

– Да, кажется, мне его раз показывали в Опере, – сказала Жюльетта. – Он высокий, с черными волосами и белокурой бородой.

– Так это было давно, – возразила Габриелла, – теперь он носит только усы. Какая странная вещь – жизнь в Париже! Вы, вероятно, встречались сотни раз.

– Я так мало выезжаю, – сказала Жюльетта, – да и к тому же по рассеянности никогда никого не узнаю.

– Но выйдешь ли ты, наконец, сегодня вечером, чтобы посмотреть прекрасного Казаля, да или нет?

– Да, но как ты о нем говоришь! Как ты себя взвинчиваешь! Если бы я тебя не знала...

– Ты сказала бы, что я в него влюблена? Не правда ли? Что же делать? Ведь в моих жилах течет боевая кровь и отвращение к светской несправедливости... Но смотри, не выдай меня Пуаяну!

– Ах, опять Пуаян! – воскликнула Жюльетта, пожимая своими тонкими плечами.

– Конечно, – продолжала графиня, встряхнув голо-

вой. – Когда его нет, все идет прекрасно. А потом он поговорит с тобой, и я всегда замечала, как действует на тебя каждое его слово... Но кто-то входит... На этот раз карета готова...

Когда лакей объявил, что карета подана, началось прощальное щебетание и посыпались возгласы: «уже», «да ведь ты только что приехала», «до вечера, моя милая», потом поцелуи, смех при вновь произнесенном имени Казалья, после чего, с отъездом госпожи де Кандаль, наступила тишина, еле нарушаемая тиканьем часов и треском топившегося камина. Оставшись одна, Жюльетта села за письменный стол и, разорвав записку, предназначавшуюся для Миро, вынула из шкатулки голубую депешу для того, чтобы начать другую, что оказалось гораздо труднее, так как она долго сидела, вертя своими тонкими пальцами ручку и устремив взор на сад, который теперь, под нахмурившимся небом, казался меланхоличнее. И вот строки, которые она, наконец, решилась написать:

«Мой друг, не приходите сегодня раньше одиннадцати часов вечера. У меня только что была Габриелла, с которой мы не видались уже десять дней, и мне пришлось согласиться на ее приглашение отобедать у нее сегодня. Уехать от нее тотчас после обеда – значило бы поступить с нею не по-дружески. А потому прошу вас на меня не сердиться, если я на два

часа отложу наше свидание, когда вы расскажете мне о том, что произошло сегодня в палате, и о том, как вы говорили. Не являйтесь ко мне с разочарованными глазами, в которых я читаю упрек по адресу того, что вы ошибочно называете моей светскостью. Вы слишком хорошо знаете, что представляет собой для меня свет без вас, без тебя, и как бы я хотела иметь право объявить всем, что значишь ты для твоего друга Жюльетты». Запечатав депешу, она написала на оставленном для адреса месте имя известного в ту эпоху оратора из правых, игравшего в Версале ту же роль, которую теперь с большим благородством выполняет де Мэн. И это имя было: граф Генрих Пуаян – вот доказательство того, что даже самые близкие подруги лишь наполовину посвящают друг друга в свои тайны. Если графиня, как мы видели, и подозревала о чувствах Пуаяна к Жюльетте, то, во всяком случае, – она была очень далека от мысли, что чувства эти взаимны и что любовная связь соединяла эти два существа.

Очень честные женщины, – Габриелла была такой, хотя и слишком много об этом говорила, – часто отличаются такой наивностью, которая доказывает их безграничную прямоту. А сколько еще вещей читалось между строками этой хорошенькой синей бумажки! Если бы Жюльетта искренне перечла ее вместо того, чтобы сейчас же запечатать, она отдала бы себе

отчет в том, что нежность этих кокетливых фраз, внезапное «ты» и ласковое окончание письма служили прикрытием, а, может быть, и вознаграждением... За что? За вероломство? Нет. Но все-таки за ними скрывалась маленькая измена. Всякий поступок будет изменой, если возлюбленная заранее знает, что, совершая его, она огорчит своего друга. И разве Пуаян, который в этот день должен был говорить на важном заседании палаты, не почувствовал бы себя оскорбленным, узнав, что Жюльетта, имея возможность видеть его с восьми часов и пропустив заседание палаты под каким-то легкомысленным предлогом, сверх того еще отсрочила свидание с ним для того, чтобы обедать с человеком, которого он не любил? Она не сказала Габриелле, что несколько раз, когда разговор заходил о госпоже де Корсьё, мужа которой де Пуаян знал, он отзывался о Казале весьма резко. Перечитав еще раз эту прелестную записку, может быть, хорошенькая вдова и задала бы себе вопрос, почему, — связав навсегда свою жизнь тайным обещанием выйти замуж за Пуаяна, — слушая Габриеллу, она испытывала какое-то странное любопытство к этому Казалю, столь антипатичному своему будущему мужу. И, может быть, если бы она была вполне правдива с собой, то осознала бы, что в ее чувство к де Пуаяну начинало вкрадываться утомление, а переход от легкого



утомления к большой скуке совершается так же быстро, как переход от малого любопытства к большому кокетству... Но можем ли мы распутать моток тысячи ниток, которые сплетаются в наших мыслях и которые скрываются фразами писем к лицам, близким нашему сердцу? Мы так же мало отдаем себе отчет в тайном смысле наших любовных писем, как и в тех трагических событиях, к которым мы бываем причастны.

И когда спустя полчаса Жюльетта приказала кучеру остановиться перед почтой, чтобы самой опустить в ящик свою депешу, она ничуть не подозревала значения своей тонкой и нежной прозы, так же как и графиня де Кандаль не подозревала, какое роковое влияние будет иметь ее импровизированное приглашение на жизнь ее самого близкого друга.

## Глава II

# Незнакомец

Госпожа Тильер имела привычку одеваться заранее в те дни, когда она была кем-нибудь приглашена, чтобы по крайней мере присутствовать при обеде своей матери.

Прожив тридцать лет в провинции, госпожа Нансэ сохранила привычку аккуратно садиться за стол в ту минуту, когда часы били без четверти семь. Небольшая столовая, где едва могло поместиться человек десять, находилась во втором этаже и принадлежала им обоим. Эта мать, обожавшая свою дочь ради нее самой, а не ради себя, – чувство, так же редко встречающееся у матери, как и у дочерей, – старалась устроиться так, чтобы жизни их скрещивались, но не сливались. У нее был свой этаж, своя гостиная, своя прислуга и независимое распределение дня; зимой, как и летом, она вставала в шесть часов утра для того, чтобы бывать у обедни в соседнем монастыре, ложилась в девять и никогда не спускалась в первый этаж. Ей хотелось, чтобы Жюльетта одновременно имела в ее лице заступницу и пользовалась такой же полной свободой, как если бы жила одна. В избытке самоот-

вержения она даже упрекала себя за то, что позволяет себя баловать госпожей Тильер каждый раз, когда эта последняя собиралась выезжать в свет.

Но она все-таки позволяла себя побаловать, понимая, что в противном случае и без того мало выезжавшая Жюльетта навсегда откажется от выездов. Кроме того, для нее было большим наслаждением первой полюбоваться нарядом дочери. Обе они переживали там иногда минуты, полные интимной нежности. В таких случаях редко допускалось к ним третье лицо. В первое время, когда Пуаян начал ухаживать за Жюльеттой, он постоянно придумывал разные предлоги, чтобы полюбоваться этим зрелищем, ласкавшим его взор: в столовой, где царила полная тишина и горели две большие лампы стиля ампир, стоявшая на коленях, молодая, разодетая женщина прислуживала своей старой матери, всегда одетой в траурное платье. Но с тех пор как отношения его с Жюльеттой изменились, он испытывал некоторое смущение, чувствуя на себе взгляд госпожи Нансэ. Человек этот, общественный деятель, известный своим хладнокровием, которое не оставляло его даже среди партийных врагов, мучился в присутствии этой почтенной особы теми тоскливыми опасениями, которые порождает в прямой, честной душе преступная тайна. Он боялся этих чистых, голубых, умных глаз, – глаз старой полуглу-

хой женщины; это было все, что осталось молодого на бледном увядшем лице. Несмотря на то, что госпоже де Нансэ только что исполнилось шестьдесят лет, ей можно было дать семьдесят – так сильно ее собственное горе и горе дочери подточили в ней жизненные силы. За год до вдовства Жюльетты она потеряла мужа и двух сыновей. Эта скорбная мать, очевидно, мысленно постоянно пребывавшая со своими дорогими покойниками, радостно оживала в присутствии своего последнего детища Жюльетты, видя ее разодетой, веселой и ласковой, как в эти полчаса перед обедом госпожи Кандаль. В этот вечер на Жюльетте было черное кружевное платье на розовом муаровом чехле с бантами того же цвета. В пепельных волосах и тонких ушах блестели жемчуга. Чуть заметный вырез лифа открывал нижнюю часть ее горла и начало гибких плеч, обрисовывая упругую постановку шеи и стройность бюста. Одета таким образом, она совмещала в себе прелесть молодой женщины с прелестью девушки. Ее полуобнаженные руки беспрестанно двигались, а красивые, покрытые кольцами пальцы то и дело оказывали матери ряд услуг: наливая в стакан воду, приготавливая хлеб или выбирая фрукт, чтобы его разрезать. Когда она отдавалась этим милым заботам, голубые глаза ее светились на розовом фоне ее личика, более оживленного, чем обыкновенно. Губы,

в правом уголке которых виднелась маленькая ямочка, весело улыбались. Словом, у нее был довольный вид, как в те дни, когда что-нибудь ее радовало. Мать чувствовала себя счастливой, глядя на радостное выражение ее лица. С первого же взгляда она знала, тяготилась ли Жюльетта предстоящим вечером или же готовилась действительно веселиться; и в этом веселье ей чудилось возвращение в свет со всеми шансами на вторичный брак для этой дочери, которую она боялась скоро оставить в одиночестве. И вот, помолчав немного и приближая к уху дрожащую руку, чтобы вернее уловить ответ, она громко, как говорят глухие, сказала:

– Я, пожалуй, стану ревновать тебя к Габриелле: ты так рада к ней ехать. А кто же еще будет у нее?

– Очень немногие, – ответила госпожа Тильер, краснея. – Охотники из Общества охоты Кандаль. Она пригласила меня помогать ей.

– А все-таки пример этого брака мешает тебе вторично выйти замуж, – сказала госпожа Нансэ, качая головой. – Бедная она женщина, и сколько в ней мужества, и со всем этим нет детей!

– Да, – ответила Жюльетта, – в ней столько мужества, – и при мысли о тайном горе, точившем жизнь подруги, глаза ее мгновенно потускнели.

Людовик Кандаль еще до брака состоял в связи с

некоей госпожой Бернар, женой одного богатого фабриканта, от которой имел сына. Вскоре после женитьбы связь эта возобновилась совершенно открыто, и в течение десяти лет графиня переносила ее с гордой покорностью, которая объясняется одним простым обстоятельством: все состояние принадлежало ей, и благородная женщина не хотела, чтобы последний из рода Кандаль был принужден жить на выключенную у оскорбленной жены пенсию. К тому же она все надеялась иметь сына, который бы носил то имя де Кандаль, к которому она питала самый романический культ. Наконец, несмотря на все, она любила своего мужа. Из рассказов Габриеллы Жюльетта знала эту грустную историю и знала ее слишком подробно, чтобы не разделять всей ее горечи. Дополняя фразу своей матери, она прибавила:

– Не думаю, чтобы у меня нашлось когда-нибудь столько терпения.

– Однако, – возразила госпожа Нансэ, – я напрасно напомнила тебе об этих грустных вещах. Ты опять стала мрачной, какой я не люблю тебя видеть. Улыбнись мне перед отъездом и будь весела, как давеча. Я была так счастлива... Вот уже почти шесть месяцев, что я не видела тебя с такими глазами.

«Дорогая мама, – думала Жюльетта четверть часа спустя, в то время как карета уносила ее к улице Тиль-

зит, где жили Кандаль, – как она меня любит! И как она знает выражение моих глаз и как умеет в них читать! Ведь она права: обед у Кандаль забавляет меня, как ребенка. Но почему?»

Да, почему? Этот вопрос, которого она еще себе не задавала ни после разговора с подругой, ни после письма к Генриху Пуаяну, внезапно овладел ею после замечания ее матери и как только она уселась в угол кареты. Карета – такое место, где женщины предаются самым глубоким размышлениям, так как здесь они чувствуют себя наиболее изолированными и защищенными от трепещущей вокруг них жизни. Всего лишь десяти минут, проведенных таким образом, – десяти минут, отделяющих улицу Матиньон от улицы Тильзит, – часто было достаточно для госпожи Тильер, чтобы проанализировать в мельчайших подробностях все факты, подмеченные на том или другом вечере. Но на этот раз потребовались бы целые часы для того, чтобы она могла разобраться в работе, происходившей в ее голове после разговора с Габриеллой, и хотя эта молчаливица хорошо себя знала, она все-таки на этот раз ошиблась относительно происхождения этой работы.

Зародыш любопытства, зароненный в ее душу именем Казалья, вызвал брожение в ее мечтах. Весь день, машинально двигаясь и разъезжая, она думала о

нем, воспринимая без всякой предосторожности образы, витающие вокруг этого имени. Таким образом, ей представилась госпожа де Корсьё такую, какой она встретила ее в эпоху разрыва с Казалем, – унылой, меланхоличной и изменившейся до неузнаваемости.

В каждом женском сердце заключается некоторая доля интереса к такому мужчине, который сумел заставить другую женщину любить себя до могилы. Этот смутный интерес давно уже шевельнулся в душе госпожи Тильер, и теперь она вспомнила, что тогда еще почувствовала безграничную жалость к покинутой и спрашивала себя: «Что именно в этом человеке способно вызвать любовь, доводящую свою жертву до бесчестия?..» Странное любопытство госпожи де Тильер разжигалось еще тем обаянием, каким обладают в глазах многих честных женщин профессиональные распутники. Уступив своему возлюбленному на самых нравственных основаниях, несмотря на неопределенность своего положения, на которое, впрочем, и она, и Пуаян смотрели как на брак, Жюльетта сохранила всю щепетильность честной женщины.

Это обаяние, в силу которого, если можно так выразиться, дон-Жуаны зачаровывали Эльвир, – вспомним бессмертный символ, созданный Мольером, – часто было отмечено и не раз возбуждало сетованья.



Оно до сих пор еще остается неразрешимой загадкой. Некоторые хотят видеть в нем особый вид женского безумия, аналогичного тому мужскому безумию, которое один мизантроп-юморист назвал «жаждой искупления», желанием искупить куртизанок любовью. Другие же ставили диагноз простого тщеславия. Не является ли предметом гордости для женщины то обстоятельство, что она, заставляя распутника обожать себя, этим самым как бы одерживает победу над своими бесчисленными соперницами, над теми, которые ей, как женщине добродетельной, более всего ненавистны? Быть может, мы разрешим эту загадку, предположив, что существует как бы особый закон «сердечного пресыщения». Мы способны воспринимать лишь ограниченное количество впечатлений определенного порядка. Лишь только вместимость эта заполнена, мы бессильны воспринимать подобные впечатления и ощущаем потребность во впечатлениях противоположных. Один факт подтверждает эту гипотезу: интерес к распутникам начинается у честных женщин лишь с тридцати лет, когда добродетельная жизнь дала им все свои несколько суровые радости. Конечно, в ту пору, когда госпожа Тильер приехала в Париж молодой вдовой, тотчас после войны, опьяненная страданием и гордостью, личность того самого Казаля, который все больше и больше занимал ее за

несколько последних часов, могла внушить ей только антипатию. Но теперь среди охватившего ее вихря мыслей она, сама того не подозревая, «кристаллизировалась», по остроумному, вошедшему в моду выражению Бейля, и причиной этого был человек, с которым ей предстояло провести вечер. Она считала себя вполне искренней, давая на вопрос «почему» следующий смело сформулированный ответ: «Меня просто интересует узнать человека, которого так ценит Габриелла, несмотря на его дурную репутацию, – вот и все...» И чувствуя в глубине души что-то нездоровое в своем тайном желании этой встречи, она, чтобы оправдать себя, прибавила: «Это вечная история запретного плода». Во всяком случае, было ли это стремление нездоровым или нет, но самому тонкому наблюдателю не удалось бы его подметить, когда, выходя из кареты во дворе отеля Кандаль, она ясным и спокойным голосом сказала кучеру: «Подать карету в без четверти одиннадцать...» При входе в гостиную, где уже собрались все гости, ее загадочное лицо выражало спокойную ясность, и когда ей был представлен тот, ради кого в конце концов она приняла это приглашение, она, казалось, еле обратила на него внимание. Казаль поклонился ей с таким же равнодушием, и Габриелла, наблюдая за обоими, видя холодность своей подруги, испугалась, не прочел ли ей

нравоучения Пуаян. Она подошла к Жюльетте и тихо сказала:

– Ну, что же? Как ты его находишь?

– Никак, – ответила госпожа Тильер. – Он – красивый малый, каких много. – Я говорила тебе, – продолжала госпожа Кандаль, – что он не в твоём вкусе. Предупреждаю тебя, что за столом он будет сидеть рядом с тобой. Но если тебе это неприятно, ещё есть время переменить.

– К чему? – возразила Жюльетта, грациозно покачивая головой.

Габриелла не настаивала. Однако это чрезмерное равнодушие показалось ей неестественным, и она не ошиблась. Обе женщины были очень дружны. Но женская дружба отличается от мужской тем, что последняя не может существовать без полной откровенности, между тем как вторая без нее обходится. Подруга никогда вполне не доверяет словам подруги, но это постоянное взаимное недоверие не мешает им нежно любить друг друга. В действительности, с тех пор, как госпожа Тильер вернулась в свет, ни один мужчина не производил на нее впечатления, подобного тому внезапному толчку, который она ощутила с первого взгляда на бывшего любовника госпожи Корсьё. Нетерпеливое ожидание натянуло все струны ее души, и она с непривычной для нее напряженностью

приготовилась почувствовать или грусть разочарования, или радость встречи с существом, оказавшимся на высоте ее любопытства. В наружности Казалья было нечто такое, что могло сильно поразить романтическое воображение даже без этой подготовительной внутренней работы. Молодой человек действительно являлся загадочной противоположностью своей репутации, контрастом, на котором Габриелла так настаивала, что смутно взвинтила воображение Жюльетты. Он вовсе не был «красивым малым, каких много», как с лицемерным презрением выразилась о нем последняя; не больше сходства было у него также и с неприятным обликом, оставшимся в ее памяти от давнишней их встречи в клубе, когда он с видом угрюмой наглости стоял, опершись на бархатную балюстраду лужи.

Для каждого лица существует такой возраст, такая исключительная пора, когда оно достигает высшей степени интенсивности выражения. Для некоторых мускулистых и желчных мужчин, каким был Казаль, такой период совпадает со второй молодостью. Казалю было тридцать семь лет. Разгульная жизнь, изнуряющая натуры лимфатические, парализующая полнокровных, приводящая к безумию нервных, чрезмерные и бесчисленные утомления дня и ночи Казалья утончили и как бы одухотворили. Они оставили на ли-

це его следы, напоминавшие следы дум, знаки, как бы говорившие о внутренней благородной меланхолии. Лицо его отличалось той жгучей бледностью, которую невозможно искусственно приобрести и против которой бессильны и бессонные ночи, проведенные за игрой, и дни охоты, когда воздух стегает вас по лицу. Коротко остриженные и еще очень черные волосы густо обрамляли его квадратный лоб, разделенный по середине линией воли и постепенно расширявшийся к вискам.

В этом лбе было что-то мечтательное, так же, как в складках век что-то грустное, а в светло-зеленых с серым отливом глазах – нечто проникновенное, тонкое. Прямой нос и крепкий подбородок придавали силу этому немного помятому лицу, на котором чувственность губ смягчалась почти белокурыми усами.

Путешествие в Индию послужило Казалю предлогом для того, чтобы переменить прическу и обрить бороду, где уже начинали показываться серебряные нити. На его немного бесцветных щеках лежал легкий отпечаток горечи, выдававший разочарование человека, которому приходилось многому улыбаться с отвращением. Лицо это было одновременно и старым и молодым, энергичным и истомленным, но в чертах его не было и тени вульгарности. Казалось невозможным, что оно принадлежало профессиональному про-

жигателю жизни, хотя крепкий и вместе с тем гибкий стан свидетельствовал о привычке к ежедневной тренировке. Конечно, высокий и сильный Казаль не пропускал ни единого дня без того, чтобы не расходовать свою силу в каком-нибудь бурном спорте, как фехтование или игра в мяч, бокс или верховая езда, охота или катание на яхте. Его чересчур изысканная манера одеваться говорила о несерьезной заботливости переступившего за двадцать пять лет принца моды. Но он, казалось, не думал об этом. От всего его существа веяло такой очевидной привычкой к элегантности, что она казалась врожденной, как у животного, предназначенного для высшей жизни, созданного природой для того, чтобы одеваться и жить именно так, а не иначе. Все это сливалось в одно сильное и красивое, мужественное и неопределенно изнеженное целое, сразу объяснившее госпоже де Тильер, почему человек этот внушал такие трагические страсти в капризном и легкомысленном свете, а также почему другие мужчины, не исключая Пуаяна, питали к нему такую сильную злобу. Женщины, знающие нас гораздо лучше, чем мы воображаем, хорошо понимают, что успех, достигаемый возле них нашим братом, возбуждает зависть всей прочей корпорации, аналогичную той ревности, которую они сами испытывают к тем из своих подруг, которые счастливы в любви.

Большинство мужчин в присутствии Казалья должны были чувствовать себя приниженными, так как из всех разновидностей честолюбия, присущих мужчинам, самым страстным и ревнивым является честолюбие физическое, хотя его наиболее тщательно скрывают.

– Положительно, он не похож на других.

Эта короткая фраза, которую госпожа Тильер мысленно повторяла четверть часа спустя, заключала в себе зачаток целого нового брожения мыслей; она являлась результатом экзамена, которому подвергают всякого вновь прибывшего даже самые рассеянные женщины несколькими быстро брошенными взглядами. Они знают, какие у вас глаза и губы, руки и волосы, жесты и дурные привычки, настроение и воспитание, прежде чем вы успеете узнать, осмотрели ли они вас или нет.

Когда было объявлено, что обед подан, Кандаль предложил руку Жюльетте, чтобы пройти в столовую, находившуюся во втором этаже, где обедали лишь тогда, когда собирался тесный кружок. Хотя эта маленькая комната, в противоположность большой, находившейся в первом этаже столовой, была устроена с целью служить рамой интимным беседам, она все-таки подробностями своего убранства вполне открывала нам характер графини, принадлежавшей, ес-

ли можно так выразиться, к «участку Елисейских Полей» в предместье Сен-Жермен; т. е. в противоположность недовольным светом, населяющим окрестности улицы Сен-Гийом, она с самой старинной родовитостью соединяла вкус к шик и вполне современной эlegantности; но некоторые оттенки не позволяли смешивать ее с женщинами просто богатыми. Например, в простенке этой столовой она натянула один из десяти еще нетронутых ковров – царский подарок герцога Альбы старому маршалу де Кандаль, когда последний был послан к нему с тайным поручением. В этом отеле, вполне современном и вместе с тем полном реликвий ужасного прошлого, не было ни одного угла, который не выдавал бы странного культа молодой женщины к кровожадному предку. Особенно этот сотканный в Брюгге ковер, изображавший поход ландскнехтов через леса с поднятыми пиками с надписью, напоминающей о знаменитом маршале, являлся в этой узкой комнате знаком преувеличенной дворянской гордости. Может быть, в прежние времена в этом чувствовался бы вкус выскочки. Но такие женщины, как Габриелла, которые хотят одновременно блистать, как их соперницы финансового мира, и вместе с тем отличаться от них, легко увлекаются своей родовитостью, как будто приобщились к ней лишь недавно. Это одна из тысячи форм кон-



фликта, возникшего сто лет тому назад между старой и новой Францией.

Иногда у госпожи де Кандаль срываются такие фразы: «Когда носишь такое имя, как мы...», и в тоне ее чувствуется такое хвастовство своей родовитостью, как будто фраза эта произносится не истой представительницей рода де Кандаль, вступившей в брак со своим двоюродным братом, таким же родовитым де Кандаем, как и она сама. Но все это не мешает ей приглашать к себе обедать, как, например, в этот вечер, внука знаменитого венского банкира Альфреда Мозе, который сидел рядом с сестрой ее герцогиней д'Арколь, вышедшей замуж за внука одного из наполеоновских маршалов.

Правда, уже два поколения Мозе были выкрестами. Что же касается до трех остальных гостей, то лишь один из них, виконт де Прони, происходил из рода, бесспорно стоявшего наравне с родом великого маршала, если не принимать в расчет, конечно, его славы.

Баронство же барона д'Артель восходило лишь ко времени царствования Людовика-Филиппа, а Казаль был сыном разбогатевшего на железнодорожных акциях промышленника, получившего позднее согласно «закона второго декабря» звание сенатора, как, впрочем, и отец самой графини. Такова непоследовательность нашего времени, когда самые чванные претен-

зии уживаются с настоятельными требованиями светской жизни. Луи де Кандаль страстно любил охоту в самых широких размерах; несмотря на значительное состояние жены, для удовлетворения этой, вероятно, наследственной страсти, чтобы содержать лучшую охоту во Франции, ему приходилось вступать в компанию с несколькими товарищами по клубу. Вот почему Мозе, единственным занятием которого была светская жизнь, сумевший различными дипломатическими ходами втереться в Жокей-клуб, занимал теперь в бюджете Пон-Сюр-Йонны весьма значительное место, что заставляло его компаньона и жену его обходиться с ним, как с другом. Графиня, будучи очень строгой христианкой и достаточно умной и справедливой, чтобы не поддаваться фанатичной антисемитской ненависти, выказывала однако сильную враждебность к иностранцам; она даже почти не принимала у себя своего врага госпожу Бернар, урожденную Юртель, из семейства брюссельских Юртелей. Но она выпутывалась из этого маленького противоречия, в силу которого какой-то Мозе допускался в тесный кружок ее друзей, ловкими фразами, подчеркивая в свое оправдание, что только для него она делает исключение. Она расхваливала этого товарища графа за его деликатность, за прекрасное умение держать себя в обществе, за щедрость во всех благотворитель-

ных делах. Похвалы ее были вполне заслуженными. Этот белокурый человек, облысевший в сорок пять лет, с пронизательными глазами на худом, бескровном лице, обладал чрезвычайной последовательностью в преследовании намеченной цели, – в чем тайна успеха той сильной расы, типичные черты коей сохранились в нем, несмотря на крещение. Он выдерживал свою роль джентльмена с безупречной строгостью. Но если бы среди приглашенных нашелся философ, его поразила бы нераздельная с жизнью ирония, по которой потомок самого гонимого в истории народа сидел в этой столовой под подарком, преподнесенным одним жестоким гонителем евреев другому такому же гонителю.

Такую же иронию нашел бы он, видя, как госпожа д'Арколь, сидевшая за сервированным по-английски столом, держала в руках английское серебро, между тем как первый герцог д'Арколь прославился своей непримиримой ненавистью к британскому народу и вызовом на дуэль Хадсона Лоу. Но философы не бывают в свете, а если иногда и появляются в нем, то только для того, чтобы сейчас же потопить свою философию в вихре снобизма. Таким образом, во всяком самом небольшом собрании, хотя бы оно состояло всего из пяти или шести лиц, кроется всегда ряд самых бессмысленных противоречий. Самое благора-

зумное – не разбираться в них, так же как и в психологии самих этих людей.

Мозе, смаковавший в эту минуту крем из спаржи, был бы крайне удивлен, если бы ему напомнили, что старый маршал де Кандаль, вероятно, сжег бы его собственноручно; точно так же удивился бы д'Артель, ухаживавший за своей соседкой-графиней, если бы ему припомнили, что прадед его ходил за сохой по полям Босы; а также удивилась бы и госпожа де Кандаль, если бы ей доказали, что, посадив Казаля возле Жюльетты, она совершила нечто не вполне достойное очень порядочной женщины; но не меньше их всех удивилась бы и Жюльетта, услышав, что под равнодушием, которое она все более и более выказывала своему соседу, скрывался возрастающий к нему интерес. И Прони, занявшийся с радостью знатока смакованием амонтильядо, разлитого гостям после первого блюда, и гастроном де Кандаль, скорбевший о том, что не может пригласить к себе свою возлюбленную, но утешавшийся тем, что у него превосходный стол, – были вполне застрахованы от тех сюрпризов, которые преподносит нам фантазия. Наконец, что касается Казаля, то он в своей жизни слишком много видал видов, чтобы чему-либо удивляться.

Обед, конечно, начался со всевозможных толков о происшествии, жертвой которого сделалась госпожа

де Кандаль; но затем, так как истые охотники даже в мертвый сезон не могут говорить и десяти минут без того, чтобы не примешать к разговору своей любимой страсти, происшествие с графиней послужило лишь предлогом к бесконечным рассказам об охотничьих приключениях, а с них разговор быстро перешел к прениям о различных способах охоты. Д'Артель, обладая грубой наружностью внука крестьянина, любил охоту не меньше де Кандаля, но только охотился иным способом. Например, пока загонщики гнали дичь, а охотники подстерегали ее где-нибудь на просеке, он часто бросал их и шел один бродить по полям и лесам. В нем было что-то браконьерское, между тем как граф Людовик любил псовую охоту, захват зверя и барское торжество дележа добычи. В сотый раз возобновляли они прения о той и другой разновидностях этого спорта и возвращались к воспоминаниям о памятных охотах; среди общего говора слышались такие фразы:

– Помните ли, д'Артель, – говорил Прони, – эту удивительную охоту с великими князьями в Круа-Сен-Жозеф? Сколько птиц убили мы в этот день?

– Три тысячи, – отвечал д'Артель, – но вот мое горе: у меня не было бездымного пороха!

– Вы можете себя с этим поздравить, – прервал его Мозе, – бездымный порох портит ружья. На днях мы

охотились у Тараваля с маленьким ла Модем, и после этого его стволы Purdeys оказались совершенно расшатанными.

– Какой стрелок этот ла Моль! – воскликнул де Кандаль.

– Как можете вы это говорить? – возразил Прони. – Самое большее, если он первый во втором разряде; и это говорите вы, вы, знающий Старбана!..

– Старбана! Старбана! – повторил д'Артель, качая головой.

– Ах, – настаивал Кандаль, – если бы вы видели его, как мы, в тот момент, когда он убил шесть грауз, летевших на одной линии: двух – встречным выстрелом, двух – на повороте и двух – в угон...

– Еще бы! – сказал Мозе, – он каждое утро упражняется перед зеркалом с тремя ружьями, ежесекундно скидывая каждое из них, а его слуги ему их подают...

– Так, значит, он должен брать с собой двух людей, чтобы нести за ним его три ружья... И вы называете это охотой?.. – воскликнул д'Артель.

– Скажите, де Кандаль, – спросил Прони, – это у вас все еще тот самый херес, который вам уступил Дефорж? Он превосходен!

Госпожа д'Арколь слушала эти разговоры, слышанные ею сотни раз, со спокойным благодушием, присущим итальянкам и унаследованным ею от мате-

ри, на которую, в противоположность Габриелле, она сильно походила. Жюльетта хвалила вкус Габриеллы, восхищаясь цветами, украшавшими стол. Посредине в старинной серебряной вазе стоял букет из белой сирени, больших желтых роз и орхидей. Две другие небольшие вазы такой же тонкой работы были наполнены орхидеями лилового оттенка с бархатистыми темно-лиловыми сердцевинами. Целый ковер русских фиалок сплетал между собой три букета. Белоснежная скатерть, хрусталь и плоская посуда окаймляли блестящим бордюром этот темный цветник. Свечи с розовыми абажурами освещали стол ярче остальной комнаты, что давало возможность рассмотреть мельчайшие подробности сервировки, начиная с маленьких серебряных тарелочек для масла, стоявших у каждого прибора, и кончая грациозной прелестью чеканных фигурок на крупных вещах сервиза. Такое совершенство элегантности достигается очень редко даже в самых богатых домах. Оно требует огромного состояния, векового наследственного аристократизма и исключительного вкуса у хозяйки дома. Когда госпожа Тильер начала хвалить это прелестное расположение цветов и художественных предметов, Казаль поднял голову. Его белокурая соседка высказала вслух то, о чем он думал про себя в эту минуту.

Захваченный, с одной стороны, разговором охотников, а с другой – фразами, которыми перекидывались через стол две подруги, Казаль с самого начала обеда не сказал и двадцати слов. Пока он только смотрел вокруг себя и довольствовался прелестными впечатлениями, которые никогда не пресыщают утонченно-чутких от природы людей.

Впрочем, хотя он никогда не говорил ни о картинах, ни о художественных безделушках, но обладал тонким артистическим чутьем, приобретенным в разговорах с двумя или тремя выдающимися художниками, привлеченными в свет на свою погибель изысканием выгодного заказа, капризом богатой светской дамы или тщеславным желанием водить знакомство с богатыми людьми. Таким образом, Казаль научился смотреть, – способность простая, но, к сожалению, настолько редкая, что из всех присутствовавших гостей только он и госпожа Тильер наслаждались прелестью окружавшей их обстановки. Он также заметил, что туалеты трех женщин гармонировали с их внешностью: красное платье госпожи Кандаль – с ее огненно-золотистыми локонами, белое платье госпожи д'Арколь – с матовой томностью ее лица, густыми черными волосами и светло-кариими глазами, а розовые переливы под черным кружевом платья Жюльетты – с ее пепельными волосами. После фразы, заставив-



шей его поднять голову, он начал присматриваться к своей соседке внимательнее, чем в начале их знакомства.

В это первое мгновение, когда все самые глубокие фибры ее души напряглись от любопытства, она показалась ему такой, какой уже не раз казалась издали, в театре, – довольно хорошенькой, но почти незначительной особой. Женщины, обладающие более утонченной прелестью, чем блестящей красотой, часто вначале остаются незамеченными. Они напоминают те мелкие и изящные пейзажи нашей средней Франции, мимо которых туристы проходят быстро, стремясь к другим, между тем как лица, близко знающие эти пейзажи, находят все новые и новые основания предпочитать их всем прочим. Рассматривая госпожу Тильер нескромно-почтительным взглядом, которым хорошо воспитанные распутники окидывают женщин, он заметил, что у его соседки была очень тонкая и гибкая талия, что начало плеч, руки и линия затылка указывали на безупречное совершенство форм, и наконец, что черты ее лица, пожалуй, слишком мелкие, были зато идеально изящны. На месте Казалья другой сейчас бы сказал себе: «Это очень хорошенькая женщина» и стал бы «капельку за ней ухаживать», как говорится в наивных старинных романсах. Но Казаль, как только он входил в роль наблюдателя, от изучения

внешности сейчас же переходил к изучению характера. Несмотря на свою вечно праздную жизнь, он не научился мыслить. Чувство превосходства, сквозившее во всей его особе, было ложным лишь наполовину. Главным его качеством была удивительная сила суждения, применяемая, к сожалению, по недостатку принципов и определенного таланта, лишь к предметам роскоши и внешнего блеска. Вращаясь в области пустоты и ничтожества, он обладал ценным даром – видеть главное. Употребляя выражение, богатое бесчисленными оттенками, как и то качество ума, на которое оно указывает, он никогда не проходил мимо самого существенного. Появлялся ли в клубе новый член, – будь он провинциал, американец, англичанин, русский или аргентинец, – в несколько дней Казаль точно определял вам, что заключалось «в утробе» этого незнакомца, – прекрасное выражение арготого Парижа, который обращается с людьми ему неизвестными, как любопытные девочки со своими куклами: поиграв с ними, они вскрывают их ножницами, после чего сейчас же бросают. Появлялся ли на эстраде новый фехтовальщик, Казаль сразу разбирал его игру почти так же хорошо, как и Камилл Прево, учитель, с которым он больше всего любил фехтовать именно за его непогрешимый анализ. При этом он понимал толк в лошадях, как барышник, а в обедах – как повар.

Как-то раз, временно взяв на себя обязанности заведующего хозяйственной частью в одном ныне уже исчезнувшем клубе «Фенсин», он на другой же день призвал к себе главного повара и спросил его: «Почему вы сегодня употребили масло на десять су за фунт дешевле вчерашнего?» Он не ошибся. Эта способность чувства и ума к верному определению сказывалась у Казаля не только в мелочах, но и в вопросах более важных: он также мало ошибался, когда речь шла о будущем какой-нибудь пьесы, актера или книги. Не зная чего-нибудь, он тактично молчал и поэтому никогда не попадал впросак; никогда не высказывал тех пошлых суждений, благодаря которым салонные умники так ненавистны специалистам.

Все эти способности дают некоторым людям преимущество, и их присутствием или отсутствием объясняется, почему в такой однообразной и монотонной карьере, как светская жизнь, такие люди являются диктаторами, между тем как другие лишь идут за ними. До сих пор еще моралисты трудятся над разрешением вопроса, каким образом верность наблюдения, скромность здравого смысла и сила точного суждения, сочетавшись в одном человеке, часто пропадают даром, причем ему не приходит мысль сделать что-нибудь полезное или даже серьезное. Доказывает ли это странное несоответствие между средством и це-

лью глубокую застенчивость или же в нем можно видеть лишнее доказательство той истины, которую так мудро определил наш язык, производя слово «развращенность» от латинского глагола, значение коего «разбивать»? Порождает ли привычка к ранним и постоянным наслаждениям развращенность нашего духа, и разрушает ли она ту внутреннюю силу, которая создает Идеал? Каковы бы ни были причины этих странных последствий, но несомненно, что Казалю было суждено провести свою жизнь в кутежах вместе с такими товарищами, из коих ни один не стоил его, и тратить лучшие способности своего ума на разрешение таких вопросов, как тот, который он задал себе, лишь только госпожа де Тильер привлекла его внимание: «Что собой представляет эта маленькая особа?» Впрочем, «эта маленькая особа», как непочтительно называл ее в своих мыслях Казаль, стоила того, чтобы стать предметом изучения.

Начав это изучение в ту минуту, когда дворецкий предлагал утонченному вкусу присутствующих бутылку магнума новогоднего разлива Кос д'Этурнель, Раймонд сразу заметил необычайное волнение молодой женщины. Оно выражалось в быстрых скачках от одной мысли к другой в разговоре с де Кандалем или графиней – с ним она еще не заговаривала, – в дрожании улыбающихся губ и, наконец, тре-

петании век, под которыми она, казалось, хотела потушить свой взгляд. Из всего этого он вывел два заключения: во-первых, что под этой внешностью нежной хрупкой пастели с бледно-белокурыми волосами, прозрачным цветом лица и светло-лазоревыми глазами таилась необыкновенная впечатлительность и страстность, постоянно скрываемая и подавляемая работой над собой; а во-вторых, что за столом находился кто-то, кем она чрезвычайно интересовалась. В мгновение ока он перебрал всех присутствующих мужчин. Не был ли этим «кем-то» де Кандаль? Нет. Она слишком весело с ним болтала. Д'Артель? Но барон давно бы это заметил и не проводил бы, как он это делал теперь, четыре вечера из семи за кулисами Оперы. Прони? Этот виконт, обжора, давно уже хвастался тем, что «распрягся» несколько лет тому назад. Мозе? Но госпожа д'Арколь, говорившая с ним в эту минуту и за которой он официально ухаживал уже несколько месяцев, не бросила Жюльетте ни одного многозначительного взгляда, без которых никогда не обходятся даже самые осторожные ревнивые женщины. Кто же оставался, кроме самого Казалья? Несмотря на свои успехи, может быть, и благодаря им, молодой человек не был особенно тщеславен, но и не отличался излишней скромностью. Он считал вполне возможным возбудить к себе не только каприз, но и

страсть... и даже с первой встречи... Но он также думал, что мог внушить женщине даже антипатию, и допускал возможность, – а это доказывает его здравый смысл – остаться совершенно незамеченным. Это зависело от женщины и от того, в какой момент ее жизни он ее встретит.

В какой период ее сердечных переживаний встретил он госпожу Тильер? Вот вопрос, на который не смог бы ответить самый проникательный парижанин, имея возможность судить о ней лишь по таким нечаянно услышанным отрывочным фразам:

– Госпожа Тильер? Это прелестная женщина, очень изящная и вместе с тем простая...

– Что вы, мой друг, она невыносимо позирует...

Или:

– А все-таки на свете есть честные женщины, – например, госпожа Тильер, есть ли у нее хоть один любовник?..

– Эх! Она – лукавая женщина и лучше других скрывает свою игру – вот и все...

«Если ее интересую я, – подумав, заключил Казаль, – то надо выжидать, как в фехтовании».

И действительно, это было самым мудрым решением, так как госпожа Тильер, вероятно, слышала о нем нелестные отзывы. Он слишком хорошо знал свое собственное положение, чтобы сомневаться в этом.

Для него этого было достаточно, чтобы наметить себе соответствующую роль человека тактичного и сдержанного, следуя методу, инстинктивно практикуемому всеми мужчинами, пользующимися успехом у женщин, а именно: заинтересовать, введя в заблуждение. Итак, он продолжал оставаться в тени, воздерживаясь от привычных выходов балованного ребенка, больше слушал, чем говорил, напоминая своей корректностью секретаря при посольстве старой школы. И результаты такой манеры себя держать не заставили себя ждать. Сначала Жюльетте хотелось, чтобы сосед ее сам пошел к ней навстречу, но, испугавшись, что обед кончится и ей не удастся узнать, что именно скрывается за внешностью этого человека, к которому она чувствовала такое влечение, она сама обратилась к нему с вопросом, и это заставило его заговорить. – Верьте мне, если хотите, – говорил в эту минуту Прони, возбужденный вином, после которого усиливалась его врожденная склонность к преувеличенным рассказам, – но в Нормандии я знал браконьера, охотившегося без рук. Да, господа, его сынишка заряжал ему ружье, клал на камень, и наш охотник стрелял... ногами! И верьте мне, у сторожки он бил кроликов не хуже всякого другого...

Пока все сидевшие за столом протестовали против этого фантастического анекдота, который нормандец

Прони продолжал подтверждать, качая худым и красным лицом, госпожа Тильер обратилась к Казалю и сказала ему взволнованным голосом:

– А у вас нет в запасе какой-нибудь необыкновенной истории, как у этих господ?

– Ах, боже мой! – возразил молодой человек, улыбаясь. – Число охотничьих рассказов ограничено, и они скоро все будут исчерпаны. Но все-таки я еще не знал того рассказа, который только что нам преподнес Прони и который переходит границы... Но охотникам можно простить их хвастовство ввиду того, что среди нашей искусственной и поддельной цивилизации страсть эта является чем-то здоровым и естественным...

– Признаюсь, – возразила Жюльетта, – для меня непонятно, что может быть здорового и естественного в том, что семь или восемь человек становятся у опушки леса и расстреливают в упор несчастных кроликов и фазанов, даже не согнав их предварительно сами.

– Во-первых, это лишь один из видов охоты, – сказал Казаль, – но он является уже началом... после которого развивается любовь к более сложной и серьезной охоте. Я видел моих товарищей, – о, конечно, не многих, – начинавших с этого и кончавших поездками в Индию за тиграми, в Африку за буйволами и в Тур-



кестан за муффонами. Поверите ли, что у троих из них хватило мужества отправиться на границу Китая в поисках за зверем, о котором говорил путешественник Марко-Поло, и они разыскали его и убили.

– А сами вы участвовали в таких больших охотах?

– Да, в некоторых, – ответил он, – более легких. Я ездил в Индию и убил с полдюжины тигров... Но от самого путешествия у меня остались исключительные воспоминания... Когда в течение многих лет видишь восход солнца лишь из окон клуба, то очарование, охватывающее вас при виде его со спины слона, положительно перерождает душу, такое же чувство является у вас при переходе через широкие, розовые реки, расцвеченные занимающейся зарей... Немного опасности усиливает восторг перед пейзажем, хотя я не могу поручиться в том, что в конце концов это не надоест. Но клянусь, что в эти минуты жизнь клуба со всеми его развлечениями кажется очень и очень ничтожной...

– Но зачем же вы ведете такую жизнь? – спросила она.

Пока Казаль говорил, Жюльетту охватило волнение, которое вызывает у женщин личная храбрость мужчин, оно было настолько сильным, что на несколько мгновений Жюльетта перестала следить за собой. Она сама удивилась своему восклицанию, и это за-

ставило ее покраснеть. Она нашла себя слишком фамильярной и испугалась, чтобы он сейчас же не воспользовался этим, перейдя в такую же фамильярность по отношению к ней. Но он тонко ответил ей, добродушно покачивая головой:

– Это – то же самое, что история женщин, несчастных в браке. Все поставлено на карту, и карта – бита. В двадцать лет начинают веселиться, потому что молоды, а в пятьдесят продолжают, потому что молодость уже прошла... И кончают тем, что остаются никому не нужными неудачниками. Но когда это осознаешь...

Говоря это, он смеялся детским смехом, сохранившимся в нем и составляющим одну из его прелестей. Нам всегда кажется смешным, когда такие богатые, независимые и всюду желанные люди, как Казаль, говорят о том, что жизнь их загублена. Но смех его искупал смешную сторону такого признания; впрочем, ее обыкновенно не замечают женщины. Самые утонченные из них, если только в них есть сердце, готовы верить мужчине, играющему перед ними роль неудачника. Быть утешительницей такого рода горестей, – вот роман, о котором тайно мечтает каждая из них. Но, может быть, Казаль не лгал, осуждая существование, порвать с которым не имел сил. Он, действительно, был пресыщен своими обычными ощущениями. Между им и госпожей Тильер наступило молча-

ние, во время которого в общий разговор вкралась нетактичность, которая обозначается у парижан малопонятным термином «gaffe». Обед приближался к концу. В такие моменты совершаются крупные промахи; их неизбежно вызывает увлечение разговором да несколько лишних рюмок доброго вина.

Барон д'Артель заговорил о госпоже Корсьё, бывшей любовнице Казаля, о чем знали все присутствующие. Он не говорил о ней ничего злого, но этого было достаточно, чтобы поставить молодого человека в неловкое положение.

– Какая чертовская мысль, – продолжал он, – пришла в голову этой бедной Полин: вдруг перекрасить свои волосы и превратиться в блондинку? Неужели у нее нет подруги, которая сказала бы ей, что это старит ее на добрых десять лет, а для нее уже не только десять лет, но даже и пять становятся излишними...

– Это вроде старого Бониве, с которым вы, вероятно, часто встречались, – политично заметил Мозе, обращаясь к Габриелле, с целью переменить разговор. – Вы знаете, что он красился?

– Вы хотите сказать, что он ваксился, – возразил де Канцаль.

– Что он пачкался, – прибавила госпожа д'Арколь.

– Одним словом, – продолжал Мозе, – красился ли он, ваксился или пачкался, но он скрывал это от всех,

не исключая своего парикмахера, так что тот говорил мне с самым комичным видом: «Ах, если бы только я смел с ним об этом заговорить, я бы так хорошо ему все устроил!» Но вот Бониве заболевает. Ревматизм сковывает его. Я прихожу к нему и нахожу его белым как снег. Догадайтесь, что было его первым словом: «Взгляните, Мозе, я так страдал, что даже поседел».

– Это не мешает тому, – продолжал д'Артель, который подобно всем нетактичным людям хотел настоять на своем, – что госпоже де Корсьё пора бы успокоиться. А сколько приблизительно ей может быть лет? Вы, Казаль, вероятно, это знаете?

Произнося эти слова, неосторожный болтун почувствовал всю их нескромность. Он страшно покраснел и резко остановился среди всеобщего молчания, что сделало положение молодого человека еще более щекотливым. Он не мог ни нападать на свою бывшую подругу, ни защищать ее. Приняв вполне естественный вид, он просто сказал:

– Госпожа Корсьё? Но когда на прошлой неделе я встретился с нею в Опере, ее возраст казался возрастом очень хорошенькой женщины, что же касается до Бониве, то, будучи старинным пэром Франции, он являл собой, сидя в кресле на заседании Земледельческого Общества, очень дряхлую и чрезвычайно разбитую персону, несмотря на свою привычку говорить

с важностью: «Возраста не существует, все дело в силе»...

Все рассмеялись, и разговор перешел на другую тему.

Казаль почувствовал, что особенно понравился своей соседке, и старался поддерживать разговор общим, что дало ему возможность рассказать два или три красивых анекдота из своей поездки в Японию. Он говорил так мило и остроумно, что когда все встали из-за стола, графиня подошла к нему и лукаво сказала:

– Однако, как вы старались перед моей подругой, будьте довольны, вы ей понравились, а теперь идите спокойно курить... Да, вы не курите? Ну, все равно, я ведь знаю вас, – вам хочется поговорить с этими господами посвободнее и мирно выпить ликеру?.. Не пейте слишком много и скорее возвращайтесь к нам...

Молодой человек, улыбаясь, поклонился. Но когда через час товарищи его вернулись из курительной, госпожа Кандаль напрасно искала среди них его мужественное и умное лицо. Из кокетства он исчез в минуту успеха. Она взглянула на Жюльетту, которая тоже, заметив его отсутствие и думая, что за ней никто не наблюдает, нахмурила свои красивые брови. Когда в без четверти одиннадцать ей объявили, что карета подана, недовольство ее еще не улеглось, и лукавый

вопрос графини при прощании не мог рассеять его.

– Ты не очень скучала? – спросила она. – Теперь ты сама видишь, что Казаль лучше своей репутации.

– Но, – сказала Жюльетта, принужденно смеясь, – он не дал мне достаточно времени, чтобы я могла судить о нем.

«А, в самом деле, его быстрое исчезновение ее оскорбило. Экий он неловкий!» – подумала Габриелла, когда подруга ее уехала.

Несмотря на всю свою чуткость, она ошиблась, так как, сев в карету и направляясь к улице Матиньон, Жюльетта только и думала об этом якобы неловком человеке и была неприятно поражена, когда открывший ей дверь лакей, снимая с нее пальто, объявил ей:

– Граф Пуаян здесь и ждет маркизу. О нем она совершенно забыла...

## Глава III

### Другой

Самым любимым занятием Жюльетты были продолжительные беседы у огня в поздние, необычные часы. Любовь эта так согласовалась со всей ее натурой, что Жюльетта принимала в эти часы не только человека, имевшего право на ее интимность, но и самых платоничных из своих верных поклонников: д'Авансона, Феликса Миро, генерала де Жард и Аккрапя – каждого в отдельности. В этой тактике заключалась женская осторожность, так как многочисленность таких посещений исключала возможность каких-либо пересудов среди прислуги. В свои отношения к друзьям она вкладывала такое искусство, что те, кому она дарила свою дружбу, уже никогда не могли забыть о ней. Жюльетта поняла, какое сильное обаяние может иметь на мужчину среди банальной и суетной парижской жизни уголок гостиной, где он находит в определенный час молодое, чуткое, элегантно существо, готовое долго его слушать; и это существо то утешает его, то советуется с ним, как будто самое главное в ее жизни составляют эти минуты, проведенные наедине в неясной тайне. Сердце открывается

тогда свободнее. На уста напрашиваются интимные признания, а госпожа Тильер по своей натуре страстно их любила. Она обладала от природы тем свойством, которое у одних, вырождаясь в педантизм или в тщеславие, создает вдохновительниц знаменитых людей, муз и нимф Эгерий, а у других, перерождаясь в святость, – великих подвижниц. Ей нравилось окружать своим умным влиянием тех, кто ее интересовал. Любовь придала новую силу этим утонченным наслаждениям. Лучшими часами своей связи с де Пуаяном она была обязана им. Сколько вечеров в первый период их любви, до того как стала его любовницей, провела она таким образом, бесконечно слушая его рассказы о горестях его жизни!.. Он говорил ей о своем грустном детстве, проведенном в тени старого отеля Пуаян в Безансоне после смерти матери, когда его отец своим суровым обращением сковал все порывы его юности. Он говорил ей о своем браке с долго любимой девушкой, о первой ревности, о том, как стыдился он своих подозрений, и, наконец, об очевидности измены – какой измены! – с другом детства, которого он любил больше всего. Эти предполночные часы казались тогда Жюльетте слишком короткими, чтобы следить за драмой, развертывавшейся перед ней сцена за сценой, чувство за чувством, чтобы следить за дуэлью двух друзей, где оба были ранены, за бег-



ством госпожи де Пуаян, отчаянием графа, возвращением к жизни благодаря сознанию долга, за его участием в войне семидесятого года в качестве капитана ополченцев Дубского департамента, за его вступлением на политическую жизнь в пору Собрания в Бордо. А когда жалость привела ее сперва к ласке, а позднее к полной отдаче, когда она сделалась тайной женой этого несчастного человека, сколько еще вечеров пережила она, выслушивая с жадностью любящей подруги рассказы мужественного оратора о том, как он провел день, возвращая ему в часы уныния веру в себя, предупреждая его о той или иной скрытой опасности, восхищаясь с трогательным воодушевлением, когда этот непобедимый атлет консервативных идей раскрывал ей – ей одной – широту своих замыслов и великодушие своего учения. И при всем том она никогда не выходила из роли женщины, умея ласково говорить и слушать без тени претенциозности. Она бывала такой без всяких соображений, просто уступая своей природе. Как в некоторых натурах живут врожденное понимание и любовь к музыке или живописи, механике или поэзии, так в ней жили понимание чужого сердца и любовь к нему, – прекрасный дар, благодаря которому женщина может проявлять высшее милосердие и самое благотворное – милосердие души; но дар опасный, граничащий с греховным любопытством

чувственного опыта, а также быстро увлекающий нас к компромиссам с совестью и бросающий нас в лабиринт ложных положений. Например, как найти в себе на склоне страсти честность и благородство, нужное для разрыва, если остаешься еще жертвой симпатии, заставляющей чувствовать страдания человека, которого уже не любишь настоящей любовью? Острое ощущение причиняемых нами страданий пронизывает нашу душу и заставляет гадать, чтобы прекратить эти страдания. Мы отступаем перед признанием, которое могло бы быть менее жестоким, если бы было произнесено более резко. Мы не прекращаем агонии, которая создается нашей позорной слабостью. Мы делаемся лицемерными из сострадания: странная ирония сердечных противоречий, обращающая в порок наши лучшие достоинства и заставляющая нас гадко поступать потому, что мы слишком сильно чувствовали!

Такие размышления о преимуществах и недостатках своего собственного характера не приходили в голову Жюльетте, хотя ей часто случалось говорить себе по поводу тех или иных мелких обстоятельств, требующих ясного, хотя и неприятного отказа некоторым из своих друзей: «Я была слишком нерешительна» или «Мне следовало сказать определеннее». С нашим характером часто происходит то же, что и с на-

шим здоровьем. Мы долго страдаем, прежде чем сознаем свое нездоровье. Так и госпожа де Тильер не понимала, почему многое из того, что составляло радость ее прежних лет, теперь ей было в тягость: например, вечерние тет-а-тет с Пуаяном, когда между ними наступало долгое молчание, и попытки их обоих оживить разговор лучше всего подчеркивали контраст между прежними и настоящими вечерами. Каждый раз она приписывала это стеснение, казавшееся ей лишь минутным, каким-либо мелким случайностям.

Так, например, когда по возвращении из отеля де Кандаль простая фраза лакея, объявившего ей о присутствии де Пуаяна, болезненно поразила ее, вернув к действительности, она сейчас же приписала это боязни, что возлюбленный ее оскорблен, тем более, что, снимая пальто, она заметила стоявшего в углу передней лакея графа. На вопрос ее он ответил:

– Я жду корректуру речи графа, чтобы снести ее в типографию...

«Ах, правда, он говорил сегодня речь», – подумала Жюльетта, – «он, вероятно, сердится, что я вернулась так поздно. Он не привык видеть с моей стороны так мало внимания к себе».

В действительности же это посещение было ей прямо неприятным, так как она чувствовала потребность

продолжать мечтать в одиночестве о Казале, как мечтала о нем в карете. Вот до какой степени глубоко было впечатление, произведенное на нее этой встречей. Но как могла она допустить такое объяснение своему недовольству, будучи уверенной, что любит Пуая на всю жизнь? Эта уверенность была оправданием ее ошибки. Ах, сколько иллюзий создаем мы себе и в течение скольких лет, когда чувства наши начинают умирать!.. Но иногда в один час разбиваются все эти иллюзии, и это должна была испытать Жюльетта в данный вечер.

– Вы сердитесь на меня, мой друг? – сказала она, входя в гостиную в стиле Людовика XVI, слабо освещенную сливавшимся светом камина и лампы.

Граф сидел за столиком, за которым она сегодня ему писала. Увидя ее, он быстро встал, чтобы расцеловать её пальцы, и, показывая кипу бумаг, которыми был завален столик, ответил:

– Сержусь? Но, как видите, у меня еще не хватило на это времени. Ожидая вас, я работал, за что, надеюсь, вы на меня не сердитесь. Не правда ли? Заседание кончилось очень поздно, а мне еще нужно было проверить корректуру для «Официального Вестника». Я приказал Жану принести мне их к вам, и, по счастью, – прибавил он довольным тоном человека, исполнившего долг, – они почти окончены... Вы поз-

волите?

Сев за столик, он окончил работу, начертав на полях несколько знаков; потом собрал разбросанные листы, вложил их в приготовленный конверт и сам вручил его ожидавшему в передней лакею. Все это продолжалось не более десяти минут. Почему же Жюльетта, желая загладить обиду друга и приготовившись быть с ним ласковой и нежной, теперь, в свою очередь, почувствовала себя оскорбленной, встретив с его стороны такой спокойный прием?

Конечно, вина ее, заключающаяся в том, что она в течение целого вечера интересовалась Казалем настолько, что совершенно забыла о Пуаяне, сама по себе не была тяжким преступлением. Но с точки зрения сердечной привязанности дело обстояло иначе. Ей хотелось, — она только смутно сознавала это, — чтобы любовник ее рассердился на нее, может быть, и несправедливо, но этим очистил бы ее совесть и дал ей возможность искупить свою вину милыми ласками. Контраст между ее внутренним волнением и внешним спокойствием Пуаяна огорчил ее; от его приема на нее повеяло холодом. С тех пор как любовь ее начала угасать, ей несколько раз казалось, что у Генриха не было больше к ней прежних порывов нежности. Первым признаком и странным миражом бессознательно умирающей страсти бывают упреки в недо-

статке любви тех, кого мы сами начинаем меньше любить. И мы искренно верим в это. Никогда еще госпожа Тильер не чувствовала, как в эту минуту, что между ней и Пуаяном что-то умерло. Она подошла к камину и, протянув к огню ногу в прозрачном шелковом чулке, стала следить в зеркале за каждым движением графа, занимавшегося с заботливостью автора последними поправками корректуры. Почему же вдруг другой образ стал между ними, закрыв собою ее возлюбленного? Почему же в каком-то проблеске полугаллюцинации она увидела человека, рядом с которым только что обедала, «красавца Казаля», как назвала его Габриелла, его могучий и стройный силуэт с гибкими движениями, говорившими об его силе, с мужественным, несмотря на усталость, лицом? Но вот воображаемый облик исчез, уступая место реальности, и она вновь увидела того, кому принадлежала в течение многих лет, отдавшись ему по свободному выбору. Рядом с тем он показался ей вдруг таким неуклюжим, болезненно-тщедушным, что сравнение это заставило ее почувствовать невероятную неловкость.

Генрих де Пуаян, которому минуло тогда сорок четыре года, был довольно высок и худ. Горе, точившее его молодость, сменилось утомлениями парламентской жизни; все это вместе взятое подорвало его здоровье. Привычка к сидячей работе немного сгорбила

его узкие плечи. Поседевшие белокурые волосы начинали редеть. На бледном лице выступали темные пятна, говорившие о вялости крови, о болезненном состоянии желудка и нервозности, развивавшейся в нем вследствие сидячей жизни. В чертах этого исхудалого лица и линиях фигуры, худоба которой обрисовывалась фракком, было много аристократизма; но в них чувствовалась слабость организма и преждевременное истощение. Взгляд чудных, искренних голубых глаз и надменное выражение бритого рта оставались прекрасными. Они выражали то, что поддерживало благородного оратора с самого раннего и несчастного его детства, – сдержанную горячность чувства, глубокую веру и непобедимую энергию воли. Этому человеку женщина не могла отдаться иначе, как принося ему лучшее самой себя: или горячо увлекаясь его красноречием, или же страстно желая залечить те раны, которыми была полна его жизнь. Из таких побуждений госпожа Тильер и отдалась ему. Но опасность подобных союзов, основанных исключительно на романическом чувстве, когда женщина отдается лишь из преклонения пред умственным превосходством своего возлюбленного или из сентиментальной жалости к нему, заключается в том, что всегда наступает час, когда восхищение это притупляется в силу привычки, а жалость ослабляется самим удовлетворением. Тогда

глаза ее открываются. Она содрогается, сознав ошибку своих чувств, но – увы! – слишком поздно. Счастливы те, у которых сознание это является независимо от каких-либо посторонних влияний или же без того, чтобы это внезапное разочарование было вызвано обаянием другого мужчины! Но если в минуту, пока Жюльетта жадно вглядывалась в зеркало, в ее светлых глазах и мелькнула самая сильная, какая только может пронизать гордую душу, горечь сожаления, то Генрих Пуаян, подойдя к ней, ничего не заметил, – так же как и дворецкий, приносивший по вечерам, когда они бывали вдвоем, серебряный поднос с самоваром, чайником, пирожками, графинчиком водки, ковшиком со льдом, чашками и стаканами.

– Вы много поработали сегодня, хотите, я вам приготовлю грог? – сказала молодая женщина, обращившись к графу с самой очаровательной улыбкой.

Можно ли такие улыбки называть лицемерием?

Цель их – избавлять от лишних огорчений, и те женщины, на устах которых они появляются, считают грехом показывать свою тайную горечь. Они сами не знают, на какой вступают путь с того момента, когда взгляд их и лицо перестают быть отражением их сердца даже в таких незначительных поступках, как приготовление обычного витья тому, кому они еще хотят нравиться.



– Пожалуйста, – ответил граф на предложение своей подруги и, в свою очередь, принялся смотреть, как она своими тонкими руками наливала горячую воду в русский стакан с золоченым резным подстаканником и размешивала в нем ложкой куски сахара. Сидя у подноса, она была очаровательна в своей позе и больше, чем когда-либо, напоминала бледным золотом своих волос пастель прошлого века. В ее прекрасных обнаженных руках было столько грации и гибкости, а в сочетании розовато-черного платья с цветом ее лица, немного оживленном пламенем камина, – столько страстной неги, что граф невольно к ней приблизился.

– Как вы хороши сегодня! – сказал он ей. – И какое счастье быть возле вас после сухой и суровой политики!

Говоря это, он нагнулся к ней, чтобы ее поцеловать, но она нетерпеливо повернула голову и сказала ему:

– Осторожнее, вы так неловки... я разолью весь графин.

И действительно, в ту минуту, когда Пуаян оперся на спинку ее кресла, чтобы поцеловать ее, она собиралась налить в стакан ложечку водки. Хотя в словах ее не было ничего особенного, а в движении, которым она скрыла от него свое лицо, так что поцелуй коснулся лишь ее шелковистых волос, было толь-

ко шаловливое кокетство, но Пуаян сейчас же отшатнулся от нее, охваченный тяжелым ощущением, которое испытывают любовники, замечая, что возлюбленная перестает отвечать на порывы их сердца. Да, эта увертка от поцелуя сама по себе ничего не значила, но когда такие сцены грациозного отказа повторяются сотни раз, любовник начинает сильно бояться, что он перестал нравиться, а это тушит огонь его взглядов, сжигает сердце и замораживает на устах слова любви. В таком опасении коренилась причина недоразумения, из-за которого эти два существа должны были с каждым днем все больше и больше отдаляться друг от друга. Бессознательно подчиняясь инстинктивному ослаблению нежности, давно овладевшему ею, Жюльетта часто отказывала в ласке этому человеку, которого сама же потом обвиняла в равнодушии. Она продолжала готовить обещанный напиток, нажимая вилкой ломтик лежавшего на тарелочке лимона, после чего, попробовав грог кончиком губ, сказала с упреком:

– Вот видите, он слишком крепок, из-за вас я его испортила и теперь должна приготовить другой.

– Не трудитесь, – сказал он, делая вид, что хочет подойти.

– На этот раз, – возразила она, – я запрещаю вам двигаться и мешать моей стряпне.

– Слушаюсь, – ответил он и, опершись на мрамор камина, стал опять на нее смотреть.

Она же не замечала этого взгляда, так же как и он не видел ее выражения в ту минуту, когда она смотрела на него в зеркало. Он вполне сознавал, что увертка от его поцелуя была лишь детской шалостью. Но этой шалости было достаточно, чтобы помешать ему сказать в этот вечер одну многозначительную фразу. Из полученных утром писем он узнал, что ему придется ехать в Дубе, где присутствие его оказывалось необходимым для двойных выборов в Совет. Речь шла о том, чтобы отбить эти два места у политических противников в пользу одного человека, который должен был пройти благодаря его красноречию, и он слишком серьезно относился к своей миссии лидера, чтобы не исполнить своего долга. Он приехал к госпоже де Тильер с целью просить у нее свидания, чтобы проститься с ней перед отъездом где-нибудь в другом месте, но это простое отклонение его поцелуя лишило его способности выразить ей свое желание. Такая застенчивость страсти при отношениях, которые уже сами собой должны были бы ее исключать, вызвала бы улыбку на устах героя любовных похождения, – например, Казаля, если бы как-нибудь он узнал об этом свидании графа с Жюльеттой. Тем не менее она составляет если не общее явление, то весьма ча-

сто встречающееся, что дает основание ее анализировать. У некоторых мужчин, к числу которых принадлежал де Пуаян, очень чистых в молодости, а позднее жестоко обманутых, является какое-то непреодолимое недоверие к самим себе, которое выражается в стыдливости скорее женственной, чем мужественной по отношению к физическим реальностям любви. Пробуждение страсти сопровождается у них болезненной тоскливостью, благодаря которой внешние обстоятельства обладания становятся для них почти непереносимыми. Такая сверхболезненная застенчивость исчезает лишь в браке и совершенно непонятна для сластолюбца. Лишь брачная жизнь с ее постоянным сожителем и признанной интимностью избавляет этих людей, страдающих излишней щепетильностью, от тоскливых сомнений, возникающих у них каждый раз, когда приходится просить свидания; она избавляет их также от угрызений совести, когда, добившись его, они раскаиваются в том, что довели до падения свою дорогую подругу. После нескольких лет связи Генрих Пуаян дошел до того, что сердце его разрывалось от волнения в ту минуту, когда ему нужно было произнести эту простую фразу: «Когда мы встретимся у нас?»

А между тем это выражение «у нас» означало утонченно-обособленную обстановку, созданную для того,

чтобы оградить щепетильность самой взыскательной женщины. Впервые Жюльетта отдалась ему в Нансэ, когда они проводили там две недели в опасном одиночестве, под снисходительной опекой неспособной к подозрению матери. Молодая женщина невольно поддалась тому непреодолимому порыву экзальтированного сострадания, которое вызывают в благородных сердцах слишком горькие признания. В такие минуты является безумное желание изгладить в душе другого скорбное прошлое. Она отдалась ему в опьянении жалостью, в одну из тех случайных минут, которые у людей, привыкших к приключениям, не имеют никакого будущего.

Как ни кажется странным следующий вывод, но он безусловно верен: чем легкомысленнее женщина, тем больше в ней силы вернуть свою свободу, если такая женщина случайно отдалась. Жюльетта же считала себя связанной на всю жизнь этой первой жертвой. И действительно, это была жертва, и Пуаяну не хотелось, чтобы их связь, на которую он смотрел как на тайный брак, была запятнана какой-либо из тех вульгарностей, которые служат ужасным искуплением преступной любви. Для того, чтобы иметь возможность принимать свою возлюбленную, он выбрал в Париже, на одной из пустынных улиц Пасси, квартиру, в первом этаже, со входом, у которого не

было швейцара, во избежание чьих-либо нескромных взглядов. Он обставил ее ценной мебелью, чтобы в день их официального брака, если ему суждено было совершиться, эта мебель могла занять свое место в их семейном очаге, связывая их супружескую жизнь с воспоминаниями, освященными их тайной любовью. Все-таки, ожидая в этом тихом приюте свою возлюбленную, он содрогался при мысли, что какой-нибудь прохожий мог ее увидеть в ту минуту, как она выходила из экипажа, у двери. Приезжая к нему таким образом, она не нарушала никаких клятв; она была свободна, не обманывала доверчивого мужа, не бросала детей, но зато она должна была лгать матери, с которой ее существование было так тесно связано. Граф не мог простить себе, что он был виновником этой, хоть и вполне простительной, лжи. Несмотря на то, что он был так влюблен в эту прелестную головку, в голубых глазах которой пил забвение своего горя, а, может быть, потому, что он любил ее с присущим ему идеализмом, граф страдал от сознания, что по его вине могла зародиться ложь. Это держало его в состоянии болезненной чувствительности, которую лучше всего объяснит нам следующее обстоятельство: в течение года он и Жюльетта встретились в своем убежище не более шести раз. Невозможность со стороны графа вызвать ее на объяснение, так как все слиш-

ком легко его оскорбляло, бессознательное охлаждение со стороны молодой женщины, которой искренно казалось, что он ее меньше любит, течение жизни, часто ведущее нас к непоправимым недоразумениям, — все это создавало между ними странные отношения. Но, может быть, тому, кто по профессии или из любви к искусству слышал много исповедей, и тому, кто знает, сколько разнообразных значений скрывается под простыми словами «любовник» и «любовница», отношения эти не покажутся такими странными. Пуаян не думал о том, было ли его положение по отношению к госпоже Тильер унижительным или нет для самолюбия его пола; такое самолюбие составляет главную сущность сердечной жизни почти у всех мужчин. Он страдал потому, что любил ее и чувствовал, что она все более и более от него отдаляется. Этот человек, столь смелый на войне и в парламенте, упрекал себя в том, что в присутствии Жюльетты чувствовал себя парализованным непреодолимым волнением. И как сегодня вечером, эта внутренняя буря подымалась в нем по поводу маленьких неприятностей, казавшихся ему незначительными, и ничто, кроме легкой напряженности его черт, не выдавало этого волнения, которое Жюльетта принимала за следы политических тревог, в чем разубедить ее у него не хватало храбрости. Можно ли выразить сердечные упреки? Поймет ли их

та, которая о них не догадывается? Если бы она догадывалась о них, то их не заслуживала бы. А также возможно ли отвечать жалобами, в глубине которых стоит целая агония, такой женщине, которая подходит к вам с ямочками на углах улыбающегося рта, держа в одной руке окаймленную бахромой салфеточку, а в другой горячий стакан, и говорит:

Надеюсь, что на этот раз грог будет вам по вкусу... Бедный друг, у вас совершенно разбитый вид. Я уверена, что это заседание было опять ужасно. Но что заставило вас говорить? Еще вчера вы колебались.

– Благодарю вас! – сказал граф, опорожнив половину стакана. – Что заставило меня говорить?.. – продолжал он, ставя стакан на камин.

Вопрос Жюльетты давал ему возможность говорить о другом, а не о занимавших его мыслях и настолько облегчал тяжесть его положения, что он не спешил ответом и начал ходить взад и вперед по комнате, – привычка ораторов, готовящих или излагающих свою речь.

– Что заставило меня говорить? – повторил он. – Оскорбительное обвинение в эгоизме, брошенное моей партией. Нет, я никогда не позволю говорить без протеста во французском собрании, членом которого я буду состоять, что мы, монархисты и христиане, не имеем права заботиться о нуждах народа... Де Сов



сделал запрос министерству по поводу этой ужасной северной забастовки и последовавших за нею репрессий. Один из ораторов большинства ответил ему, вы догадываетесь какими фразами, – о старом режиме, – как будто прогресс, которым так гордится наше время, не был бы достигнут быстрее и прочнее одной силой времени без бойни Революции, без резни Империи, без июньских дней и без Коммуны!.. Я же им только сказал, что у нас, опирающихся на церковь и монархию, на эти две исторические силы страны, у нас имеется все, что нужно для решения рабочего вопроса!.. Я показал им, что мы могли бы извлечь все осуществимое из программы самых крайних социалистов, – все извлечь и позднее все направить... Но вы знаете мои взгляды. Я защищал их лишней раз, чувствуя, как под очевидностью моих аргументов, одобренных нашими друзьями, содрогнулись левые... А к чему все это?.. Ах, наши современные писатели поставили себе целью описывать все разновидности меланхолии, но никогда не описывали грусти оратора – борца за идею, в которую он верит всей силой своей души; а потом его единомышленники аплодируют ему как артисту, виртуозу, но его слова не обращаются в действие. Вся современная политика как справа, так и слева построена на кулуарных интригах, на соображениях и расчетах ничтожных пар-

тий, которые губят Францию. И я еще лишний раз им это повторил, и все напрасно, ах, так напрасно...

Он продолжал ходить взад и вперед, возобновляя тему, чересчур серьезную для одного из тех тошнотворных своей пустой болтовней заседаний парламента, которых со времени франко-прусской войны было бесконечное количество.

Жюльетта знала, что звук его голоса не лжет. Она знала, с какой горячей убежденностью Пуаян защищал идею, над которой будущее должно произнести свой приговор, знала его надежду исполнить то, чего не исполнил наш век, а именно сблизить обе Франции, старую и новую, монархией, опирающейся на традиционное право и вместе с тем устроенной согласно требованиям современной жизни. Прежде Жюльетта страстно интересовалась мечтами этого государственного человека. Она глубоко чувствовала его искренность и непонятость и хотела видеть его счастливым. Но она была женщина, и потому с того момента, как ее чувства к возлюбленному стали охладевать, она охладела и к его благородным идеям.

Такие люди, которые живут усиленной умственной жизнью, как артисты или ученые, Главари партий или писатели, обладают безошибочным умением измерять убыль чувства в своей возлюбленной или жене, или даже друге.

В тот день, когда ее духовный фанатизм, составляющий его жизненную пищу, потухает, тайно гаснет и ее сердечная преданность, и она начинает протестовать даже во имя прав сердца против того, чтобы этот муж, возлюбленный или друг был поглощен своей профессиональной работой, как это сделала и госпожа Тильер в ту минуту, когда граф замолчал.

– Все это прекрасно, – сказала она, – но теперь вам следовало бы хоть немного подумать о своем друге.

– Думаю ли я о вас? – переспросил он тоном грустного удивления. – А ради кого же я искал известности?.. Возле кого я черпал энергию, помогавшую мне переносить столько горьких разочарований?..

– Ах! – возразила она, качая своей хорошенькой головкой. – Вы умеете отвечать. Но хотите ли я вам докажу, как мало вы обо мне сегодня думали?

– Докажите, – сказал он, удивленно останавливаясь.

– Хорошо! Вы даже меня не спросили, с кем я сегодня провела вечер.

– Но ведь вы сами, – наивно воскликнул он, – писали мне, что обедаете у госпожи Кандаль.

– Да, но она была не одна, – продолжала Жюльетта, одержимая демоном любопытства, заставляющим в иные минуты самых лучших женщин возбуждать ревность мужчины, говоря ему о другом.

– А она не сердится на меня за то, что я запоздал с визитом ей? – спросил граф, не замечая ее кокетливого намека.

– Нисколько, – отвечала Жюльетта и, принимая равнодушный вид, продолжала: – Я обедала там с кем-то, кого вы очень недолюбливаете.

– Но кто же это? – наконец спросил Пуаян.

– Казаль, – ответила она, глядя на графа и стараясь уловить на его лице впечатление, произведенное этим именем бывшего любовника госпожи Корсьё.

– Откуда у госпожи Кандаль такие знакомые? – сказал Пуаян с убежденностью, рассмешившей и вместе с тем рассердившей Жюльетту.

Она улыбнулась, так как услышала ту самую фразу, о которой говорила своей подруге. А рассердилась потому, что это презрение являлось самой жестокой критикой того впечатления, которое производил на нее Казаль.

– Вероятно, это ей муж его навязывает, – настаивал граф. – Кандаль и Казаль составляют вместе достойную пару. Хорошо еще то, что последний своею жизнью букмекера и кутилы не позорит одну из лучших исторических фамилий Франции.

– Но уверяю вас, – прервала его Жюльетта, – я очень приятно с ним говорила.

– О чем? – спросил Пуаян. – Вероятно, он очень из-

менился, если вы смогли добиться от него какого-нибудь другого разговора, чем об игорном доме или конюшне. Да!

Мне пришлось послушаться у Корсьё и его разговоров, и речей его четырех товарищей, которых бедная Полина приглашала в надежде его удержать...

– А она его очень любила? – спросила Жюльетта.

– Безумно, – ответил граф с особой горечью, в которой чувствовалось суровое отношение к изменам со стороны человека, которого когда-то обманула жена. – И для меня страсть такого прелестного создания к этому фату оставалась всегда грустной загадкой. Надо было видеть, какую скуку вызывала в нем эта любовь!.. А муж – умен, образован и оригинален. Он обожал и продолжает обожать Полину. Я перестал бывать у них в доме из-за того, что там приходилось видеть. Я слишком страдал за Корсьё и за нее... Несчастливая! Как она поплатилась! Говорят, что Казаль был с нею ужасно жесток...

– Несмотря на это, он говорил о ней сегодня с большим тактом, – сказала госпожа де Тильер.

– Он даже не должен был произносить ее имя, – ответил граф.

Наступило молчание. Молодая женщина раскаивалась, что упомянула о своем вечернем соседе. Поиграв ревностью де Пуаяна, она испугалась, что воз-

будила ее. Обладая глубокой и нежной душой, она сейчас же раскаялась, что огорчила того, кого, как ей казалось, любила истинной любовью. На самом же деле в ней оставались лишь привычка к нему и чувство дружбы. Она ошиблась также и относительно чувств Пуаяна, слишком благородного для подозрений, несмотря даже на горький опыт своего брака.

В том, как Жюльетта только что говорила с ним о Казале, он усмотрел лишь, что она могла выезжать в свет и приятно проводить там время без него. Это казалось ему вполне невинным, и он упрекал себя за страдание, которое испытывал; он считал его эгоизмом и несправедливостью. Но – увы! – логика сердца не считается ни с нашим великодушием, ни с нашими софизмами; она ясно говорила ему, что возрастающий интерес Жюльетты к выездам и новым знакомствам служил показателем того, что он один не мог уже составить всего ее счастья.

Часы пробили двенадцать.

– Итак, – сказал он, вздыхая, – мне пора с вами проститься. Когда же я вас опять увижу?

– Когда хотите, – ответила Жюльетта. – Не пообещаете ли вы у нас завтра с моей матерью и кузиной Нансэ?

– Отлично, – сказал он. – Знаете ли вы, что, может быть, завтра или послезавтра мне придется расстать-

ся с вами на четыре или пять недель? – прибавил он взволнованным голосом.

– Нет, – ответила она. – Вы мне об этом не говорили.

– На этих днях должны состояться выборы в Общий Совет, и мое присутствие там необходимо.

– Вечно эта проклятая политика, – сказала Жюльетта, улыбаясь.

Он опять взглянул на нее глазами, в которых она не прочла, – не хотела прочесть, – просьбу, которую губы этого страстного человека не могли произнести.

– Прощайте, – повторил он еще более взволнованным голосом.

– До завтра, – сказала она, – в без четверти семь. Приходите немного раньше.

Когда дверь за ним закрылась, она долго сидела одна, опершись на тот самый камин, в зеркале которого еще так недавно отражался образ Пуаяна. Почему же опять перед ней скользнуло воспоминание о Раймонде Казале, и на какие мысли ответила она себе, когда перед тем, как позвонить горничную, громко сказала: «Неужели я больше не люблю Пуаяна?»

# Глава IV

## Сердечные переживания прожигателя жизни

В то время как, задав себе этот вопрос, Жюльетта леглась в свою узкую девичью кровать, которую взяла себе, когда овдовела, со всеми остальными вещами, напомиравшими ей о прежней счастливой жизни, – в то время как Пуаян возвращался пешком к своей квартире на улице Мартиньяк, возле церкви святой Клотильды, и упрекал себя, как за преступление, в том, что не умел нравиться своей подруге, – что же делал тот, внезапное появление которого между этими двумя существами являлось, без их ведома, грозной опасностью для остатков счастья одного и нравственной утомленности другого, – этот Раймонд Казаль, о котором мужчины и женщины так различно судили? Подозревал ли он, что его хорошенькая соседка по обеду в этот самый момент вместо того, чтобы спокойно заснуть, продолжала о нем думать, несмотря на принятое решение его забыть? Она не имела на это права, так как любила и хотела продолжать любить другого.

Казаль покинул отель де Кандаль с уверенностью,



что понравился госпоже Тильер; он скрылся так поспешно, боясь испортить впечатление. Но, когда, укутавшись в вечернее пальто, он очутился на тротуаре улицы Тильзит и, весело вдохнув в себя свежий воздух, взглянул на небо, усеянное звездами, первым его порывом не были мечты о нежном профиле молодой вдовы. Только позднее он должен был почувствовать, как глубоко уже в тот момент было затронуто его сердце. Размышления его всегда касались только внешности, и он совершенно не знал своей внутренней сущности. Но кто же вполне себя знает? Кто может заранее сказать: завтра я буду весел или грустен, нежен или недоверчив? Казаль, изнуренный постоянным удовлетворением своей чувственности и пресыщенный всеми радостями, заключенными в слове молодость, будучи прекрасно сложенным, имея избранных друзей, двести пятьдесят тысяч ливров дохода, превосходно зная Париж, мог считать себя застрахованным от всяких романических сюрпризов. Он рассмеялся бы своим веселым детским смехом, – смехом, обнаруживающим в нем некоторые хорошие качества: естественность, отсутствие злобы и добродушие, – если бы кто-нибудь сказал ему, что именно это изнурение и пресыщенность делали его зрелым для перелома чувств, глубокого или легкого, но во всяком случае для какого-то перелома. Ему давно уже

надоело тяжелое однообразие беспорядочной жизни. Нет ничего более правильного, лишенного каких-либо неожиданностей, строго размеченного определенными развлечениями согласно сезону и часу, как эта непрерывная жизнь «гуляки», – варварская кличка, данная лет десять тому назад современным кутилам. Эта изнанка буржуазного образа жизни, которая превращает удовольствие в почти механическое занятие, в конце концов так же надоедает, как буржуазная жизнь, и по тем же причинам. Часто этот «душевный колтун», как, смеясь, говорил Казаль по поводу одного товарища, внезапно помешавшегося на браке, выражается в тоскливом вздыхании по семейной жизни, которая начинает казаться «гуляке» преисполненной чудных неожиданностей. Она влечет его приманкой новизны, той же приманкой, которая толкает хорошего мужа поужинать в отсутствие жены в отдельном кабинете с глупыми, истрепанными и порочными девчонками, между тем как жена его умна, свежа и чиста. Но «брачным зудом» страдают лишь такие кутилы, которые когда-нибудь испытали глубокую сладость настоящей семейной жизни, или же такие, которые, несмотря на непрерывный праздник своей жизни, – это бывает, – оставались хорошими сыновьями по отношению к своей старой матери или хорошими братьями заботливых сестер. Будучи единственным

ребенком давно умерших родителей и поссорившись с двумя своими дядями, Казаль с самых ранних лет привык к безграничной свободе и, по-видимому, должен был навсегда оставаться холостым, как оставался брюнетом, желчным и мускулистым. Трудно было себе представить его наивно обожающим чистоту молодых девушек, так как у пресыщенных парижан такое обожание появляется одновременно лишь с появлением первых ревматизмов. Зато природная утонченность ощущений, сохранившаяся в нем, несмотря на среду, нетронутую, его любовь к преодолению препятствий и потребность приложить к делу неиспользованные способности делали для него пикантной интригу с такой не похожей на других и непривычной ему женщиной, как госпожа Тильер. Он не знал женщин такого типа, поэтому она являлась для него столь же опасной, как и он для нее. Но следует сделать оговорку: под сдержанностью молодой вдовы скрывалась способность к самой глубокой и смертельной любви, между тем как страсть у Казаля могла быть лишь капризом, игрой в любовь вследствие сильного вожделения. Для крови и мозга восемнадцать лет разгула не проходят бесследно. Но в то время как Казаль шел вдоль Елисейских Полей легкой поступью бретера и полной грудью вдыхал в себя вечерний воздух, у него не было даже и каприза, и если образ Жюльетты и

мелькнул в его воображении, то лишь сквозь целый лабиринт других мыслей.

Узнав о таком отношении, молодая женщина больше оценила бы то, что Габриелла называла педантизмом Пуаяна.

– Какой прелестный вечер! – говорил себе Казаль. – Если весна будет так продолжаться, то в нынешнем году будут прекрасные скачки... А обед был недурен... В свете опять начинают хорошо есть. Это все-таки благодаря нам. Если бы человек шесть из нас не говорили бы правду де Кандалю и некоторым другим относительно их метрдотелей и их вин, то чтобы теперь с ними случилось? А вот что следовало бы найти, это – способ хорошо провести два часа от десяти до двенадцати. Только для этого следовало бы основать клуб... Утром мы спим, одеваемся, ездим верхом. После завтрака всегда находятся какие-нибудь мелкие заботы, потом с двух до шести – любовные дела. Когда же их нет, можно поиграть в мяч, заняться фехтованием. От пяти до семи – игра в покер. От восьми до десяти – обед. От двенадцати до утра – игра и кутежи. Правда от десяти до двенадцати можно пойти в театр, но сколько пьес в году стоят того, чтобы их смотреть? А я слишком уже стар или недостаточно стар, чтобы изображать из себя фон лжи.

Мысль о театре привела его к мысли об одной

очень плохой, но красивой актрисе водевиля, временным любовником которой он был вот уже шесть месяцев, – о маленькой Анру: «А что, – подумал он, – не наведаться ли мне к Кристине?» Он представил себе, как входит в дверь с авеню д'Антен, потом поднимается среди едкого, витающего за кулисами запаха по черной лестнице и, наконец, переступает порог узкой комнаты, где одевалась девица. На столе валяются полотенца, запачканные белилами и румянами; тут же сидят два или три актера, обращающиеся на «ты» к своей товарке. При его появлении господы эти скромно стушуются, оставив ее наедине с ее «серьезным» покровителем, – а он именно считался таковым, несмотря на свою красивую внешность, так как все знали, что он богат, – а она начнет рассказывать ему закулисные сплетни. Он точно слышал, как, продолжая гримироваться, она говорит ему: «Ты знаешь, теперь Люси связалась с толстым Артуром, это отвратительно по отношению к Лоре». – «Ну нет, – заключил он, – я не пойду... На всякий случай загляну в клуб...»

Воображению его представились пустынные в этот час игорные залы, с одетыми в ливреи лакеями, дремлющими на скамьях; лакеи сразу вскочат при его приближении; он словно почувствовал смешанный, приторный запах табака и железной печки. «Ну, это слишком печально, – сказал себе молодой человек. – Не добрать-

ся ли мне до оперы? А зачем? Для того чтобы в пятисотый раз услышать четвертый акт „Роберта Дьявола“? Нет. Нет. Нет. В конце концов я предпочитаю „Филиппа...“» Это было имя английского бара, находившегося на улице Годо де Морой. После одной ссоры, окончившейся дуэлью и происшедшей в другом известном среди кутил последних двадцати лет баре «Эврика», или просто, как его называли, «У старого», Казаль и его компания перестали в нем бывать и с улицы Матурин перекочевали в кабачок улицы Годо.

Если когда-нибудь найдется летописец, знающий современную молодежь, то история ресторанов и кафе конца этого века будет интересной главой в его книге. И среди самых странных из таких мест он должен будет назвать те притоны кутящего общества, куда теперь стали ездить после театра настоящие баре, чтобы пить там бок о бок с жокеями и букмекерами виски и коктейли. Казаль мысленно представил себе узкую залу с длинным буфетным прилавком, высокие табуретки, картины с изображенными на них скачками, потом в глубине портреты четырех знаменитых тренеров.

«Ба, – сказал он себе, – в этот час я там встречу лишь Герберта с салфеткой или без нее».

Лорд Герберт Боун, младший брат одного из самых богатых английских пэров маркиза де Банбюрей, был

горьким пьяницей и в тридцать лет иногда дрожал, как старик. Он прославился тем, что нашел удивительные по простоте слова, ярко рисовавшие его ужасную страсть. Когда его спрашивали: «Как поживаете?», он отвечал: «Отлично, у меня превосходная жажда». Он простодушно думал, что фраза эта вполне соответствует выражению: «У меня хороший аппетит». Его любимая шутка, которая была шуткой только наполювину, состояла в том, что на товарищеских обедах он пытался поднести к губам стакан с вином, не расплескав его, жесты же его были так не уверенны, что для этого ему приходилось надевать на шею салфетку. За один конец ее он брался левой рукой, а за другой правой, в которой держал стакан. Таким образом левая рука тянула салфетку до тех пор, пока вино не попадало в рот этому пьянице.

«Но, – подумал Казаль, – теперь уже поздно. Он меня не узнает. Положительно, в моем теперешнем положении мне следовало бы иметь на эти часы „буржуазку“».

В его интимном товарищеском кружке этим термином обозначали любовницу из светского общества, – «вдову или разведенную, ведущую замкнутый образ жизни, которая радовалась бы моим посещениям».

Произнося этот странный монолог, он дошел до перекрестка, где сходилось несколько улиц. Только тут

он опять вспомнил о своей соседке и сказал себе вполголоса: «А право, эта маленькая госпожа Тильер мне подошла бы. С кем она может быть?»»

Конечно, такое заключение было весьма бесцеремонно и заключало собой целый ряд мыслей, которые даже не такому наивному человеку, как Пуаян, могли показаться циничными и проникнутыми грубым материализмом. Но все-таки в глубине их шевелился маленький зародыш чувства, а это доказывает нам, что каждое сердце представляет собой целый отдельный маленький мир, где самые нероманические образы порождают романические чувства.

Если бы нежное обаяние Жюльетты, – как незаметный, но сильно действующий аромат скрытого в комнате цветка, – не повлияло на Казалю, он не испытал бы такого отвращения при воспоминании о вульгарности Кристины Анру. Он отказался от театра, клуба и «Филиппа» под вполне основательными предложениями, но в этот вечер, как и во всякий другой, они не имели бы для него никакого значения, если бы в нем не работала тайная потребность одиночества. А для чего? Если не для того, чтобы отдаться мыслям о молодой женщине, воспоминание о которой внезапно захватило его, затмив в его воображении кулисы, клуб и кабачок. Тонкий силуэт обрисовался с удивительной отчетливостью на поле его внутреннего зре-



ния. Люди спорта, живущие интенсивной физической жизнью, развивают в себе восприимчивость дикарей. Они обладают удивительной животной памятью, присущей земледельцам, охотникам, рыболовам, – одним словом, всем тем, которые много смотрят на вещи, а не только на их изображение. Формы и краски беспрестанно отпечатываются в их мозгу от реальных непосредственных конкретных впечатлений с такой рельефностью, о которой кабинетные работники и салонные собеседники даже не имеют понятия. Казаль ясно увидел грациозно-страстный и полный бюст Жюльетты, ее гибкие плечи, черный корсаж с розовыми бантами, ее полный страстной неги затылок, светло-белокурые волосы, темный сапфир глаз, извилистые губы, блеск зубов и ямочку при улыбке, руки, по которым пробежала золотистая тень, крепкие кисти рук, столовую со всей ее обстановкой, ковром герцога Альбы и побледневшие или раскрасневшиеся лица гостей. Будь тут сама живая Жюльетта, он не мог бы разглядеть ее черт яснее и точнее. В результате этого видения полуиронические рассуждения о вечерних часах сейчас же уступили место хотя грубому, но по крайней мере искреннему и естественному порыву: чувственному желанию обладать этим прелестным созданием, под чистой и сдержанной внешностью которого он инстинктивно угадывал большую

страстность.

«Да, – продолжал он, – с кем она? Не может быть, чтобы у нее не было любовника».

Духовная память пришла на помощь и в дополнение памяти физической.

«Все равно. Она посмотрела на меня очень странными глазами, после того как сначала имела вид, что не замечает меня... Этот самый обед был заранее подстроен вместе с госпожой де Кандаль. Они – близкие друзья. Очевидно, моя маленькая соседка хотела со мной познакомиться. Я совсем недурно действовал. Уверен в этом. Что же теперь значит это любопытство? Не слышала ли она обо мне от другой женщины? От своего любовника?.. Или, наконец, у нее совсем, может быть, нет любовника, и она скучает там в своем углу? Ее так мало видно. Вероятно, она живет очень замкнуто... Она очень хороша. А что, если бы я принялся за ней ухаживать? На всю эту весну передо мной нет ничего интересного. Да, это мысль... Но где же с нею опять встретиться?.. Я обедал рядом с нею, а потому могу сделать ей визит вместо того, чтобы просто забросить карточку...»

Эта мысль ему так понравилась, что он громко рассмеялся.

«Это так, – продолжал он, – но тогда надо отправиться к ней завтра же... Завтра? А что я завтра де-

лаю? Утром еду в Булонский парк с Кандалем. Это хорошо. Он даст мне все нужные сведения. Завтракаю у Кристины. Но этот завтрак можно пропустить. Я слишком много завтракаю в этом году. После весь день бывает испорчен. Я отложу визит к Кристине и в два часа зайду к маленькой вдовушке. В четыре часа у меня фехтование с Верекиевым. Как трудно справиться с этими левшами!.. А что, если бы я просто вернулся домой и лег? Теперь половина одиннадцатого. Еще очень рано, но вот уже восемь дней, что я засыпаю в четыре часа утра. Сделаем передышку, чтобы собраться с силами».

Приняв это благоразумное решение, он обогнул улицу Буасси-д'Ангар, не останавливаясь ни у Императорского, ни у Малого клуба, и прямо направился к улице Лиссабон, где жил в унаследованном от отца отеле и настолько благоустроенном, что он производил впечатление семейного очага.

В основе необычайного здоровья привыкших к излишеству людей лежит скрытая гигиена. Те, которые пренебрегают ее требованиями, быстро исчезают, а те, которые выживают и удивляют следующие поколения своей неутомимой энергией на охоте, в игре, в фехтовальном зале, в других местах, сохранили, как Казаль, возможность следить за собой, несмотря на неправильный образ жизни. Гигиена этих людей со-

стоит в следующем: иногда они накладывают на себя по утрам монастырское воздержание, и этот пост служит предохранительной мерой после слишком сытного обеда; иногда, чувствуя переутомление, они дают себе разумный отдых, ложась спать в определенный час; иногда они восстанавливают свои силы целым рядом умело распределенных спортивных упражнений, а также ежедневным массажем, что составляет целое домашнее лечение гидропатией. «Свет принадлежит рассудочным людям», – говорил Макиавелли, – им принадлежит и полусвет, хотя такой афоризм и кажется очень парадоксальным.

Спокойный и крепкий сон благотворно подействовал на Раймонда, и когда на следующее утро он встал в восемь часов, чтобы пройти в ванну, а оттуда в уборную, он чувствовал себя необычайно бодрым и свежим.

Уборная Казалья славилась среди его товарищей, – как он в шутку говорил, – своими двумя библиотеками, хотя в другом месте у него была библиотека настоящая, полная самых изысканных книг. Библиотека уборной состояла из двух витрин: в первой висели чудные английские ружья всех возможных сортов, а во второй заключалась удивительная коллекция сапог, башмаков и туфель: всего девяносто две пары, приспособленных к самым разнообразным об-

стоятельствам спортивной жизни, начиная с борзой охоты до ловли сомов включительно, не говоря уже об альпинизме.

Часто случалось, что молодые «снобы» приезжали по утрам присутствовать при одевании этого законодателя кутящей жизни и восхищаться его своеобразным музеем. Но в это утро, после обеда у госпожи де Кандаль, он был один со своим лакеем и долго смотрелся в большое зеркало шкафа с тремя дверцами, где висело бесчисленное количество его костюмов, и который завершал собой меблировку комнаты. Несмотря на необычайную изысканность обстановки, превращавшую эту часть его жилища в типичный уголок холостяка-парижанина, франта восемьдесят первого года, англomана и атлета, Раймонд не был фатом. Если в ранней молодости он вложил все свое самолюбие в стремление к изысканной роскоши, то теперь, в отличие от своих товарищей, модников и франтов, он давно уже перестал о ней думать, и если в это утро, одевшись, он смотрелся в зеркало, то лишь потому, что вспомнил о своих вчерашних планах. На вид ему можно было дать скорее сорок лет, чем тридцать. В эти годы уже является первое наблюдение за собой, которое лет через десять превращается в недоверие к своей внешности, а лет через двадцать, если человек еще не складывает оружия,

в искусственное прихорашивание. Надо полагать, что он нашел себя способным нравиться и что решение сделать в этот же день визит госпоже де Тильер не улетучилось со сном: перед тем как поехать кататься верхом, он написал записку Кристине Анру на авеню Альма, в которой отказывался от завтрака, и, напевая сквозь зубы модную в это время песенку «Она так невинна...», направился на своем рыжем статном, но не резвом жеребце «Боскаре» к Булонскому парку.

Прозвище «Боскар» на парижском аргю означает профессиональный жулик; Казаль дал его своей лошади в насмешку над тем из своих приятелей, у которого он купил ее, – неким виконтом де Савезом, человеком из хорошей семьи, но весьма нещепетильным; он умудрился взять с Казалья за лошадь вдвое больше, чем она стоила. У Савёза, прозванного «Статуей Попрошайки», была дурная привычка во время игры брать займы у своих соседей жетоны в двадцать пять луидоров и никогда их не отдавать. Казаль в отместку за эти «гешефты», а также и досадуя на то, что дал себя надуть, прозвал «Боскаром» бедное животное.

При въезде в Булонский парк, точно напудренный, усеянный светло-зелеными блестками и восхитительный в это весеннее утро, «Боскар» пошел рысью. Эта лошадь не была выносливой, зато ход у нее был уди-

вительно мягкий, и приказ Казалья седлать ее в это утро служил показателем того, что он находится в мечтательном настроении.

Когда случайность, – как мы невежественно называем скрытую силу, правящую судьбой каждого из нас, – сближает двух людей, она умножает обстоятельства, оправдывающие в конце концов нашу веру в предчувствия. Но логика вполне удовлетворительно, хотя это только так кажется, объясняет все факты. Если знакомство Казалья с госпожой де Тильер было вполне естественным, то не менее естественным было и то, что в лесу он встретился не только с де Кандалем, с которым заранее условился, но и с Мозе, Прони и госпожой д'Арколь, а также что все эти лица, заметившие накануне рассеянность маркизы после внезапного отъезда молодого человека, стали немного над ним подсмеиваться. Светские люди очень любят такие шутки и не придают им никакого значения, да и Казаль прекрасно знал им цену, – знал, что они служат лишь предлогами для разговоров. Но в этом особенном для него случае эти самые разговоры слишком подкрепляли его собственные наблюдения, чтобы он не обратил на них внимания. Сначала Прони, пересекая перед ним галопом аллею на своей великолепной вороной лошади, крикнул ему:

– Вчера после твоего отъезда маленькая дамочка

была недовольна, очень недовольна!..

Потом на повороте всадника остановил Мозе, отве-сив ему многозначительный поклон. По обыкновению он шел пешком, борясь с ранней, захватившей его са-харной болезнью. Он соблюдал гигиену ходьбы с той силой воли и энергией, которые составляют самую ха-рактерную черту как евреев, так и янки. Сила воли, которая неуклонно проявляется как в мелочах, так и в важных делах и не ослабляется никакими неудача-ми, является общей чертой этих двух рас, самых упря-мых на всем земном шаре, а также и наименее извест-ных, так как они лишь с недавнего времени добились благополучия. Часто случается, что семит или амери-канец создает себе в пятьдесят лет личной решимо-стью, систематически и неуклонно проявляемой, це-лую новую программу жизни и даже новые вкусы. Кро-ме того еврей, обладает особым даром – никогда не пренебрегать мелочами, как бы ничтожны они ни ка-зались.

Вот почему Мозе, который когда-то поссорился, а теперь уже примирился с красавцем Казалем, поспе-шил воспользоваться этим случаем, чтобы сделать ему маленькое одолжение, сообщив нечто такое, что могло быть ему приятным.

– Как вы скоро нас покинули вчера вечером.

– Меня в клубе ждал один товарищ, – ответил Ка-



заль.

Проницательность умных глаз Мозе уже начинала его беспокоить, и он решился солгать.

– И вы унесли с собой от нас все внимание наших дам, – продолжал тот. – Госпожа де Кандаль принялась болтать в углу со своей сестрой, что же касается до госпожи Тильер, с вашим уходом она осталась одна.

Четверть часа спустя, обсуждая только что полученное сведение, Казаль встретился с госпожой д'Арколь, которая сама правила двумя ирландскими пони. Она сделала ему знак бичом остановиться, а когда он подъехал к экипажу, сказала:

– А как вы находите маленькую подругу моей сестры? Не правда ли, она идеально хороша?.. И вы бросили ее, чтобы пойти Бог весть куда... Экий неловкий!

Когда затем она погнала своих прелестных, быстро помчавшихся лошадок, глаза и губы ее ясно говорили: «Если вы не дурак, мой маленький Казаль, то начните ухаживать за вашей вчерашней соседкой и не напрасно».

Нельзя сказать, чтобы такой совет делал честь порядочной женщине, сестре такой же порядочной женщины. Но герцогиня инстинктивно недолюбливала Жюльетту за то, что она становилась между ею и сестрой. Она положительно обожала свою единствен-

ную сестру и очень бы обрадовалась, если бы могла сказать Габриелле: «Ну, что же, твоя безупречная подруга флиртует с Казалем».

Окончательным показателем безошибочности его чутья был толстяк де Кандаль, который, наконец, повстречавшись с ним, поехал рядом и, смеясь своим тяжелым, выдававшим его немецкое происхождение, смехом, – один из де Кандалей во время эмиграции женился в Вюртенберге, – сказал:

– Честное слово, вчера все шло прекрасно, лучше, чем я предполагал. Эта маленькая вдовушка немного неприступна... Госпожа Бернар уверяет, что покойный де Тильер подставил себя под пули с досады, что на ней женился... Я за тебя боялся... но ты держал себя превосходно... Когда ты улизнул, она казалась оскорбленной... Нет. Положительно стоило заплатить за место...

– А кто она такая? – спросил Раймонд.

– Как кто такая? Да ведь это вдова Тильера, адъютанта генерала Дуэ!

– Да я тебя не об этом спрашиваю, я спрашиваю, какой у нее характер?

– Ах, самый скромный, самый скучный... Она живет со своей старой матерью в мрачном как могила доме. Наконец, посуди сам, она имеет много общего с моей женой.

Все остроумие Кандаля заключалось в том, что он направлял свои жалкие эпиграммы против этого прелестного создания, которому не мог простить ни получаемых от нее благодеяний, – все состояние было предоставлено его фантазии, – ни наложенного на нее позора измены, – тотчас после свадьбы он вернулся к своей любовнице и скандально ее афишировал.

– Значит, она тебе очень нравится? – прибавил он, насладившись своим остроумием. – Женился бы ты на ней?

Казаль хотел спросить у него адрес молодой женщины, но этих слов было достаточно, чтобы вопрос замер на его устах. «Кандаля сейчас же все разболтает своей Бернар, – подумал он. – Да к тому же я найду ее адрес в первом ежегоднике».

Его охватило такое нетерпение, а также несвойственное ему волнение ожидания, что он сократил свою прогулку. Вернувшись домой, первой его заботой было раскрыть одну из так называемых золотых книг, куда, внося высокую подписную плату, наряду с баронами и миллионерами записываются тщеславные буржуа, подробно указывая свой адрес: улицу и номер дома, как подлинные члены высшего света. В этом списке госпожи де Тильер не оказалось.

«Не могу же я спросить ее адрес у кого-нибудь из

бывших вчера на обеде, и так их внимание уже насто-  
рожилось...»

Он не мог отказаться от мысли сделать ей визит, так как именно эта напряженность внимания доказывала, насколько он заинтересовал свою соседку. Но если бы сам он не был заинтересован ею больше, чем воображал, то отложил бы его с целью как-нибудь при случае ловко выведать в разговоре с госпожой де Кандадь нужный адрес. Он не выдержал и вместо этого послал своего лакея узнать его у дворника графини. «Это лучшее средство, – подумал он. – Дворник еще не осведомлен болтовней прислуги и найдет этот вопрос вполне естественным».

Однако следующая маленькая подробность доказывает, как сильно образ госпожи де Тильер врезался в воображение и чувства молодого человека: мысль о возможности каких-либо пересудов со стороны обоих слуг показалась ему настолько нестерпимой, что он дал своему посланному еще три других совершенно ненужных поручения в квартал Триумфальной Арки, чтобы иметь возможность как бы мельком сказать ему: «А проходя мимо отеля де Кандадь, зайдите к дворнику и спросите, где живет госпожа Тильер. Вы запомните имя?» Благодаря этой ребяческой хитрости, которая показалась бы очень забавной его товарищам по «Филиппу», в два часа он звонил у двери

улицы Матиньон, куда накануне входила Габриелла Кандаль.

Начинали обнаруживаться последствия происшествия с каретой.

– А ведь жилище это идет к ней, – сказал себе молодой человек, пересекая старый двор и направляясь к стеклянному холлу.

Швейцар сказал ему, что госпожа Тильер была дома. Та же предосторожность, заставлявшая молодую женщину одинаково поздно принимать всех друзей, заставляла ее никогда никому не закрывать своей двери. Она старалась избегать самых ничтожных замечаний со стороны прислуги. Кстати, благодаря тому, что у нее было мало знакомых и она имела привычку приглашать своих верных друзей аккуратно в определенные дни и часы, она никогда не произносила банальных пригласительных фраз. Такая свобода посещения не являлась чем-то непозволительным. Эта легкость доступа окончательно привела Казаля в восторг.

– Ей нечего скрывать, – подумал он, звоня у задернутой красной портьерой двери. – О если бы она была одна, – прибавил он тихо, пока лакей вел его через большую гостиную в маленькую интимную комнату, свидетельницу вчерашней резкой выходки Пуаяна против него.

Войдя, он сразу увидел госпожу Тильер. Она полулежала на кушетке, вид у нее был нездоровый, а белый кружевной капот еще более утончал ее красоту. Возле нее, разговаривая вполголоса, несмотря на то, что они были одни, на низком кресле сидел д'Авансон.

Казаль и бывший дипломат знали друг друга по клубу, куда последний часто ходил показывать свою физиономию старого красавца и черпать самые свежие сплетни. Молодежь улицы Royale смеялась над ним за то, что он беспрестанно бранил плохое современное воспитание и грустные современные развлечения. Несмотря на то, что д'Авансону скоро должно было исполниться пятьдесят шесть лет, он так же ухаживал за женщинами, как в двадцать пять. Это был человек, не куривший после обеда, чтобы не покидать гостиной, человек, которого вы, входя, увидите всецело отдавшимся сладости беседы с той, к которой вы больше всего хотите приблизиться. И он говорит с нею так тихо, что ни одно его слово не долетает до вас. Если вы встречаетесь с ним в доме, куда пришли с надеждой остаться наедине с хозяйкой, вы можете сидеть, сидеть без конца, но не заставите его покинуть своего места. Вы не «убьете» его, как остроумно говорят раздосадованные влюбленные. Д'Авансоны, — каждый из таких индивидуумов тип — обожают в своих отношениях к женщинам все мелкие, столь непри-

ятные для современного положительного поколения, обязательства, начиная с визитов и кончая поездками в экипаже за покупками.

Женщины всегда бывают благодарны этим седым «наперстникам» за их в большинстве случаев бескорыстный культ. Точно так же и мужья чувствуют благодарность к этим добровольным сторожевым псам за их неопасное постоянство. Любовники их проклинали.

Первым порывом Казалья было мысленно послать к черту этого поклонника госпожи де Тильер. Он не подозревал, как высоко ценила в нем молодая женщина его неизменное внимание к госпоже де Нансэ.

«Экий пень, – сказал он себе, – и вечно он является помехой; его и пуля не берет. Увы! – мой визит пропал даром!»

«Казаль здесь? – в свою очередь, говорил себе д'Авансон. – Ого! Я берусь водворить порядок».

Удивление его было так велико, что он не выдержал и, пожимая руку молодому человеку, громко сказал: – Как, дорогая, вы знакомы с этим шалопаем и скрываете это от меня?

– Я имел честь быть представленным госпоже де Тильер у госпожи де Кандаль, – сказал Казаль, отвечая за ту, к которой обратился д'Авансон.

Взглянув на Жюльетту, он понял, что внезапное его появление так поразило ее, что в первую минуту она

не могла говорить. Эта очевидность сразу вознаградила его за огорчение, причиненное ему присутствием д'Авансона. Теперь ему не нужно было разбираться в своих воспоминаниях и расспрашивать Прони, Мозе, госпожу д'Арколь и Кандаля. Такое внезапное смущение, – она покраснела до корней своих пепельных волос, – смущение светской женщины, у которой умение владеть собой является профессиональной добродетелью, так же как храбрость у военных, служит признаком необычайного волнения! Как могли бы женщины жить под шпионством более суровым, чем выпытывание судьей обвиняемого, если бы они не имели привычки скрывать свои чувства и переживания? Но со вчерашнего дня Жюльетте пришлось пережить часы таких мучительных размышлений, что ее расстроенные нервы не могли подчиниться ее воле. На заданный себе вопрос о Пуаяне и их взаимных отношениях она сначала ответила себе: «Нет, я еще люблю его», а потом: «Нет, мы больше друг друга не любим», после чего погрузилась в бездну бесконечной грусти.

Когда любовь умирает, наступают минуты раздирающей душу тоски, и тогда, убеждаясь, что чувства наши, на которых покоилось будущее наше сердце, разбиты, мы постигаем, мы, так сказать, осязаем все ничтожество нашей жизни. Тогда наступает такой упа-



док духа, что хочется умереть. В таких скорбях вместе с новыми ранами открываются и кровоточат старые раны. Это доказывает нам, что если наша радость погибает всецело, то не всецело искореняется наша скорбь. В эту ночь, когда Казаль спал детским сном, а Пуаян страдал и мучился, Жюльетта проливала горькие слезы, лежа на своей маленькой кровати, бывшей когда-то свидетельницей ее счастливых девичьих мечтаний. Но почему же сквозь слезы и глубокое внутреннее отчаяние она беспрестанно видела перед собой образ молодого человека, который, вероятно, был далек от мысли о своей вчерашней соседке? По крайней мере так думала она. Почему в тяжелом сне, сомкнувшем ей глаза лишь под утро, тот же образ наполнял ее видения? Если бы, проснувшись, она исповедовалась перед таким истинным нравственным руководителем, как, например, Лакор-дер, писавший госпоже Пральи, владелице замка Костебель, чудные письма, он открыл бы ей тайные причины ее снов и грусти. Безусловно, если наши сны не являются предсказаниями будущего, то, во всяком случае, моралисты и доктора не могут пренебрегать ими, так как в них они найдут ценные сведения о бессознательном элементе нашего внутреннего существа. Некоторые научно установленные факты это доказывают, – например, человек видит во сне, что он укушен в ногу. Че-

рез несколько дней на этой ноге у него появляется нарыв. Из этого видно, что животная природа человека чувствует себя затронутой до того, как проявляются какие-либо внешние признаки болезни.

Точно так же впечатление, произведенное Раймондом на Жюльетту, было сильнее, чем она подозревала; вот почему с той минуты как она вышла из отеля де Кандаль, ко всем ее мыслям примешивалось воспоминание о нем. Но в каких выражениях пришлось бы святому отцу, благородному Лакордеру объяснять этой хрупкой женщине истинный характер ее впечатлений? Допустил ли бы он мысль, что Казаль, этот известный сластолюбец, истый кутила, возбуждал в ней одним своим присутствием неясную дрожь желания и страсти? Несмотря на брак, почти тотчас же трагически разбитый, несмотря на связь с Пуаяном, которому она отдалась из идейного увлечения, Жюльетта сохраняла девственность своих чувств, — явление, настолько известное всем женщинам, что часто служит предлогом для постоянной лжи. Чувственно-любящая женщина в ней спала, и этот человек, очевидно, отвечавший ее чувственному идеалу прекрасно, тип которого видоизменяется соответственно каждой нервной системе, пробудил ее. Конечно, священник предостерег бы ее против каждой новой встречи с таким опасным человеком, который неотступно пре-

следовал ее во всех ее мыслях, и именно в тот момент, когда она почувствовала себя далекой от того человека, который в течение нескольких лет служил ей нравственной опорой, хотя и незаконной. Но все эти последние годы госпожа де Тильер не исповедовалась. Казалось, что от прежнего благочестия в ней остались только глухие угрызения совести и твердое упование на милость Божью, которая действительно составляет основу всякой религиозной веры. Итак, у нее не было никого, кто мог бы руководить ей в опасные для нее моменты, кроме одинокого раздумья и опасения стать презренной в своих собственных глазах. Проснувшись после мучительной ночи с сильной мигренью, она, не понимая истинных причин своего душевного разлада, вернулась к мысли, которая, как ей казалось, должна была спасти ее достоинство, – к мысли выказывать по отношению к любовнику, на которого она смотрела как на мужа, все большую и большую заботливость и ласку, даже теперь, когда любовь к нему угасала в ее сердце.

«Я скрою от него, что перестала его любить, – сказала она себе, – мне нетрудно будет это сделать, так как он тоже теперь меня любит меньше. Но с чувством дружбы и уважения еще можно жить и даже быть довольной, если нельзя быть счастливой».

После этого она помолилась, как продолжала с

усердием делать это каждое утро и каждый вечер, несмотря на прерванную связь с церковью и ее таинствами. Молитва успокоила ее, и, слушая болтовню д'Авансона, она находилась в спокойном изнеможении. Но появление Казалья было до того неожиданным и так потрясло ее, что на этот раз она не могла ни побороть себя, ни разъяснить себе причину этого потрясения. Все это длилось лишь одно мгновение, после чего она сейчас же села, грациозно привстав, и накинула на ноги трен своего длинного капота. А когда Казаль, садясь, в свою очередь, спросил ее «Вы не здоровы?» Она ответила ему: «Да, у меня с утра началась мигрень. Я надеялась, что днем все пройдет, но теперь она еще усилилась...»

Жюльетта взяла флакон с солью со столика, стоявшего возле кушетки, и начала медленно вдыхать ее. Этим жестом она как бы говорила своему гостю: «Вы видите, милостивый государь, что не должны долго засиживаться»... Но что за дело было последнему до холодности приема, деланность коего он отлично понимал? Что за дело было ему до очевидного недовольства д'Авансона, стоявшего теперь у камина и разглядывавшего с вызывающей старательностью номер лежавшего на камине журнала?.. Казаль подметил самое неопровержимое доказательство того, что молодая вдова интересовалась им, приходила

в смущение в его присутствии, – даже более того, – его боялась. Ее вспышка, сменившаяся бледностью, милая любезность за вчерашним обедом, а теперь ее внезапная холодность без всякого к тому повода, – все это с восторгом подмечал молодой человек. Может быть, найдя в этой гостинной улицы Матиньон, освещенной теперь горячим дневным солнцем, веселую хозяйку, собирающуюся пойти погулять, которая стала бы занимать его разговорами о последней пьесе Французского театра, о предстоящих скачках или о самом недавнем разводе, он тайно бы вздохнул и подумал:

«Все одинаковы» и заключил бы так: «Не стоит бросать Кристину»...

Но особенная атмосфера, окружавшая госпожу Тильер, которую, войдя, он сразу ощутил; но загадочный характер этой женщины, у которой накануне он видел странное желание знакомства с ним, а потом, когда знакомство состоялось, видел потрясенной настолько, что она как будто решила избегать его, даже самое сопротивление, на которое она только что решилась, – все это в высшей степени возбуждало каприз этого пресыщенного прожигателя жизни. Деятельный от природы человек, живший в нем и тосковавший в бездеятельности, встрепенулся, как в былые времена в фехтовальном зале, когда новый бретер касался его

шпаги, или как в Индии, когда он впервые охотился на тигра. Между тем Жюльетта начала один из светских разговоров, против которых не раз вооружались драматурги и романисты. И действительно, эти разговоры были бы очень пусты, если бы они не служили средством для того, чтобы скрывать такие мысли, выражение которых сделало бы невозможным некоторые тяжелые и вместе с тем слишком щекотливые отношения.

– Как хороша была вчера вечером госпожа д'Арколь! – сказала молодая женщина.

– Да, действительно, очень хороша, – ответил Казаль, – и как белое к ней идет.

– Это был ее реванш, – вмешался д'Авансон, закрывая журнал и снимая очки, которые тщательно сложил в специальный футляр. – Вы помните, дорогая, какой у нее был желтый и поблекший вид, когда мы встретили ее тогда на выставке на улице Сезе?.. А кстати, когда мне за вами заехать, чтобы вместе посмотреть ковер, о котором я вам только что говорил?

«Продолжай, любезный, – думал Казаль; в то время как бывший дипломат распространялся о ковре, указывая подходящее для него место в гостиной и делая бесчисленные намеки на такие же другие поездки по магазинам. – Старайся доказать мне, что я тут лишний, а что ты друг дома. Это не помешает мне вер-

нуться сюда. А вы, сударыня, тоже, кажется, хотите заставить меня поверить, что все ваше внимание поглощено рассказами д'Авансона. К несчастью, я уверен, что ваше внимание к нему так же, как и ваша мигрень, – комедия; а вы слишком хороши, когда прикладываете к вискам пальцы, как будто вам очень-очень больно!..»

Время от времени ему удавалось вставить в разговор словечко, показывавшее, как и накануне в разговоре за обедом, основное качество его ума: верность суждения. Несмотря на то, что в своей жизни он покупал безделушки лишь для новогодних подарков дамам света и полусвета, но из самолюбия и врожденного стремления первенствовать он обращался за советом к товарищам-знатокам, и вещи, подаренные им, были всегда самыми изящными; с хитрой радостью два или три раза он поправил д'Авансона, ошибавшегося относительно некоторых клейм фаянса.

– Так вы тоже коллекционер, господин Казаль? – спросила его Тильер.

– Нисколько, – возразил он, смеясь, – но у меня были друзья коллекционеры, и я только слушал их суждения.

– Он коллекционер? – начал д'Авансон. – Видно, что вы знакомы с ним, дорогая, всего лишь двадцать четыре часа... Нет, нет, – продолжал он с иронией,

выдававшей его гнев против присутствия Казаля, – странный гнев, часто овладевающий пятидесятилетними мужчинами, не желающими признаться в своей детски несдержанной ревности, на которую они не имеют никакого права. – Вы не знаете современной молодежи, если считаете ее способной заниматься чем-либо, кроме спорта и шика!.. Этот, как видите, умен. Я знал его чуть не с пеленок... Да, да, он начинал выступать в клубе, когда я отправлялся с поручением во Флоренцию... Он был одарен... Он рисовал, играл на рояле и говорил на четырех языках... Вы, вероятно, имели случай убедиться в его памяти... И что же? Если бы вам довелось, как это случилось мне, услышать его разговоры с товарищами: «А кто завтра выиграет в Auteuil-Farewel или livarot?.. А что, у вас хороший чубук?.. А какое шампанское вы пили сегодня за обедом?.. Экста-драй или брют?.. Машольт фехтовал сегодня с левшой Верекиевым. Кончилось ли состязание вничью? А в каком положении находится сегодня банк? А понт?..» И ничего другого вы от них не добьетесь...

Пока бывший дипломат произносил всю эту тираду, производившую тем более смешное впечатление, что, давая исход своему злобному чувству, он сохранял ту принужденно-вежливую сдержанность, которая свойственна людям его профессии, Жюльетта с



беспокойством смотрела на Казалья. Последний слишком занялся изучением малейших оттенков этого прелестного лица, чтобы не уловить в ее взгляде инстинктивную боязнь, что он обидится. Наоборот, он охотно поблагодарил бы ревнивца, стараниями которого симпатия молодой женщины оставалась за ним. Что могло быть удачнее этого случая, дававшего ему возможность доказать свой такт, не обижаясь на язвительную критику и отвечая на нее добродушным смехом.

– Ах, какой нехороший! – сказал он, когда д'Авансон замолчал. – Какой нехороший!..

Он встал, чтобы проститься, и с веселой фамильярностью похлопал по плечу старого красавца. Это был ответ на его обличения, – ответ чрезвычайно изящный и в то же время жестокий; Казаль дал понять, что относится к противнику как к большому ребенку: «Ну не слишком злословьте на мой счет, когда я уйду; а вы не очень-то ему верьте...»

– Я готов держать пари, что в эту минуту она делает ему из-за меня сцену, – говорил он себе спустя пять минут, направляясь пешком от улицы Матиньон к Елисейским Полям. – Вот и все, чего он добился своей злобой... – и Казаль пожал плечами. – Но как бы мне с ней опять поскорее увидеться? Надо пойти к госпоже де Кандаль, – прибавил он, немного подумав.

– Вы, действительно, были очень не любезны к Казалю, – говорила Жюльетта д'Авансону в ту самую минуту. – Почему вы так против него настроены?

– Я? – отвечал дипломат в замешательстве. – Да николько, вообще такие кутилы мне в принципе не симпатичны... Но вы, кажется хуже себя чувствуете?

– Да, правда, – ответила Жюльетта, опять ложась на кушетку и полузакрывая глаза. – Мне даже придется лечь. К обеду я должна быть на ногах, так как у меня обедают кузина де Нансэ и Пуаян...

Говоря это, она лгала, так как ее белокурая головка болела не сильнее, чем в ту минуту, когда новый посетитель нарушил ее беседу с верным д'Авансоном, но она предвидела, что последний продолжит свою речь, а ей не хотелось больше слушать жестоких суждений о Казале. Старый красавец несколько минут смотрел на нее в нерешительности, но уста его не посмели произнести напрашивавшуюся фразу: «Берегитесь этого человека». Вместо этого он вздохнул и просто сказал: «Итак, прощайте. Завтра я зайду узнать о вашем здоровье». Мысль, что лучшие ее друзья плохого мнения о Раймонде, очень огорчала эту нежную и чуткую женщину, а потому, когда за обедом мать спросила ее при Пуаяне о тех, кто был у нее днем, она назвала лишь д'Авансона, умолчав о другом посетителе. Этот другой, несмотря на принятое

решение больше с ним не видаться, настолько сильно занимал ее воображение что даже прощание де Пуаяна сегодня вечером нисколько ее не тронуло. Граф приехал за четверть часа до обеда с целью поговорить с ней наедине.

– Решено, – сказал он ей, – я еду завтра утром и, вероятно, на шесть недель. Я воспользуюсь этим путешествием, чтобы разобраться в некоторых мучительных чувствах, и окончательно проредактирую наш дневник того времени...

– Надеюсь, что вы добьетесь выбора ваших кандидатов, – ответила Жюльетта.

У нее не нашлось ни одного слова утешения для этого несчастного человека. Она не прочла в его глазах упрека за то, что расставалась с ним, не дав ему поцелуя, ободряющего любовников в грустной разлуке. Ее молчание за обедом и легкость, с которой она отпустила его в десять часов вместе со своей кухонной, он мог по крайней мере приписать мигрени. Ах, насколько сильнее огорчал бы его этот отъезд, если бы он догадывался, в какие минуты соблазна покидал свою дорогую единственную подругу, которую так глубоко любил, хотя теперь уже не умел выражать ей свою любовь.

# Глава V

## Первый грех

Подумав о госпоже Кандаль как о возможной союзнице для осуществления своих планов относительно осады сердца Жюльетты, Казаль рассчитывал, во-первых, на расположение к себе Габриеллы, которое чувствовал уже завоеванным, а во-вторых, на непреодолимое влечение всех романических женщин интересоваться чувствами, которые кажутся им горестными или наивными. Разыграть комедию одного из таких увлечений не представляло для него большого труда. Да и было ли бы даже это с его стороны комедией? Хотя теперь, после визита к госпоже Тильер, он был уверен, что она интересуется им, Казаль чувствовал себя по отношению к ней очень нерешительным, и эта нерешительность, усилившаяся после визита, начинала его беспокоить. Фехтуя с Верекиевым в Мирлитонской зале, он два или три раза был так рассеян, что удивил своих поклонников. За обедом в Английском кафе, куда он, боясь одиночества, пригласил встреченных в клубе двух товарищей, Казаль был очень молчалив, так же как и на спектакле акробатов, куда, в свою очередь, его затащили товарищи. Попав

около полуночи к «Филиппу», он показался своим тамошним товарищам таким мрачным, что они справились о его здоровье. По мере того, как приближался час, когда он должен был пойти к госпоже де Кандаль и говорить с ней о ее подруге, ему начинало казаться, что между ним и этой подругой госпожи де Тильер возникнет ряд недоразумений. Таким образом, спустя сорок восемь часов после обеда и двадцать четыре часа после появления перед Жюльеттой и д'Авансоном он с сильным сердцебиением перешагнул порог отеля улицы Тильзит. Такая застенчивость у человека, привыкшего к постоянным победам, такая внезапная и совершенно неожиданная неловкость, должны были нравиться Габриелле и расположить ее в его пользу. Но кроме того еще другое чувство, на которое Казаль не мог рассчитывать, заставляло молодую женщину брать сторону импровизированного воздыхателя Жюльетты, – чувство странного отвращения к Пуаяну. И это отвращение сыграло в описываемой нами светской драме столь большую роль, что мы должны попытаться разъяснить его причины. Мы тут имеем дело с одним из тысячи проявлений той загадочной женской дружбы, которая занимала хотя, в течение одного часа каждого недоверчивого мужа и каждого ревнивого любовника.

Габриелла Кандаль, – скажем это в похвалу хо-

рошенькой графине, – искренно любила Жюльетту. Они встретились, будучи еще очень молоденькими девушками, на одном из таких балов, которые даются в провинциальных замках и являются самым настоящим смотром последних представителей старого французского дворянства. С этого дня обитатели замков Нансэ и Кандаль, расположенных на берегах Индры, начали часто видаться, несмотря на разделявшее их стоверстное расстояние. Война семидесятого года, принудившая обеих женщин жить в своих поместьях и жестоко поразившая одну из них, вновь их сблизила. Позднее Габриелла начала поверять подруге тайные страдания своей жизни. Она выплакала свое горе возле Жюльетты, как некогда эта последняя выплакала свое возле нее. Эта сладостная взаимная поддержка и утешение сковали цепь из самого прочного металла – из преданности – между этими двумя одинаково великодушными и нежными созданиями. Обожая подругу самым нежным, полным, чутким и бескорыстным чувством, она в силу какой-то довольно сложной сердечной непоследовательности ненавидела чувство этой подруги к Пуаяну. Да, она ненавидела его за то, что Жюльетта никогда не говорила ей о нем вполне откровенно. Не доходя до того, чтобы подозревать свою избранную сестру в преступной связи, она хорошо понимала, что отношения ее с этим

человеком были очень близки, более близки, чем это казалось по их манере держаться при ней. Она была уверена, что Пуаян любил Жюльетту и что та не была равнодушна к его любви. Конечно, если бы графиня была посвящена в этот преступный хотя и благородный роман одним из соучастников, их отношения, казавшиеся ей чистыми, но сердившие ее своей тайнственностью и вызывавшие в ней ревность, не были бы ей так антипатичны. Ревность дружбы! Кто не знает этой столь естественной, невинной и обидчивой сердечной привязанности, которую испытывают даже животные? Попробуйте навязать вашей домашней собаке присутствие возле вас компаньона ее породы и заставить ее делить с ним вашу ласку. А потом ревность, зависть! Конечно, благородное создание с гневом и негодованием отрицало бы присутствие в себе этой самой низкой и отвратительной с нравственной точки зрения страсти. Увы! – она легче всего вкрадывается в неясные уголки нашего сознания и является самой распространенной, хотя наиболее тщательно скрываемой из наших страстей. Ее начало лежит в том, что главным образом делает нас созданиями общественными: в нашем сходстве с другими индивидуумами. С увеличением количества аналогий обостряется и раздражается зависть. Самый бедный артист никогда не будет так завидовать миллионеру, как он

завидует артисту, почти такому же бедному, как он сам. Теперь представьте себе двух женщин одинаково красивых, молодых, одаренных самыми ценными благами происхождения и состояния; представьте себе также, что они дружны, как были дружны Жюльетта и Габриелла, и что одна из них любит и любима, между тем как другая живет в скорбях несчастного брака, скованная судьбой и своими принципами. Скажите, не проникнет ли зависть в эту одинокую женскую душу, как бы благородна она ни была? Вначале она явится в виде смутной неловкости и необъяснимой инстинктивной ненависти к человеку, который без ее ведома причиняет ей душевное страдание, заставляя ее сравнивать себя с этой подругой. Вскоре она начинает искать оправдания своей антипатии, подмечая недостатки этого человека; она смотрит на него недоброжелательным и предубежденным взглядом, который может найти даже в Марке Аврелии чувственность, а в святом Винценте – эгоизм. Таким образом, госпожа Кандаль открыла в Генрихе Пуаяне необычайный эгоизм и себялюбие потому, что великий оратор, поглощенный своими идеями и деятельностью, слишком много говорил о политике. Она обвиняла его в тирании, потому что несколько раз Жюльетта отказывалась от разных приглашений для того, чтобы провести с ним вечер или с ним обедать. Она часто приходила



к заключению, что если бы брак этот когда-нибудь состоялся, то для Жюльетты он был бы большим несчастьем. В своем уважении к Пуаяну Габриелла не сомневалась. «Я не люблю его – вот и все...» – прибавляла она, смеясь. Желая сохранять вокруг себя глубокий мир, Жюльетта никогда не передавала своему возлюбленному ее критики, и последний ничуть не подозревал, каким опасным врагом была для него молодая графиня. Наоборот, он ценил в ней ее родовитость, безупречную честность и сознательную религиозность. Он сожалел, что она была замужем за таким вульгарным типом, как Кандаль, и чувствовал ее дружескую преданность госпоже Тильер.

– Вы нашли в ее лице преданного друга, – говорил он ей.

Когда такое деликатное отношение не обезоруживает враждебного к нам настроения, то, наоборот, оно еще более обостряет его. Все моралисты подтверждали следующий грустный закон нашей природы: мы менее всего прощаем другим наши собственные грехи против них, особенно когда грехи эти неясны, и мы скорее чувствуем их, чем сознаем. Открытая враждебность графа Пуаяна нравилась бы Габриелле больше его постоянной снисходительности. В дни своего тяжелого и несправедливого отношения к нему она доходила до того, что обвиняла его в лицемерии.

Кто знает, может быть эта женщина, измученная и обманутая нравственной низостью своего мужа, страдала также и от другого сравнения; ей приходилось сравнивать праздного и грубого барина, имя которого носила, с благородным, трудолюбивым, красноречивым и деятельным человеком, каким был Пуаян. В любую данную минуту совокупность всех этих дурных чувств могла тем сильнее подействовать на молодую женщину, чем она меньше отдавала себе в них отчета. Сказанного достаточно, чтобы понять, почему маневру Казалья был обеспечен у нее полный успех. Вот она сидит в салоне-будуаре, где она принимает своих близких, за письменным столом, под мраморным бюстом своего предка, великого маршала, бюстом работы Жана Кузена. Она кончает запоздавшую корреспонденцию, ежедневную переписку, к которой обязывают нас или вежливость, или чувства симпатии, или благотворительность и для которой женщина ее круга должна находить и беспрестанно находить все новые и новые прелестные выражения. Она приказала подать себе карету в половине третьего. Сейчас два часа. Раздается звонок... Это поставщик. Второй звонок... Это гость. «Я должна была сказать, чтобы не принимали», – говорит она, кладя перо и ожидая прихода докучливого посетителя. «Ах, – громко говорит она, – это вы, Казаль? Вот случайность!» «Зачем он

пришел ко мне, ведь он никогда не делает визитов?» – прибавляет она про себя. В это время с улыбкой, скрывающей его замешательство, молодой человек отвечает: «Мне надо было переговорить с Кандалем об одной лошади и спросить его, хочет ли он заменить ее другой. Узнав, что вы дома, я зашел к вам. Я вам мешаю?» – «Да нет же, – отвечает она, – не говорите таких вещей», и разговор сейчас же начинается с выдуманного Казалем предлога, а с него переходит на позавчерашний обед. Госпожа Кандаль произносит имя Жюльетты. Она смотрит на Казалья и видит, что в его глазах пробегает огонек любопытства и на уста напрашивается вопрос.

«Отлично, – сказала она себе, – я угадала... Он пришел говорить со мною о Жюльетте.»

В минуты, когда, сидя с вами наедине, женщина открывает в вас интерес к другой женщине, она становится истинно женственной, прелестной, вкрадчивой и грациозно-ловкой. Первый порыв любопытства заставляет ее сейчас же слегка поднять свою грациозную головку и сосредоточить все внимание в лукавых глазах. Если она писала, то кладет перо. Если же она не пишет, а сидит у столика, то берет в руки или перо, или работу, или книгу. Если она иностранка и курит, то зажигает папиросу, чтобы скрыть свое любопытство. Потом, как бы невзначай, она бросает вам коротень-

кие, маленькие фразы. И тут, если слушательница ваша вероломна, она изощряется в том, чтобы отравить вам сразу и заранее разными намеками все будущее вашей страсти. Классическая фраза: «О ней так много говорят» служит орудием для самого возмутительно-го злословия. Совершенно спокойно, бросая клевету улыбающимися устами, она называет господина, который был или продолжает быть в самых лучших отношениях с дамой, о которой вы мечтаете. Фразы вроде следующих: «Как, вы этого не знали?» или «Итак, вы можете рискнуть», вероятно, зачтутся им на том свете как салонное злословие, если найдется для них место в чистилище. Добрые женщины, наоборот, почувствовав с жадностью кошки, впущенной в комнату, где стоит миска с молоком, любовную историю, пускают в ход всю свою самую вкрадчивую дипломатию, чтобы вызвать нас на откровенность. Пока вы переживаете лишь период воздыхания, а потому еще имеете право рассказать секрет, принадлежащий лишь вам одним, хотя позднее, может быть, и пожалеете об этом. Из всех хитростей, имеющих целью заставить вас открыть свое сердце, самая банальная, но вместе с тем и удачная, состоит в следующем: вам просто высказывают то, что вам самим хотелось сказать, высказывают вслух ваши мысли. Это самый верный способ милых любопытных созданий узнать, верны ли их

догадки. Надо прибавить, что в большинстве случаев мы сами облегчаем это выпытывание. Так случилось и с Казалем: как только его собеседница произнесла имя той, которая занимает его, он тотчас же спросил:

– А кстати, как поживает госпожа Тильер? Виделись ли вы с нею после вашего обеда?

– Нет, – ответила графиня, – вас же я об этом даже и не спрашиваю... Зная, какой вы дикарь, я могу держать пари, что вы не забросили ей даже своей карточки.

– Не держите пари, – возразил Раймонд, смеясь, – вы проиграете. Я сделал лучше: вместо того, чтобы забросить ей карточку, я позволил себе сделать ей самый настоящий визит.

– Так, за ним последует их целая серия, – сказала она. – Ну что же? На этот раз вы были правы. Моя подруга прелестна, и, заметьте, она остроумна, хотя это качество обыкновенно присуще только некрасивым женщинам, и при этом чутка, грациозна, изящна. Только, знаете, она очень порядочная женщина... Знакомство с такими, как она, заставило бы вас измениться и убедило бы в существовании честных женщин... А о чем же вы с нею говорили?

– Да ни о чем, – возразил Казаль, – я был бы очень счастлив убедиться в существовании таких женщин, но, к несчастью, они окружены больше других. Вас,

например, я вижу одну в первый раз... Но с госпожой Тильер у меня не было этой удачи. Я прихожу к ней и кого же я там встречаю?..

На этом вопросе он остановился. Будь на месте Габриеллы другая женщина, он не ошибся бы в своем расчете, и ответ ее выдал бы ему имя любовника Жюльетты, если бы таковой у нее оказался. Но был ли у нее любовник? Со вчерашнего дня эта загадка мучила его, и если бы графиня назвала ему мужское имя, сопровождаемое словом «конечно», он бы перенес минуты настоящего страдания. Но такая измена, – мелкая монета женской дружбы, – была не в характере Габриеллы, и она только покачала головой в знак своего неведения.

– Д'Авансона, – продолжал Казаль, вынужденный дать ответ на вопрос, который сам задал. – Сознаться, что для первого визита это не заманчиво. При том же сей милый человек наградил меня целым пакетом очень неприятных вещей, а я сидел... Вы можете себе представить, какому уничтожению должен был я подвергнуться после того, как ушел оттуда. Теперь госпожа Тильер не захочет меня даже узнавать...

– А что вам до этого? – лукаво спросила графиня.

– Как что мне до этого? – воскликнул Казаль. – Неужели вы думаете, что приятно прослыть каким-то

грубым скотом, в лучшем случае способным вести разговоры лишь с жокеями, крупье и кокотками? Честное слово, этот старый волокита обрисовал меня именно таким...

– А что вы ему ответили?

– Я не мог, не правда ли, с первого же визита ссориться с другом дома. Но не хотите ли вы сделать доброе дело?

– Вижу, куда вы гнете, – смеясь возразила графиня.

– Я должна сказать Жюльетте, что вы не так плохи... Вы сами в этом виноваты. Почему вас видишь только случайно или мимоходом? Почему из двадцати четырех часов двадцать три вы проводите с целой ватагой игроков, кутил и разных девиц, которые афишируют вас, развращают и разоряют?.. Вы скажете, – прибавила она, – что это не мое дело?

– Ах, – ответил Казаль, взяв ее руку и поднося ее к усам почтительным и в то же время фамильярным жестом, тронувшим молодую женщину, – если бы в обществе было побольше людей, похожих на вас!..

– Ну, ну, – сказала она, грозя ему пальцем, – вы мне льстите недаром. Вы хотите, чтобы я доставила вам случай оправдаться перед моей подругой от наговоров д'Авансона? В таком случае завтра, в пятницу, приезжайте в Оперу и зайдите ко мне в ложу.

– Боже мой! – сказала она себе после ухода Казалья.

– Лишь бы Жюльетта не рассердилась на меня за это приглашение?.. Как я глупа! В тот вечер она была очень недовольна, когда он исчез после обеда. Она будет в восторге его видеть. А что же дурного было бы в том, если бы она немного пофлиртовала с другим, а не только со своим политиканом?.. По крайней мере, этот может на ней жениться... Жениться, он, Казаль? Какое безумие!.. А почему же нет? Он богат, красив и так молод... Да, несмотря на свою жизнь и дурную репутацию, он так молод душой. А как он был мил и застенчив, когда говорил о ней! Чего это ему не хватало в жизни? Хорошего влияния... Но что скажет де Пуаян, узнав об этих двух встречах, последовавших одна за другой? Пусть говорит, что хочет. Это мне решительно все равно.

Несмотря на эти рассуждения, а также на витавшую в ее голове мысль о возможности брака между Раймондом и молодой вдовой, графиня не чувствовала себя вполне спокойной, когда в пятницу, сидя в карете, быстро уносившей их по дороге в Опери, говорила своей подруге:

– Да, кстати, я забыла... Я пригласила в свою ложу Казалья. Тебе не будет это неприятно?

– Мне? – ответила Жюльетта. – Почему?

Это простое «почему» она произнесла с легким смущением, не ускользнувшем от тонкой, привыкшим



к интонациям ее голоса госпожи де Кандаль. Последняя ожидала, что Жюльетта скажет ей что-либо о визите Казалья, но та молчала. Легкое смущение, которое выдал звук ее голоса, и наступившее затем молчание обнаруживали нечто иное, чем равнодушие, по отношению к этому человеку, которого Жюльетта видела лишь два раза. Действительно, после его визита она непрестанно думала о нем, но с глубокой честностью стараясь противопоставить соблазнителью образ Пуаяна. «Какое счастье, – говорила она себе, – что я его плохо приняла. Он больше не вернется. Мне было бы очень неприятно писать о нем Генриху. Он так жесток к нему. А д'Авансон еще хуже...» Вспоминая выходку бывшего дипломата, она говорила себе: «Не могу поверить, чтобы они были правы...» Как большинству женщин, не имеющих никакого ясного понятия о том декоруме, коим прикрывается порок, эта формула – прожигание жизни – ничего не говорила ей, кроме чего-то неясного, отвлеченного, неопределенного. В ее понятии это значило преступное саморазрушение и заблуждение, мучительное, так как за ним следуют угрызения совести. Эти темные глубины мужского греха влекут к себе нежный ум женщины сложной приманкой, заключающей в себе ужас, любопытство и жалость.

«Нет, – думала она, – Габриелла права, он вращал-

ся в дурной среде и его гадко любили. Как жаль!.. Но что же делать? Да, это счастье, что я его больше не увижу. Пожалуй, с его привычками он попробовал бы за мной ухаживать. Уже визит его на другой же день обеда, без всякого с моей стороны приглашения, был не вполне корректным. Но надо отдать ему справедливость: он был безупречно тактичен, а д'Авансон положительно невозможен. Да, но если бы он нашел меня одну, то что бы он мне сказал?..» Она испугалась этой мысли, и по ней пробежала легкая дрожь. «А о чем же я-то думала в это время? Теперь все кончено. Он больше не вернется...» В то время как она приходила к этому заключению, ее неосторожная подруга вновь сталкивала ее с молодым человеком...

– Но, – довольно резко спросила она, – я думала, что ты не видишься с Казалем вне твоих больших охотничьих обедов?

– Это правда, – ответила госпожа Кандаль, – но вчера он был у меня с визитом и имел такой несчастный вид.

– Почему? – спросила Жюльетта.

– Да разве он у тебя не был, – спросила Габриелла, – и разве у тебя он не встретился с д'Авансоном?

– Я не понимаю, какое это имеет отношение... – сказала госпожа Тильер, немного сконфуженная осведомленностью Габриеллы о визите Казалья.

– Очень простое, – возразила графиня. – Д'Авансон к нему отнесся ужасно...

– Ты знаешь этого несчастного, – сказала Жюльетта, стараясь смеяться, – он ревнует; это бывает во всяком возрасте, а особенно в его годы, и ему не нравятся все новые лица.

– А все же Казаль ушел, вполне уверенный, что ты о нем ужасного мнения, и пришел поведать об этом мне... Он положительно тебя боится... Ах, если бы ты видела его, как все в нем говорило: защитите меня перед вашим другом, – ты была бы так же тронута, как и я... И я пригласила его, чтобы дать ему возможность защищаться самому, своим поведением... Что делать! Он интересуется меня, как я уже говорила тебе в прошлый раз. По-моему, жаль допускать, чтобы человек с его способностями все больше и больше уходил в общество, недостойное его. И притом, если он дорожит нашим мнением, то почему же мы должны лишать его возможности возвращаться в высшем свете? Разве ты не того же мнения?..

Жюльетта отвечала уклончиво. Она не хотела и не могла показать Габриелле, какую нервную дрожь вызвала в ней мысль о встрече с Казалем. Может быть, также, она, стараясь доказать себе обратное, смутно желала этого присутствия и в своем испуге радовалась мысли увидеть его, не чувствуя себя в этом ви-

новатой.

Желая оправдаться в том, что пригласила молодого человека, графиня нашла объяснение, которое было очень опасным для такой женщины, как госпожа де Тильер, столь отзывчивой, столь чуткой, что сострадание служило для нее приманкой.

Именно через эту постоянно открытую в ее нежном сердце расщелину впервые вкралась к ней любовь, когда она начала жалеть Пуаяна за его страдания и желать утешить его. От мысли, что несчастье Казаля заключалось в беспорядочности его жизни и что благотворное влияние могло бы его спасти, она перешла к проекту этого спасения посредством своего влияния, – и как переход этот был заманчив!

Но соблазн не обрисовывался в ее смущенной душе с полной отчетливостью, и вместо того она прислушалась к голосу совести, говорившему ей следующее:

– На этот раз я не могу скрыть от Генриха, что видела Казаля.

Когда де Пуаян уезжал, она имела привычку писать ему нечто вроде ежедневного дневника своей жизни и мыслей. Входя с графиней в бенуар авансцены, на который ее подруга из-за нее же в прошлом году променяла свою ложу бельэтажа, она была еще во власти только что пережитых чувств и с недоверием взгляну-

ла на молодого человека.

Он был там и рассматривал вместе с Кандалем и Д'Артемом залу. Когда он здоровался с нею, глаза его не выражали того нахальства, которое как бы говорит женщине: «Вот видите, несмотря на ваше нежелание, я пришел, чтобы видеть вас», – наоборот, в них чувствовалось страдание. Со дня приглашения госпожи Кандаль этот соблазнитель, законодатель мод, этот пресыщенный всем человек не узнавал себя. Беспокойство его не проходило, а усиливалось. Несмотря на всю свою опытность, он говорил себе: «Госпожа Тильер будет очень недовольна, встретив меня здесь. Она думает, что я навязываюсь ей, и если д'Авансон еще продолжал свою разрушительную работу, то я погиб в ее глазах». Когда же она прошла мимо него к своему месту, глаза ее и все лицо, в противоположность вчерашнему волнению, выражали такую холодность и отдаленность, что тоска его перешла в настоящую муку. Впервые чувство, работавшее в Раймонде, стало ему ясно. Тут уже дело шло не о том, чтобы найти себе буржуазку для того, чтобы как-нибудь провести время от 10 до 12 часов, и не о том, чтобы устроить себе более или менее интересный флирт.

«Конечно, я попался», – говорил он себе, мысленно употребляя специальный термин своего особого жаргона, чтобы обозначить свое нравственное и совер-

шенно необычное для него состояние, которого разум его так боялся, а сердце так желало. Пока Жюльетта, на этот раз вся в белом, усаживалась рядом с госпожой Кандаль, одетой в розовое платье, Казаль изучал ее. Обе женщины начали с того, что, рассматривая театр и изучая незаметно беглым взглядом ложи, разложили на бархатном столике веер, платок, черепаховую лорнетку и флакон с английской солью. В то время как певцы ходят взад и вперед по сцене, оркестр замедляет или ускоряет аккомпанемент, а мужчины шепчутся в глубине ложи, они обмениваются обрывками мыслей, к которым молодой человек так же привык, как привык надевать фрак и белый жилет по вечерам и ездить верхом по утрам. Обыкновенно он не придавал им никакого значения, но в том настроении, в каком он находился теперь, ему хотелось уловить в них доказательство того, что госпожа де Тильер начала приходить в себя. Давали «Гамлета» Амбруаза Томаса; играли довольно посредственно.

Прекрасная артистка, исполнявшая роль Офелии, была окружена подставными актерами, и в полутьме ложи Казаль слышал такие фразы: «Боже мой! Какой ужасный король! Как могла она отравить своего мужа ради такого человека?.. – А кто сидит в ложе у госпожи Бонниве? Так это уже не Сен-Люк?.. – Я всегда задаю себе вопрос, настоящий ли актер играет приви-

дение?.. – Да, конечно, он шевелит губами... – Взгляни, в ложе госпожи Комовой сидит маленькая госпожа Морен, не правда ли? Ах, как она втирается в свет! Она очень красива... – Посмотри же на королеву. Как ты находишь, на кого она похожа?.. – Не знаю... – На Марию де Жард. Поразительно...» Обыкновенно такими фразами обмениваются под плохую или дивную музыку эти усыпанные бриллиантами сфинксы, сидящие в первых ложах, профиль которых волнует издали мысли двух или трех затерявшихся в зале бедных мечтателей. На каждом представлении в Опере всегда найдется двое или трое молодых людей, добела накаленных плохо понятым чтением, которые экономят на своем бюджете голодных студентов, или репетиторов на дому, или простых приказчиков, или же, наконец, провинциалов, приехавших в столицу, чтобы иметь возможность прийти погреться лучами, исходящими от солнца высшего света. Но все-таки эти безумцы, воображающие, что изящество внешности и туалета соответствует духовной утонченности, и приходящие в восторг от этой химеры, не вполне ошибаются. С подвижностью, способной вас смутить, делающей из парижанки постоянное чудо противоречий, эти женщины, поговорив друг с дружкой, как говорят в гостиной, начинают следить за какой-нибудь частью произведения и вдруг проникаются им и тем

возвышенным трепетом, который хотел передать артист. Так, когда перед началом сцены безумия поднялся занавес, графиня Кандаль сказала себе и своим приглашенным:

– Теперь надо слушать.

В ложе водворилась тишина. Действительно, в этом четвертом акте «Гамлета» есть божественная ария, тему которой, как говорят, французский композитор позаимствовал из народной северной песни. Несколько тактов, в которых слышатся отчаянная тоска и грусть, беспрестанно повторяются в жалобе Офелии, между тем как ее подруги вокруг нее поют и пляшут; это – вечный, режущий сердце контраст ликующей, кипучей и беспечной жизни с одинокой душой, жертвой страсти и мучений от внутренней раны... Пришла цветущая весна, она смеется в бессмертно молодом небе, сеет по газонам чашечки нежного первоцвета и заставляет дрожать восторженные слезы счастья в глазах влюбленных. Все уста раскрываются в приветствии опьяняющему празднику, кроме уст покинутой, которой жестокий принц говорит сначала: «Нежная Офелия», а потом: «Иди в монастырь». Сквозь призму счастья других она видит свое собственное несчастье и все то, что могло бы быть и чего нет.

«Ах, – вздыхает она, – счастлива жена, идущая под



руку с мужем...» и с этим вздохом она теряет рассудок... Нет, не может быть, чтобы ее коснулась измена, если принц, ее принц, если Гамлет, ее Гамлет, еще жив. Раз она вдали от него одинока и разбита, значит, его уже нет на этом свете, и она идет к реке, которая течет перед ней; здесь найдет она ложе, на котором забываются все страдания. Нет, пустите ее все те, кому она с грацией скорбной влюбленной раздавала цветы своего букета, пустите ее к этой воде, менее обманчивой, чем мужское сердце, менее зыбкой, чем надежда, менее быстрой в своем течении, чем бегство счастливых часов, – пусть она утопит в ней вместе с воспоминанием об утраченной радости свою неизлечимую любовь.

«Прощай, – вздыхает она еще раз, – прощай, мой единственный друг...»

Пусть жизнь продолжает смеяться и кружиться в вихре, пусть весна расточает свет и ароматы, – больная душа теперь станет свободной навсегда...

Необычайная прелесть музыки и ее особенное свойство заключаются в том, что она очень неопределенно и мягко передает скрытый в ней символизм. Таким образом она отвечает самым различным запросам психики. В то время как развертывалась прекрасная фраза арии, составленная с чрезвычайно искусным сценическим расчетом, каждый из собравшихся

в ложе госпожи де Кандаль чувствовал, как эта трогательная мелодия затрагивала в нем тем или другим из своих нюансов собственные мысли и чувства.

Габриелла, которой стоило только обернуться, чтобы увидеть в ложе между колоннами госпожу Бернар, любовницу мужа, находила во вздохе покинутой девушки нечто похожее на тайные страдания своей жизни. Решимость Жюльетты как бы размягчалась незримыми слезами, которые проникали в ее душу вместе с нежащей мелодией. И даже сам Казаль, охваченный романическим волнением, впервые после долгих лет оставил свои обычные выходки против «шума, который оплачивается дороже других». Слушая эту хорошо известную ему арию, сидя рядом с любимой женщиной, Казаль испытывал страстное и вместе с тем грустное смущение и добровольно отдавался этому чувству. Она была так близко от него, со своими белокурыми волосами, высоко и просто зачесанными на затылке, тонкой шеей, белизна которой сливалась с платьем, открывавшем плечи, с нежной линией неясно обрисованной в профиль щеки, с еле заметным запахом персидской сирени, исходившим от ее платья. Да, так близко от него и вместе с тем так далеко! Он видел ее и чувствовал как бы слившейся с ним в одном и том же настроении. Ах, если бы только в эту

минуту он мог говорить с нею, то, наверное, узнал бы, вполне ли поборола она в себе интерес к нему, замеченный им с первого же их свидания... Но дверь открывается, и кто-то входит в аванложу. Очарование нарушено; вошел Мозе, которому Кандаль пожимает руку, а госпожа де Кандаль встает, чтобы поговорить с вошедшим, едва он успел поздороваться с госпожой Тильер.

– Пойдите сюда, – говорит она гостю, указывая ему место рядом с собой на диванчике в аванложе. – У вас такой вид, как будто вы хотите что-то сообщить... Расскажите-ка мне в чем дело...

– Да нет же, – возразил Мозе, смеясь, – у меня нет никаких новостей.

– Если я вас стесняю... – сказал де Кандаль, поворачивая ручку двери и держа в руке свою вечернюю палку, и, опершись свободной рукой на руку д'Артеля, он прибавил: – Какой я хороший муж, я его тоже увожу.

«Уйдет ли и она?» – подумал Казаль, оставшись в ложе вдвоем с Жюльеттой.

И действительно, в эту самую минуту госпожа де Тильер говорила себе: «Я должна избегать оставаться с ним вдвоем даже на пять минут». Но, несмотря на это, она продолжала сидеть в своем кресле, делая вид, что опять внимательно рассматривает в лорнет всю залу. В зеркале, висевшем на перегородке ло-

жи, она видела омраченное беспокойством лицо Раймонда, и вот теперь перед этим прекрасным и гордым мужским лицом она вновь переживала волнение, охватившее ее в первый вечер. Но к этому примешивалось еще чувство непреодолимого умиления, вызванное его очевидной застенчивостью, льстившей ей, заставлявшей трепетать самые заветные струны ее женской гордости. Она не могла побороть себя, так как музыка сильно потрясла ее нервы, а сердце сжималось в ожидании, тайную сладость которого она испытывала, несмотря на то, что считала его преступным, и ... не встала. Кстати, молодой человек начал с ней говорить. Могла ли она оскорбить его, не ответив ему? Но за что?

– Как хорош этот акт! – говорил он. – Из-за него я прощаю композитору, что он коснулся Гамлета: я вообще терпеть не могу, когда портят уже обработанные сюжеты или облачают их в другую форму... Надо видеть эту вещь в Лондоне, когда ее играет Ирвиг. Вы его знаете?..

– Я никогда не была в Англии, – ответила Жюльетта.

«Габриелла права, он меня боится...» – подумала она. Это чудное ощущение длилось всего лишь несколько секунд. Сдержанность Казалья успокаивала ее совесть и особенно доказывала, что она уже силь-

но нравилась молодому человеку.

Он продолжал объяснять ей характерную игру великого английского актера, критикуя его слишком резкий голос и восхваляя отчетливость жестов и пронизывающий ум. Он сделал короткую паузу, улыбаясь:

– Признайтесь, – сказал он, – вы находите смешным, что я претендую на обладание артистическим вкусом.

– Почему же, – спросила она.

По ней пробежала легкая дрожь. Она почувствовала, что за этой фразой последует другая и разговор примет опасный оборот.

– Почему? – возразил Казаль. – Да потому, что вы судите обо мне по тому портрету, который вам нарисовал тогда ваш друг д'Авансон.

– Я не слушала его, – сказала она, обмахиваясь веером, за которым старалась скрыть вновь охватившее ее волнение.

– У меня была такая мигрень!

«К чему он клонит?» – спрашивала она себя.

– Да, – сказал Казаль с не вполне притворной искренностью. – Но в тот день, когда у вас не будет мигрени, вы будете слушать его и поверите. Да, его или другого... Я как-то говорил госпоже Кандадь, что очень тяжело, когда о тебе постоянно судят по нескольким грехам молодости... А потом мне показа-

лось... Вы позволите мне говорить откровенно?..

Она наклонила голову. Он задал ей этот загадочный вопрос с немного детской грацией, которая так сильно действует на женщин, когда она соединяется в мужчинах с большой энергией и мужественной зрелостью.

– Мне показалось, – продолжал он, – что вы были недовольны, когда я пришел к вам и, действительно, вы меня не пригласили бывать у вас.

– Но, – возразила она, смущенная этим прямым ударом, которого не могла отразить, – вам едва ли у меня понравится. Я живу в своем углу, вдали от всего того, что вас интересует...

– Вот видите, несмотря на вашу мигрень, вы слышали обвинительную речь д'Авансона... – сказал он. – Но я хотел бы иметь от вас разрешение бывать иногда на улице Matignon, хотя бы только для того, чтобы опровергнуть пред вами его обвинения. Признайтесь, что это было бы только справедливо.

В эту минуту он был так хорош, и в светлых глазах его светилась такая нежность, а весь разговор этот произошел так неожиданно быстро, что Жюльетта невольно ответила:

– Я всегда буду вам рада.

Это была самая банальная фраза. Но, сказанная таким образом в ответ на его просьбу и после того, как

госпожа де Тильер дала себе слово быть такой сдержанной, эта маленькая и совершенно незначительная фраза была равносильна первой уступке. Трогательное «Благодарю» Казалья дало ей понять, что и молодой человек придавал ей такое же значение. Только тогда у нее нашлись силы встать и пойти к Габриелле и Мозе. Но было поздно.

# Глава VI

## По наклонной плоскости

Когда по возвращении из театра Жюльетта окончила свой ночной туалет и отослала горничную, она села за свой письменный столик, чтобы написать Пуаяну отчет в том, как она провела день. Этот маленький столик, на котором было расставлено множество мелких вещей, свидетельствовавших о пристрастии хозяйки к безделушкам, был в ее жилище еще более интимным уголком, чем бюро в тихой гостиной в стиле Людовика XVI. На обтянутой шелком стене, в которую упирался этот столик, свидетель ее лучших минут, висели портреты ее матери, отца, мужа, – дорогих покойников и близких друзей. Они были расположены так, что она всегда могла близко смотреть на них и доставать их рукой. Над кожаными, серебряными и сделанными из старинных материй рамками висела этажерка-библиотека, заключающая в себе ее любимые книги, как, например, «Подражание Христу», сборники стихотворений интимных поэтов, несколько романов тонкого анализа и особенно творения моралистов, соединявших в себе, как Жубер, как принц де Линь, как Вовенарг, острую тонкость наблюдатель-



ности со всеми достоинствами доброты. Задернутая кружевом лампа разливала мягкий свет на этот интимный мирок, на девственную кровать из розового дерева с витыми колоннами и несколькими приготовленными на ночь подушками, и на камин, где горело дрожащее пламя. Только мерные удары маятника нарушали тишину этой уединенной комнаты, окна которой выходили в сад. Как дороги были Жюльетте эти часы одиночества, и как любила она засиживаться за чтением или писанием! Она любила переписку, интерес к которой теперь начинает у нас исчезать благодаря постоянной спешке. И между нею и ее друзьями происходил беспрестанный обмен записочек, то по поводу непонятой в разговоре фразы, то по поводу одолженной книги, то насчет чьего-либо здоровья или просто поручения. Тысячи таких пустяков служат женщинам предлогами, чтобы вышивать прелестные цветы фантазии на монотонно-серой канве светской жизни. Сколько раз беседовала она в бесконечно длинных письмах с самым близким своим другом, тайно избранным ею мужем, когда политические дела вызывали его из Парижа! Ее перо тогда быстро бегало по тонкой синеватой бумаге, а мысль следила за человеком, честолюбие которого страстно увлекало ее и перед которым она преклонялась, давая ему неуловимо тонкие советы, составляющие для самолюбия мужа или

любовника единственную утеху... Но сегодня вечером, после представления «Гамлета», прежде чем начертать хоть одну строчку письма, которое собралась писать, она долго сидела, держась руками за голову. Должна ли она была сказать ему о Казале, об его просьбе и о своем ответе?

– Я должна это сделать! – сказала она, наконец, громко, и на лбу ее показалась складка; в минуту решимости, о которой свидетельствовали ее слова, она принялась писать. Через полчаса она кончила вполне правдивое письмо, в котором рассказывала встречу с Раймондом в ложе Габриеллы, содержание их разговора, делая все это просто и прямо; она прибавила, что если Генриху неприятно присутствие у нее молодого человека, то она ждет лишь его слова, чтобы избавиться от Казалья. Окончив письмо, она перечитала его и представила себе де Пуаяна читающим его через двадцать четыре часа. Зная его слишком хорошо, она не сомневалась в его ответе. В своих отношениях с Жюльеттой он ничем не хотел быть обязанным своему авторитету, и это было душевным кокетством этого великодушного человека. Он принадлежал к числу тех любовников, которые говорят своим возлюбленным: «Вы свободны». Но они не могут не страдать, и женщина, которой они позволяют таким образом идти туда, куда влечет ее фантазия, минута-

ми чувствует, что терзает им сердце. И кровь сочится из этого сердца без малейшей жалобы, и его немое страдание поднимается, как один из тех нежных упреков, которым чуткий человек предпочитает самые бурные оскорбления. Таким образом, Жюльетта заранее почувствовала, какое тяжелое впечатление произведет на ее друга это откровенное письмо. Сцена, последовавшая за обедом у госпожи Кандаль, вдруг с необычайной силой всплыла в ее памяти, а также и злоба Генриха против Раймонда. Будучи вполне уверенной, что любовь Пуаяна ослабела, логически Жюльетта могла бы не принимать во внимание его антипатии, казавшейся ей несправедливой. Но она еще слишком искренно была привязана к Пуаяну, чтобы холодно и умышленно решиться на такое суровое отношение к нему.

– Нет, – сказала она, – я не пошлю этого письма. К чему?

Она встала и, бросив бумагу в огонь, стала смотреть, как она горит, с тем чувством неловкости, которое хорошо знакомо всем переживавшим периоды угасания любви, когда все, что составляло прежде внутреннюю радость, превращается в тяжелое бремя. Не желая отказаться от доброй привычки раскрывать свое сердце в письме и чувствуя невозможность это сделать, обыкновенно исписывают бесконечное

количество листов и разрывают их один за другим, наконец пишут письмо вроде того, которое госпожа Тильер решила вложить в конверт и которое не содержало в себе ничего, кроме банальных и неловких фраз. В этом письме имени Казалья даже не упоминалось.

«Не знаю, почему я волнуюсь из-за таких пустяков», – сказала она себе на следующее утро, стараясь усыпить в себе угрызения совести. «Что ж тут дурного, если я принимаю друга Габриеллы Кандаля и Маргариты д'Арколь? Под каким предлогом я должна была ему ответить „нет“ на его просьбу бывать здесь? Габриелла права. Им руководило хорошее чувство. Он хотел бороться с впечатлением, произведенным на меня словами д'Авансона. Этим он как будто обязался вести себя безупречно и не ухаживать за мной... Время от времени такой визит может содействовать лишь тому, что он будет больше уважать в себе то, что в нем есть хорошего... Даже сам Генрих ничего не имел против этого, если бы лучше знал его и если бы я могла лично объяснить ему в чем дело...»

«Впрочем, – продолжала она, перечитывая письмо, полученное утром из Безансона, – в эту минуту он совершенно обо мне не думает».

Страницы, где Пуаян описывал свой приезд в родной город и свидание с несколькими значительными

выборщиками, были полны подробностей о предстоящей выборной борьбе. Казалось, что он умышленно избегал какого бы то ни было намека на чувство. Этот застенчивый любовник, боявшийся утомить избытком нежности свою возлюбленную, тоже, написав первое письмо, написал второе и третье и сжег их, как и она, пока, наконец, не решился послать последнего, полного внешних описаний и равнодушия. Жюльетта могла и должна была догадаться об этом; но мы никогда не допускаем мысли, что другие могут походить на нас болезненной щепетильностью сердца. Она вздохнула и просто сказала себе:

«Как он изменился! В его прежних письмах было столько нежности!»

Эти листы, покрытые крупным, прямым и благородным почерком графа, она вложила в кожаный портфель с замочком, на котором значился восемьдесят первый год. В своем культе к тому, кого справедливо считала одной из выдающихся личностей этой эпохи, она приняла благоговейную привычку никогда не затеривать ни одной записочки, написанной этой дорогой рукой; в начале каждого года она заказывала для этих сокровищ, которыми так дорожила, драгоценный футляр. Сердце ее болезненно сжалось, когда она вспомнила о прошлом, об их чувствах, которые ослабели и как бы угасли, и она задумалась еще

глубже, между тем как пальцы ее продолжали рас-  
ставляя в вазы цветы, присланные из Ниццы генера-  
лом Жард. Генерал путешествовал по берегам Ита-  
лии, собирая материалы для большой военной ра-  
боты, мечты всей его жизни. Полуоткрытые и как бы  
утомленные путешествием розы, бледные нарциссы,  
золотистые мимозы, красные и белые гвоздики и рус-  
ские фиалки благоухали, их аромат наполнял комна-  
ту. Бедные, еще живые, жаждавшие воды растения,  
возрождаясь на несколько дней, изливали свою ду-  
шу в этой ароматной агонии, – тоске и вздохе по ро-  
дине, стране солнца и волшебных садов Прованса.  
Еще со вчерашнего дня госпожа Тильер чувствовала  
себя глубоко взволнованной, а потому эта невидимая  
ласка благоухания пронизала ее странной истомой.  
Грусть охватила ее и вызвала на глазах слезы. Услы-  
шав звук отворявшейся двери гостиной, она с ужа-  
сом смахнула их своей тонкой рукой. При мысли, что  
Казаль, воспользовавшись ее разрешением, войдет к  
ней и увидит ее в этом состоянии необъяснимого вол-  
нения, она задрожала всем телом. Он начнет ее рас-  
спрашивать. Что она скажет ему? По счастью, когда  
дверь открылась, вошел не молодой человек, а д'А-  
вансон, причем бывший дипломат был так поглощен  
своей мыслью, отблеск которой светился в его серых  
глазах, что даже не заметил ни бледности маркизы,

ни влажных глаз, ни дрожания ее рук.

«Я уверена, что он начнет меня дразнить вчерашним вечером в опере», – сказала себе молодая женщина, приходя в себя от приятной неожиданности. И на этот раз она почти весело продолжала расставлять цветы по вазам, следя из-за угла за старым красавцем, готовившим ей какой-то сюрприз. Она так хорошо его знала!.. Она знала, что одной из маний этого человека было никогда не идти к цели прямо. Он считал себя обязанным благодаря своему прежнему ремеслу готовить слова, как готовил свое лицо, подкрашивая волосы один к одному и делая их как бы покрытыми черным лаком, а также подкрашивая свои усы, придавая им оттенок настоящей седины. Случалось, что в начале разговора он говорил какую-нибудь фразу, которая лишь полчаса спустя вызвала за собой другую. На этот раз он выжидал не так долго, и госпожа де Тильер не вполне ошиблась. Он, действительно, пришел говорить с ней о Казале. Он еще не знал, «то накануне молодой человек был в числе приглашенных графиней. Протягивая ему одну из широких анемон, которыми так славится юг Франции, Жюльетта сказала:

– Вы не восхищаетесь моими цветами? Наш друг де Жард имел прелестную мысль мне их прислать.

– А скоро ли он вернется? – спросил дипломат. – Не

думаете ли вы, что он доберется и до Монте-Карло, чтобы попытаться счастья нажать состояние? – продолжал он, не дожидаясь ответа.

– Очень может быть, – сказала Жюльетта.

– Это меня наводит на мысль, – продолжал д'Авансон, ухватившись за этот предлог к разговору с поспешностью, опровергавшей его претензию на тонкость, присущую его профессии, – что вчера на улице Ройяль я присутствовал при самой крупной игре, какой мне уже давно не приходилось видеть... Вы упрекали меня за мою суровость к Казалю в тот день, когда я его здесь встретил. Но знаете ли, сколько он при мне проиграл от половины двенадцатого до часа? Скажите-ка цифру... Вы не хотите... Хорошо! Три тысячи луи, слышите... Вероятно, он только что вышел из какого-нибудь бара, где он и его друзья имеют привычку отравлять себя алкоголем, так как его неразлучный лорд Герберт Боун в это время спал на одном из кресел клуба, а сам он имел довольно веселый вид... И эти молодые люди еще возмущаются, когда старшие время от времени читают им наставления!..

– Как, – прервала его госпожа Тильер, – разве Казаль так богат?

– Да, вступая в совершеннолетие, он должен был получить двести пятьдесят тысяч франков дохода, – сказал д'Авансон. – А вот много ли у него осталось



денег теперь, это другой вопрос. Он – такой тщеславный мот, так тратится на женщин, ведет такую крупную игру...

Рассказывая Жюльетте этот анекдот, приготовленный в доказательство того, что он не напрасно оклеветал молодого человека, бывший дипломат торжествовал. Он продолжал бранить игру, не подозревая, что рассказ его производил на слушательницу, расставлявшую в эту минуту по комнате маленькие вазы с цветами, совсем другое впечатление, чем он предполагал.

„Итак, – думала она, – простившись со мной в опере, он отправился пить, а потом играть“. В этом не было ничего особенного. Разве она не знала, что Казаль, как большинство молодых людей, его круга и наклонностей, проводил в клубе большую часть ночи? Почему же вдруг ей стало тяжело от этой мысли? Разве она вообразила, что несколько слов, которыми они обменялись в ложе театра, могли магически преобразить его привычки, не имевшие, впрочем, ничего общего с их разговором? Было ли ее тайным желанием, чтобы разговор этот произвел на него настолько сильное впечатление, чтобы он не захотел профанировать его в тот же вечер?.. Все время, пока д'Авансон сидел у нее, а также остальную часть дня и до поздней ночи включительно она не могла стряхнуть с себя мысль

о нем, ее преследовали образы беспорядочной жизни человека, которого она не знала. Эти навязчивые мысли, к несчастью, продолжали смущать покой Жюльетты и служили как бы продолжением той внутренней работы, которая началась в ней благодаря госпоже Кандаль. Она почувствовала, как усиливалось искушение сблизиться с ним под столь же благовидным, как и опасным предлогом хорошего на него влияния. Д'Авансон, думая повредить Раймонду в мнении Жюльетты, доставил лишь этим двум существам, и без того уже слишком занятым друг другом, почву для сближения и беседы. Самая сдержанная женщина может успешно читать кутиле нотации за его страсть к игре; между тем, как такие же нотации по поводу пьянства только унижают его, а по поводу ухаживаний компрометируют ту, кто их читает.

Таким образом, когда спустя двадцать четыре часа после визита неловкого дипломата и два дня после разговора в опере, Казаль, в свою очередь, появился в маленькой гостиной в стиле Людовика XVI, визит его ожидался с таким нетерпением, о котором он даже не смел мечтать. На этот раз госпожа де Тильер не страдала мигренью и не лежала на кушетке в одном из тех воздушных платьев, которые так кокетливы, что обладательница их может даже забыть о своей головной боли. Одетая в визитное платье, без шляпы, она по-

ходила на молодую девушку, с чистым и немного лукавым лицом, добрым и умным, исключительно прелестным в те минуты, когда она бывала спокойна и не боролась с собой. Мысль о том, что она хотела сказать молодому – человеку, поглощала ее всю, вызывая румянец на щеках, оживлявший ее тонкое лицо. Когда, после первых банальных фраз, она обратилась к Казалю со следующими словами, взгляд ее голубых глаз был полон такого выражения, которого он у нее не знал.

– Вы хотите, – промолвила она, – чтобы все сказанное про вас я считала напраслиной, а сами проводите целые ночи, играя в клубе... Не отрицайте. У меня есть свои агенты. В субботу, в час ночи вы проиграли более шестидесяти тысяч франков.

– Но в два часа я их отыграл и сверх того выиграл еще тридцать тысяч, – ответил он, смеясь.

– Это еще хуже, – возразила она, стараясь держаться программы, которая только и могла оправдать интимность этого разговора.

И, приняв вид озабоченного друга, она начала читать ему нотацию, которую он, выслушивал с притворным, лишь наполовину сердечным сокрушением, – он, подвижный, известный скандалами Казаль, которому двадцать раз в своей жизни случалось выдержать во всех клубах и игорных домах разницу в проиг-

рыше и выигрыше более чем в сто тысяч франков, он, наставник адептов распутной жизни, говоривших его словами и носивших в петлице его цветок!.. Конечно, эти молодые посетители Филиппа, наживавшие себе желудочные болезни, напиваясь коктейлями, бренди и содой для того, чтобы привлечь на себя его внимание, были бы крайне удивлены, увидев его сидевшим против прелестной молодой женщины и слушающим ее наставления. Единственная игральная кость, посредством которой они разыгрывали свои вечерние напитки, – „Герберт всегда видит ее двойной“, – говорил Казаль, – осталась бы неподвижной от удивления в своем стаканчике. На нравоучение Жюльетты Казаль, этот князь кутежей, отвечал фразами, аналогичными тем, которые так удачно защищали его за обедом на улице Тильзит. Он говорил о грусти своей неудавшейся жизни, о нравственной усталости, о потребности забыться, – одним словом, о том, о чем в добродетельных водевилях говорят кающиеся шалопайи.

Кстати, не мешает прибавить, что во время этого назидательного разговора он мысленно старался восстановить в памяти ночь с пятницы на субботу, пытаясь догадаться, кто оказал ему такую услугу у госпожи Тильер. Он вспомнил: выходя из оперы, он был так счастлив ответом Жюльетты, что почувствовал неж-

ность даже к де Кандалю и проводил этого увальня до улицы Тилтзит, после чего пошел в клуб. Кого же он там встретил, кто знал госпожу де Тильер? Ах, черт возьми, д'Авансон! Он стоял среди зрителей, окружавших ломберные столы. Старый красавец поспешил прийти к госпоже Тильер и выдать его. Поступок был из таких, которые менее всего прощаются мужчинами, и они правы. Закон мужского франкмасонства запрещает посвящать женщин в сцены, происходящие в стенах клуба. Мужья и любовники слишком заинтересованы в такой скрытности, чтобы не соблюдать тайну и не заставлять других делать то же. Но Раймонд охотно отдал бы бывшему дипломату половину суммы, которую он выиграл в тот вечер, в награду за то большое одолжение, которое он сделал ему. Не увидел ли он благодаря этому случаю новое доказательство симпатии маркизы, а также какую чудную программу действий давала ему эта женская проповедь! Достаточно было покорно выслушать ее, чтобы получить право сказать при прощании:

– Ах, если бы я мог говорить так ежедневно хоть один только час, я охотно дал бы слово не играть по крайней мере целый год.

– Дайте его все-таки, – с кокетливой грацией сказала госпожа де Тильер.

– Вы этого хотите? – возразил он таким серьезным

тоном, что молодая женщина сразу почувствовала, как неосторожно стала на путь фамильярности. Отступить было уже поздно, а потому она шутливо продолжала:

– О, целый год было бы слишком большим требованием! Если бы вы начали хотя с трех месяцев?

– Итак, я вам даю слово, – ответил он совершенно серьезно. – Апрель, май, июнь. С этого дня и до июля я не прикаснусь к картам.

– Посмотрим! – сказала она, продолжая смеяться. И не желая, чтобы это торжественное обещание имело вид первой тайны между ними, она прибавила: – Вот это доставит удовольствие кому-то, у кого я завтра завтракаю... Вы не догадываетесь? Госпоже де Кандаль. Я сейчас же сообщу ей о вашем обете.

Не успела она произнести эти слова, как поняла всю их опасность. Когда же молодой человек ушел, ей показалось, что она совершила большую неосторожность. Не примет ли он эту фразу за намек на свидание и что тогда о ней подумает? Ей пришла в мысль написать Габриелле и из предосторожности отложить завтрак на какой-либо другой день... Но это было невозможно. Завтрашний день был годовым празднованием того дня, когда они встретились с госпожой де Кандаль молоденькими девушками. Они установили милый обычай завтракать в этот день по очереди –

год у одной, год у другой, – и это также служило им предлогом для обмена подарками, что придает большую прелесть женской дружбе. Под этим предлогом они очень любят бегать по магазинам и подробно рассматривать все новости. Вертя в руках тысячи модных и роскошных безделушек, тонких и хрупких, как их пальцы, они переживают детский восторг. Сюрпризы, – которые они делают друг другу, доставляют им особенное наслаждение, несмотря даже на то, что это так же мало сюрпризы, как для десятилетних детей рождественские игрушки и праздничные подарки. На этом основании Жюльетта приготовила Габриелле самый прелестный зонтик с саксонской ручкой и ни за что не отказалась бы от удовольствия подарить подруге в назначенный день эту хорошенькую вещь. „А что если бы я попросила ее завтракать у меня?“ – подумала она. – Да, для того, чтобы Казаль вообразил, если ему вздумается тоже получить приглашение, что я его боюсь...»

Все эти мысли так взволновали ее, что она совершенно забыла о де Пуаяне, когда, наконец, пришел час писать ему отчет сегодняшнего дня. На этот раз она ни минуты не задумывалась над вопросом, писать ему о Казале или нет. Скрывая от своего возлюбленного эту тайну, она уже шла на компромисс или, лучше сказать, допускала двойственность сове-

сти. Несмотря на софизмы, которыми она старалась заглушить свой внутренний голос, в ней шевелились неясные угрызения, до того смутившие ее, что составление нового письма оказалось столь же трудным, как и первого.

«Боже мой, – сказала она себе, кончая его, – как поступают женщины, обманывающие своих мужей? Мне приходится лишь немного не договаривать, и мне уже так тяжело!.. Это не должно часто повторяться...»

Этим она старалась уверить себя, что ей вовсе не хотелось так скоро увидаться с Казалем. На самом же деле, приехав к завтраку к госпоже де Кандаль с драгоценным зонтиком, она почувствовала бы разочарование, если бы не встретила там Раймонда. Но она верно догадалась, какое действие должна была оказать неосторожно сказанная ею фраза.

Покинув улицу Matignon, первым делом молодого человека было дать кучеру адрес отеля де Кандаль. Он застал графиню в ту минуту, когда она рассматривала разложенные в открытых футлярах драгоценности, новейшие и лучшие произведения ювелирного искусства, которыми ювелиры Олд Бонд Стрит и улицы Мира непрестанно соперничают друг с другом.

– Как вы к стати! – весело воскликнула графиня, увидев Казалю. – Который из этих браслетов вам больше нравится?..



И она протянула ему два золотых обруча. Один из них был покрыт черной эмалью, на которой маленькими бриллиантовыми буквами было написано слово Remember, а другой застегивался крошечными часиками, – оригинальный парадокс элегантности, теперь уже опошленный.

– Вот этот, – сказал молодой человек, указывая на второй браслет. – У него два преимущества: во-первых, он не выставляет на показ претенциозного девиза, – а во-вторых, очень удобен при расставании... Да, безусловно, – настаивал он, смеясь своим веселым смехом, – женщина скучает со своим возлюбленным. Она не решается взглянуть на часы и узнать, может ли уйти, не нарушая приличия. Тогда она обнимает, охватывает руками шею возлюбленного, наклоняет в профиль свою хорошенькую головку и узнает время по часам на своей руке...

– Это на вас похоже, – сказала графиня. – Стоило бы повторить ваши дерзости той особе, для которой вы выбрали этот браслет; и я это сделаю, чтобы наказать вас, не позднее завтрашнего утра.

– Если это госпожа Тильер... – возразил Казаль.

– Вот видите, он сейчас же догадался! – прервала его графиня. – Итак, если это госпожа де Тильер?..

– Будьте справедливы, – продолжал Раймонд, – повторите ей, если хотите, мои дерзости, но при мне,

чтобы я мог защищаться.

– Свободны ли вы завтра утром? – спросила графиня. – Так приходите завтракать и старайтесь заслужить это баловство, так как приглашать вас в такой день это воистину баловство.

И она объяснила ему со всеми подробностями историю их дружбы. Казаль благоговейно выслушал ее, что не было с его стороны большой заслугой, так как, входя на другой день в маленькую гостиную улицы Тильзит, первым лицом, которое увидела Жюльетта, был молодой человек. Да, если бы он не попытался таким образом приблизиться к ней, она была бы немного разочарована, что, однако, не помешало ей непритворно нахмуриться и сделать недовольное лицо, как в тот день, когда Казаль пришел к ней с первым визитом. Двусмысленные положения всегда дают почву таким противоречиям. Она поочередно, последовательно и с одинаковой силой чувствовала себя затронутой как в своем интересе к Раймонду, так и в том, что считала должным по отношению к Пуаяну. Это должно было продолжаться до тех пор, пока она давала в своей душе место сложным чувствам, заставлявшим с самого начала этого периода ее сердце быть занятым обоими мужчинами сразу. Но если Казаль наивно принял всерьез немой упрек в нескромности, брошенный ему ее холодностью, то Габриел-

ла усмотрела в этом лишь маленькую комедию, имеющую целью обмануть смутные угрызения совести, шевелившиеся в ней. Беря под руку своего вчерашнего собеседника, чтобы пройти с ним в столовую, она сияла довольством. Кандаль вел Жюльетту. Светские женщины очень любят устраивать такие небольшие тайные и вместе с тем вполне невинные завтраки, в которых им все нравится: фантазия свободной интимности, уверенность, что ничто не будет их стеснять, и – решимся сказать прямо – немного животная радость поесть с хорошим аппетитом. Только завтраку и ужину, если они ужинают, их красивые белые зубы действительно делают честь. Утром они встают слишком поздно и еле погрызут тартинки с маслом и жарким, приготовленным к чаю. К обеду они приезжают в восемь часов, затянутые в корсет, как horse-guard в свою красную тунику, утомленные днем, с аппетитом, испорченным пятичасовым чаем с тартинками и пирожным, занятые двадцатью вопросами любви или тщеславия; за обедом, одно меню которого вызывает судороги в большом пальце подагрика, они съедают лишь такое количество пищи, которое нужно для поддержания их нервов до полуночи. К двенадцати часам, наоборот, они прогуляются и подышат в Булонском парке свежим воздухом, оденутся в свободный английский костюм из легкой материи. Завтрак с од-

ной или двумя подругами и одним или двумя друзьями – не больше – является маленьким импровизированным праздником, тем более, что тот, кого они хотят иметь у себя, безусловно праздней и не занят ничем другим, кроме старания им нравиться. Ни один занятой человек в Париже не завтракает, и те, на которых они смотрят с большим вождением, чем на крылышко холодной куропатки, пользуется у них лестным титулом друзей. Нередко приходится удивляться, что выбор их не только в страсти, но и просто в симпатиях падает на людей, обладающих вместо ума способностью к пустому балагурству и не имеющих никаких видимых заслуг, кроме хороших манер и хорошего портного. В девяти случаях из десяти эти никому не понятные фавориты обладают лучшим из всех качеств: быть всегда налицо. В основе ненависти, которую госпожа де Кандаль питала к Пуаяну, лежало недовольство им за то, что, занимая такое большое место в симпатии Жюльетты, он держал себя вне всех этих мелких отношений. Двойное желание не компрометировать госпожу Тильер и успешно работать действительно заставило графа почти совсем уйти из света, и Габриелла, глядя на свою подругу и Казаля, сидевших за столом друг против друга, не могла не обратиться к самой себе с небольшим монологом, свидетельствующим о той способности раздвоения, которую

современные писатели воображают, что открыли. Как будто в течение многих веков все женщины не были одарены от природы умением жить и одновременно наблюдать жизнь.

«Моя маленькая Жюльетта упорно не оставляет своего строгого вида. Ей очень хочется заставить нас думать, что она сердится. В таком случае, сударыня, когда вы разговариваете со мной, ваши глаза не были бы такими рассеянными, а это доказывает, что вы только и слушаете Казалю, разговаривающего с Людовиком... А что, если она действительно полюбит его и если этот брак состоится?.. Если она выйдет замуж за этого дикаря Пуаяна, то я ее потеряю, между тем, как с Раймондом, у которого вкусы те же, что у Людовика, то есть наши вкусы, мы могли бы вести такую интересную жизнь... Мне кажется, что он уже совсем готов... А! Она становится веселее. То, что он сказал, очень тонко. А как он понемногу начинает на нее смотреть! Идет! Он говорит с ней, она отвечает ему. Она приручается...»

Эти короткие рассуждения сопровождали один из тех разговоров, которые по обычному правилу, касаясь мелких интересов, занимающих Париж, переходят со скачек d'Auteuil на политику или с последнего процесса на кулинарные подробности, с театра на намек касательно последнего скандала. Случайно Кан-

даль сказал Раймонду:

– Я вчера восхищался тобой. Мне впервые пришлось видеть, как ты отказался играть с Машольтом, который всегда выигрывает...

– Я стараюсь, – ответил тот, пожимая плечами, – я поссорился с пиковой дамой.

– Вот это по крайней мере разумный каприз, – заметила Габриелла, – но с каких пор он появился и как долго продлится?

– Клянусь вам, что это не каприз, – возразил молодой человек с той искренней простотой, с которой накануне давал обещание не играть.

Фраза эта, понятная лишь Жюльетте, заставила вздрогнуть в ней самые глубокие струны ее души. Более сильного волнения она не могла бы испытать, даже если бы Казаль прямо сказал ей, что ее любит. Она на минуту отвела глаза в сторону, чтобы он не мог прочесть в них чувства, смутно волновавшие ее, чувства, среди которых самым сильным была непреодолимая радость. Принимая эти слова так, как они были сказаны, она должна была бы уйти в себя, замкнуться. Но с этой минуты, наоборот, носить маску самозащиты стало для нее невозможным. Доказав ей, как быстро и благотворно подействовал на него первый ее совет, не оправдал ли Раймонд в ее собственных глазах ту легкость, с которой она допустила его к себе? Кроме

того, он продолжал бесконечно нравиться ей благодаря тому личному магнетизму, который разрушает всякий анализ и оправдывает мнение ученых, считающих любовь простым физическим явлением.

Без сомнения, Людовик Кандаль давно уже покинул курительную комнату, куда все перешли после завтрака, а молодая женщина все еще оставалась там, испытывая обаяние Раймонда. Она так всецело отдалась его очарованию, что, взглянув на часы браслета, надетого на нее графиней, и увидав движение стрелки, испугалась.

– Три часа! – воскликнула она с искренним удивлением. – А карете я приказала быть к двум!.. Я бегу...

– Не подождешь ли ты меня? – спросила Габриелла. – Я выйду с тобой.

– Ах, ответила Жюльетта, надевая шляпку перед зеркалом, – мне бы очень хотелось, но я должна захватить за своей двоюродной сестрой.

Спускаясь с лестницы, она сама удивилась этой новой, внезапно выдуманной лжи. Зачем? Если не потому, что в эту минуту она не могла бы без боли перенести шуток Габриеллы. Тайные упреки совести уже слишком сильно клокотали в ее сердце. Когда она уезжала с улицы Matignon, лакей по привычке положил в карету полученную в двенадцать часов почту, состоявшую из трех писем; одно из них было от Пуая-

на. Прежде чем распечатать его, госпожа де Тильер долго рассматривала надпись на конверте. Ей вдруг стало ясно, что она очень плохо ведет себя по отношению к этому отсутствующему другу. Под влиянием внезапных угрызений совести она видела его в Безансоне в его полном уединении и представила себе в ту минуту, когда по окончании лихорадочной политической борьбы он сидит за столом и пишет ей, желая освежить свою душу в дорогом воспоминании о ней. Все, что послужило причиной ее нежного поклонения и привязанности к благородному оратору, сразу проснулось в ее душе. Разрывая конверт, ее руки дрожали. Может быть, если бы на этот раз она встретила в этих страницах хоть одно слово горячего сердечного участия, она нашла бы в себе в этот краткий миг внутренней борьбы силу сразу вернуться к нему.

Самыми решительными минутами в жизни наших чувств являются те, в которые нас охватывает сильное слишком волнение, чтобы можно было ошибиться относительно его происхождения, хотя оно и не может уничтожить в нас все наши сомнения. Но письмо было опять веселое, доброе, почти беспечное и должно было, как думал граф, понравиться его возлюбленной. В нем не звучало ни единого слова, способного затронуть слабые струны больной души Жюльетты. О, недоразумения отчужденности! О, жестокий и непо-



правимый разлад, который приносят и усиливают эти листки, на которых мы не умеем и не смеем излить всю кровь нашей любви и все ее слезы! Писать любимой женщине после нескольких дней разлуки значит говорить с нею, не видя ее глаз; значит бросать слова, действие коих на это обожаемое существо, – увы, – ускользает от нас и в некоторых случаях заставляет навсегда терять его; это значит не чувствовать ее переживаний. И она читает наше письмо, повторяя то, что сейчас сказала Жюльетта: «Как он изменился!» Но это была неправда. А все же она поверила этому в тот опасный момент, когда ей предстояло быть окруженной самым искусным и умелым соблазном.

Чтобы не быть несправедливым к этой прелестной и обыкновенно столь осторожной женщине, надо сказать, что действительно в течение нескольких недель, разделявших первые встречи Жюльетты с Раймондом и возвращение Пуаяна, Казаль вел себя с непогрешимым тактом. Если даже с самой положительной точностью он знал о настоящем одиночестве госпожи де Тильер, то не мог бы показать ей большей деликатности и чуткости. И такт, и чуткость не были у него следствием расчета. Нет, он просто отдавался искренности своих чувств. В этом для Жюльетты была настоящая опасность: побуждаемый своими истинными чувствами, он, естественно, должен был действо-

вать с ней, как действовал бы, руководствуясь самой хитрой дипломатией. Несмотря на порочную жизнь, он сохранил свою природную утонченность и способность артистически чувствовать, что давало ему возможность идти с упоением навстречу совершенно новым для него отношениям, не проявляя никаких резкостей самолюбия, которые придают порывам такую грубую форму и возбуждают недоверие женщин. Как он уже сказал себе в тот вечер, в опере, на грубом, но выразительном языке, который скоро перестал употреблять, говоря с собой о Жюльетте, – «он попался».

Таким образом, когда много ухаживавший профессиональный кутила действительно влюбляется в порядочную женщину или в женщину, которую он считает таковой, он внезапно молодеет, и опьянение этим возвратом молодости перерождает его в особенно интересного для нее нового человека; а это ей льстит.

Возможно, что никакое другое явление не доказывает нам нагляднее то, как любовь, согласно прекрасному выражению древнего философа, создает в нас поверх обычного животного еще другое, новое животное.

Таким образом, любить значит буквально перерождаться, хотя бы на время, значит вести себя противоположно всему своему прошлому, характеру, взглядам и, наконец, всему своему существу.

Такое обновление, основанное, как все прочные и мимолетные обращения, на общем законе ума, начинается с мозга. У всех нас развито воображение, соответствующее нашим нравам.

Для развращенного человека ухаживать за женщиной значит видеть с точной ясностью гравюр легкомысленной книги, как она отдается ему и какое дает ему наслаждение.

В первый же вечер Казаль окинул госпожу Тильер этим взглядом знатока порока, мысленно раздев ее и оглядев, как доступную всем женщину, с ног до головы. Со второго свидания он почувствовал невозможность так оскорблять ее в своих мыслях, и невозможность эта росла по мере того, как учащались их встречи. Вскоре он нашел способ беспрестанно встречаться с нею то у госпожи де Кандаль, то в театре, то на улице Matignon. Оставаясь вдвоем в маленькой гостиной, он должен был испытывать смешанное чувство страстного желания и полного уважения, которое сразу внушила ему Жюльетта. С третьего же визита и во время всех последующих в любезном и вместе с тем сдержанном приветствии, с которым она встречала его, в ее жесте, которым она, пригласив его сесть, брала свою работу, в звуке голоса, которым произносила первые фразы, чувствовалось желание уничтожить возникшую со времени последнего разговора

фамильярность, и половина этой новой беседы проходила в старании найти ускользнувшую почву. Потом, когда Жюльетта успокаивалась и немного забывалась, глаза ее оставались по-прежнему непроницаемыми и строгими, а целомудрие позы не допускало даже самой легкой нескромности в разговоре. Особенно же она производила впечатление тонко чувствительного к каждому малейшему оскорблению существа, что для женщины служит лучшей защитой, когда за ней ухаживает искренно влюбленный человек.

Это был цветок с такими нежными лепестками, что пальцы, которые хотели бы сорвать его, не решаются его коснуться; Казаль, покорившись этому влиянию, вскоре привык уходить от нее, насладившись лишь внутренним волнением, охватывавшим его в ее присутствии, и, только выйдя на тротуар пустынной улицы Матиньон, начинал рассуждать про себя:

«А я, – говорил он себе, – так всегда смеялся, когда видел товарища, который „пал“ из-за женщины! Признаться сказать эта не похожа на других женщин. Впрочем, все они именно это и говорят, – прибавлял он, владея своим остроумием, несмотря на все свое волнение. – Нет, на этот раз я не ошибаюсь, я ведь кое-что понимаю, она – единственная в своем роде...» – заключал он после минутного сомнения.

После этого он углублялся в занятие, обычное всем влюбленным с самого начала мира и состоящее в подробном уяснении себе всех доводов, заставляющих их предпочитать свою возлюбленную всем остальным женщинам. Казалось бы, что для такого пресыщенного удовольствием человека это занятие должно было быть скучным и неинтересным. Но что сразу внесло особую пикантность в однообразие этого внутреннего романа, так это то, что он происходил при самых неблагоприятных условиях для такого рода чувств.

Продолжая видаться со своими друзьями и не оставляя занятий спортсмена и любителя клуба, он сейчас же почувствовал двойственность, которая у людей цивилизованных так соответствует разнообразности их природы и придает всякой скрываемой, хотя бы и вполне невинной, связи поэзию таинственности.

Впрочем, случайно взятая часть дня, как пример жизни молодого человека в течение этих нескольких недель, лучше всякого анализа покажет сложность его страсти, для роста и развития которой, несмотря на неблагоприятную для нее обстановку, понадобилось лишь такое короткое время.

...С тех пор как Казаль скромно попросил в Опере разрешения посетить Жюльетту, прошел целый месяц.

Десять часов утра. Молодой человек одевается в своей уборной на улице Лиссабон. На маленьком столике, против знаменитой башмачной библиотеки, стоит открытый футляр с жемчужным ожерельем, предназначенным для Кристины Анру, как прощальный подарок. Эта бедная актриса стала для него настолько невыносимой, что он решил окончательно с ней порвать, – он, говоривший всегда: «Я никогда не порывал ни с одной женщиной. Я всех их оставляю за собой». На качалке сидит Герберт Боун, пришедший для того, чтобы поехать с ним кататься верхом.

Несмотря на излишества, англичанин не утратил своего атлетического сложения; лицо у него изнуренное, а плечи напоминают боксера. Он постукивает по ковру кончиком тросточки и в виде исключения разговаривает, что никогда не случается с ним раньше двенадцати часов. Он рассказывает телеграммным слогом о вчерашнем вечере:

– Прекрасный обед вчера у Машольта... Садясь за стол, я не отдал бы своей жажды и за двадцать ливров...

Белое «Шато Марго» заслуживает полного одобрения; потом великолепно «69 de Latour»; шампанское слишком сладкое; потом высшее красное порто... Потом к Филиппу.

Ждал тебя... Вот беда: не смог окончательно дока-

нать меня к ночи даже его виски...

Пока этот ужасный пьяница, прославившийся следующей фразой, сказанной им в Индии, когда он упал на улице, во время землетрясения, «я не думал, что я так полон...», оплакивает в таких выражениях свое странное ночное разочарование, Раймонд, сидя за туалетом, улыбается своим мыслям. Он видит себя в этот самый час, когда Герберт ждал его у Филиппа, в гостиной улицы Тильзит разговаривающим с Габриеллой и Жюльеттой. О чем? Он помнил лишь туалет госпожи Тильер, ее черное кружевное платье на розовом муаре, то самое, в котором она была в первый вечер. Между тем Герберт настаивает:

– Вот уже шесть дней, что тебя нет!.. Какая-нибудь новая буржуазка? А...

– Поверь, что нет, – сказал Казаль. – Я ложился в одиннадцать часов, так как чувствовал себя утомленным.

– Это хорошо на тебя подействовало, – продолжал тот, – прекрасный цвет лица, свежий взгляд, все хорошо. Ты готов?

Дело в том, что уже в течение многих лет Казаль не был так хорош, как теперь, и никогда еще ощущение физической жизни не было в нем так сильно. Гулявшие в это утро по аллеям Буа элегантные дамы, увидев его, когда он проезжал верхом, говорили друг

другу:

– Он удивителен, этот Казаль, ему всегда на вид двадцать пять лет!

Когда романическая любовь заставляет молодеть профессиональных кутил, вторая и самая могучая причина, хотя и вполне противоположная этому самому романтизму, кроется в том, что они внезапно отказываются от всех излишеств. Тогда в их физиологии происходит нечто вроде ненормального оздоровления. Истошающие утомления ежедневных кутежей сменяются экономией сил, обновляющих всю мужскую энергию, и – такова ирония природы – тот, у кого происходит это обновление, ощущает его под видом чувственной радости.

Никогда еще езда, не на спокойном Боскаре, а на Темерере – от Ромео и Фишу Рос, – самой горячей из его лошадей, не доставляла ему такого удовольствия, и когда оба друга вернулись на улицу Лиссабон, у Казалья был прекрасный аппетит, между тем как пьяница еле прикасался к чудным кушаньям, приготовленным артистом-поваром, унаследованным Раймондом от отца. Но в веселости молодого человека есть также и другая более благородная причина, чем грубое давление силы и здоровья. Накануне в разговоре с госпожой Тильер он уловил намек на предполагаемую поездку в магазин улицы Мира и дал себе слово под-



стерегать карету, которую уже так хорошо знал. У всякого переступившего за тридцать пять лет человека самым верным признаком страсти является радость, которую доставляют ему школьнические проделки, а особенно если он ярый и убежденный позитивист, что проявляется в больших кутежах, так же как в делах и политике. И вот Раймонд, как жаждущий элегантности провинциал, прогуливается между Вандомской площадью и авеню де ля Опера, проникая взглядом поочередно во все магазины. Его сердце бьется сильнее, сквозь витрину он узнает Жюльетту. И он входит, чтобы поздороваться с ней; лицо его сконфужено, как у пойманного в обмане ученика. Но так как она не рассердилась, он проводил ее до кареты, и это наполнило его детским счастьем, которое не оставит его во весь день. Позднее, когда он будет фехтовать в клубе на Вандомской площади, пусть любят его игрой артисты фехтования, пусть критикуют его гигиенисты за то, что он злоупотребляет упражнениями, пусть другие постоянные посетители, лежа в своих костюмах на красных диванах, продолжают свои обычные споры о французской методе и итальянской; он же будет мечтать только о белокурой головке, наклоненной при прощании с ним у окна кареты, и вечером у госпожи д'Арколь он опять будет мечтать о ней и останется дольше в надежде увидеть появление этой самой

белокурой головки с ее глазами, такими нежными, что они сводят его с ума, и вместе с тем полными сдержанности и пронизательности, удерживающей его на краю признания. Но Жюльетта не появляется, а вместо того чтобы идти утешаться к Филиппу или в клуб, Раймонд, рассуждая сам с собой, возвращается один на улицу lissbone.

«Я все-таки слишком наивен... Из двух одно: или она кокетка, или же у нее есть ко мне какое-нибудь чувство. В обоих случаях следовало бы действовать. Каждый вечер я говорю себе это, а на другой день поддаюсь очарованию ее прелестного взгляда. Я себя больше не узнаю. Но что же?.. Никогда еще я не встречал кого-нибудь похожего на нее... Нечего говорить, когда она тут, я становлюсь таким ничтожным, ничтожным. А она?.. Если бы я ей не нравился, то разве стала бы она принимать меня, как она это делает три или четыре раза в неделю?.. Она знала, что сегодня вечером я должен был быть у герцогини, при мне ее приглашали. Почему она не приехала?.. Сегодня в ее глазах было что-то грустное, как будто какое-то страдание. Однако же я узнавал о ее жизни. В ней нет ничего, положительно ничего, ни тени какой-нибудь истории... Что же заставляет ее непрестанно отступать, как будто она борется с какой-то мыслью?.. Какой мыслью? Да, ведь это очень просто. Она любит

меня, но не хочет любить. И так отложим до завтра...»

...Да. Какой мыслью? Молодой человек засыпает с этим вопросом, на который его глубокое знание женщин позволяет ему дать себе чудный ответ, убаюкивающий его беспокойство. Он прав, объясняя таким образом непостоянство, подмечаемое им в манере Жюльетты держать себя. Но, полагая, что эти постоянные перемены в ее сердце, заставляющие ее то поддаваться ему, то вновь уходить в себя, происходят от религиозных убеждений, от желания сохранить свое светское положение, от страха перед его характером и верности памяти трагически погибшего мужа, он ошибался. Эта мысль, которая не останавливаясь росла в сердце, уже сдвинутом незаметным наклоном с намеченного волей пути, была мыслью о приближавшемся с каждым часом и каждой минутой возвращении Пуаяна... Еще пятнадцать дней или десять, еще пять, и он будет здесь, и ей придется объяснить ему, каким образом она допустила такую близость с этим новопришельцем, – и каким еще! – ни разу не упомянув в письмах его имени, пока, наконец, после стольких сомнений, откладываний, невинных и вместе с тем преступных слабостей осталось всего лишь два дня, потом один, потом несколько часов...

... Ах, как было тяжело переживать эти последние часы, когда пугавшее ожидание так мучительно сли-

валось с угрызениями совести за то, что она допустила, сама не отдавая себе отчета в том, как это произошло. Если бы она говорила обо всем раньше, то это не имело бы ни для него, ни даже для нее, такого значения... Завтра Генрих войдет в эту маленькую гостиную, где еще сегодня был Казаль. Что она скажет ему? Почему она с первого же вечера предвидела это затруднение и почему, предвидя его, допустила такой острый конфликт... Если она скажет отсутствовавшему правду, то в каких выражениях опишет ему пережитые ею оттенки чувств, заставившие ее совершить ряд поступков, которые, как она знала заранее, не могли нравиться Пуаяну, и совершить их, не сообщая ему ничего? Да знает ли еще она сама эти оттенки? Смеет ли она со своей обычной искренностью заглянуть в свою душу? Нет. Она слишком боится открыть в ней нечто такое, что, — как она знает, — скрывается в ней. Если же она будет продолжать молчать, то может ли она надеяться, что любовник ее не узнает, что она принимает Казалья, — если не так часто, как д'Авансона, Миро и некоторых других, то по крайней мере почти регулярно? «Ее любовник...» Она повторяет себе эти два слова, как будто желая вновь усвоить утерянное с некоторых пор сознание того положения, в котором заключалась опасная тайна и вечное обязательство ее жизни. И она пытается вновь

овладеть собой, понять по крайней мере, под каким влиянием она с каждым днем все больше и больше втягивалась в водоворот, приведший ее к настоящему положению. Тщетно доказывала она себе, что в течение этих нескольких недель, промелькнувших, как ей казалось теперь, со сверхъестественной быстротой, Раймонд не произнес ни одного слова, которого не мог бы слышать де Пуаян; тщетно устанавливала факты, указывавшие на то, что отношения ее с молодым человеком сводились лишь к невинным визитам и официальным встречам в театре или у госпожи де Кандаль; тщетно твердила себе, что она ни на одну минуту не нарушила своих прав независимой женщины; тщетно внушала себе мысль, что, принимая молодого человека с такой плохой репутацией, она хотела лишь оказать ему благодеяние, – все эти парадоксы совести, казавшиеся ей такими правдоподобными, рушились перед необходимостью совершенно простого объяснения.

Почему же ожидание было так мучительно для бедной женщины, что весь день, предшествовавший возвращению того, кому она навсегда отдалась, она провела в постели в самых жестоких нравственных муках?.. Сквозь занавеси этой запертой комнаты еле проскальзывает луч света. Она лежит и смотрит открытыми глазами... Виски стучат от ужасной мигре-

ни... На что она смотрит? И какая буря клокочет в ее взволнованном сознании? Среди глубокой тишины стук в дверь заставил ее вздрогнуть. Вошла Габриелла, которая, узнав от госпожи де Нансэ о возвращении Генриха де Пуаяна и о мигрени свой подруги, захотела видеть последнюю. Графиня села возле кровати. Она берет горячие руки Жюльетты и говорит ей с тем инстинктивным любопытством, которое всегда примешивается к жалости даже у лучших друзей:

– Итак, завтра возвращается Пуаян?

– Да, – отвечает госпожа Тильер упавшим голосом.

– Но, – возразила Кандаль, подвигаясь к ней еще ближе, – не будет ли он немного ревновать нашего друга?..

– Ах, замолчи, – сказала Жюльетта, сжимая крепче державшую ее руку, – не заставляй меня об этом думать.

– Ну, ну, – настаивала графиня, – тебе вредно так волноваться из-за каких-то детских сомнений. Ты совершенно свободна принимать того, кто, может быть, тебе нравится... Могу ли я хоть раз поговорить с тобой как с сестрой? Раймонд тебе очень нравится, и хочешь ли, я скажу тебе еще кое-что, что ты сама хорошо знаешь?..

– Нет, молчи, – повторила Тильер, выпрямляясь и растерянно глядя на нее. – Я не хочу тебя слушать.

– Но, – продолжает Габриелла, которая, видя ее необъяснимое смущение, решается нанести самый сильный удар, – почему же тебе не выйти за него замуж?

– Выйти за него замуж? – вскричала Жюльетта с отчаянием. – Да это невозможно, слышишь ли, невозможно.

– А почему?

– Потому что я несвободна! – сказала несчастная, в изнеможении падая на подушки и рыдая; ее переполненное невысказанными муками сердце изливается в признании, которое госпожа Кандаль выслушивает, также заливаясь слезами.

Преданная святая не думает так, как думали бы на ее месте девяносто девять женщин из ста, узнав, что у их лучшей подруги есть любовник и что она так ловко сумела это скрыть; она не сказала себе: «Как я была глупа». Она не сердится на Жюльетту за то, что та целые годы скрывала от нее, какую роль играет Пуаян в ее жизни. Маленькая графиня умеет слишком сильно чувствовать для того, чтобы снизойти до такой мелочности. Она только что с ужасом поняла, какую ужасную сыграла роль, бросив Казаля в жизнь Жюльетты. Она чувствует себя убитой своим поступком и теперь уже ни минуты не колеблется. Она ясно видит то, что Жюльетта не смеет прочесть в своем собствен-

ном сердце, а именно зарождение страстной любви к Раймонду, и все это в ту минуту, когда она узнала о связи ее с Генрихом.

– Ах, бедная, бедная! – стонет она, покрывая подружку поцелуями. – Что же ты теперь будешь делать? – тоскливо спрашивает она.

– Ах, – отвечает Тильер с отчаянием, – разве я знаю?



# Глава VII

## Пережитки угасшей страсти

Некоторые черты нашего характера так глубоко своеобразны и так индивидуальны, что чародейка страсть, которая вносит столько перемен в человеческое существо, их не касается. В течение этих нескольких недель возрастающей близости к Раймонду госпожи Тильер, увлеченная и поставленная как бы против своей воли на опасный путь новой любви, оставалась во всем, что не касалось этого усиливавшегося чувства, той же осторожной и сдержанной женщиной, которую недоброжелатели обвиняли в умении действовать исподтишка, а поклонники обожали за деликатную сдержанность. Изю дня в день она устраивала так, что в эти полтора месяца ни мать, ни ее близкие знакомые не встречались часто с Казалем. Все-таки одного из ее друзей обмануть было труднее, чем других, а именно д'Авансона, который с первого же визита молодого человека почувствовал к этому неожиданному гостю безотчетное недоверие. Его выходка в тот раз, а потом донос на игру в клубе были приняты с видом, слишком противоречащим обычному смирению Жюльетты, чтобы не

удивить его. Он стал присматриваться и с горечью убедился, что благодаря посредничеству госпожи де Кандаль между Казалем и Жюльеттой завязывалась дружба. Достаточно было ему неожиданно прийти на улицу Матиньон и застать там Раймонда, поехать в Оперу или Французский театр и видеть, как этот самый Раймонд говорил с госпожой Тильер, чтобы подозрение, что нечто уже начинается между ними, возросло в нем до ревности, настолько же страстной, насколько по справедливости ничем не оправдываемой. Раздражаясь этой ревностью, молодая женщина только усиливала ее. Однажды, когда он возобновил свою колкую критику против современной молодежи, она настолько ясно показала ему свое раздражение, что оно отняло у него желание возвращаться к этому разговору. Старый красавец питал к госпоже де Тильер слишком небескорыстное и тщеславное чувство, чтобы пожертвовать им из-за оскорбленного самолюбия. Во-первых, он искренне ее любил, так как под внешностью разочарованного дипломата и нетактичностью почетного прислужника скрывалось нежное и искреннее сердце; во-вторых, он пользовался этим ловким другом для того, чтобы иметь хоть немного спокойствия в своей семейной жизни, так как жена его, будучи много лет прикованной к постели нервной болезнью, была для него крайне свар-

ливой подругой; наконец, он гордился тем, что являлся возле этого тонкого создания представителем светской жизни, как Пуаян был представителем жизни политической, Миро – искусств, Аккрань – благотворительности, а генерал Жард – воспоминаний о Тильере. Если он прилежно посещал пятичасовой вист то в «Империале», то в Малом клубе, если не пропускал ни единого слога из тех сплетен, которые разносились по гостиным и за кулисами Оперы, то делал он это только для того, чтобы получить возможность с важным и таинственным видом явиться к своему другу и принести кроткой отшельнице эхо веселящегося Парижа. Он, конечно, нахмурил бы брови, узнав о вторжении в Святое Святых маленькой гостиной в стиле Людовика XVI совершенно неизвестного новопришельца... Но ничего не могло быть для него неприятнее, как видеть там одного из героев светской жизни; сверх того, уже несколько лет он чувствовал к Казалю большую антипатию, которую «модные львы» одного поколения питают к «модным львам» следующего. В этом мир светский и спортсменский не отличаются ни от мира искусств, ни от литературного или адвокатского, военного или судебного. Следует ли прибавить, что в данном случае еще одно обстоятельство усиливало этот антагонизм? В первый визит Казалья д'Авансон слишком показал себя господи-

ном и властелином маленького рая улицы Матиньон. Быть может, он был бы не очень огорчен, если бы Казаль подумал, что у него более широкие права на Тильер, чем те, которые он выказывал. Такое хвастовство играет значительную роль в соперничестве между друзьями женщины, у которых соперничество не оправдывается страстью. Ведь заранее обдуманная поза так сильно действует на темный и изменчивый мир нашей тщеславной чувствительности! Результатом столкновения д'Авансона с Казалем было то, что ко дню возвращения Пуаяна дипломат успел дать уже три сражения против Казалья, но уже не у госпожи Тильер, а среди близких друзей молодой женщины. Он начал с матери, которую всегда посещал аккуратно; забыв великий принцип своего кумира Талейрана, что все преувеличенное не имеет значения, он нарисовал ей такой мрачный портрет бывшего друга госпожи де Корсьё, что благодаря своему чрезмерному усердию не достиг цели.

– Будьте спокойны, – ответила ему госпожа Нансэ, – если он таков, как вы говорите, то он не будет часто бывать у Жюльетты.

И она со снисходительной иронией сообщила дочери о тревогах их общего друга. Тильер рассмеялась. Шутка по поводу странной ревности и безупречное поведение Казалья при двух или трех встречах усыпили

старушку в ее безграничном доверии к своей дочери, тем более что последняя не без упрека себе прибавила, говоря о Раймонде:

– Это один из близких друзей госпожи Кандаль.

Д'Авансон, потерпев неудачу с этой стороны, в чем убедился из нового разговора с госпожею Нансэ, прибежал к тем двум из пяти завсегдатаев салона госпожи Тильер, которые были в Париже, а именно к Миро и Аккраню. Он знал, насколько Жюльетта была привязана и к тому, и к другому. Если бы оба пришли сообщить ей, что общественное мнение уже занимается ухаживанием за ней такого скандального кутилы, как Казань, то без сомнения она заставила бы молодого человека бывать у себя реже. Но вмешивать таким образом друзей, которые могли бы не знать, что Казаль бывает у Жюльетты, из-за удовлетворения своей личной мелочной мести, было крайне неделикатно. Несчастный же дипломат уже не сознавал, что в этом случае он действовал лишь из эгоистических побуждений. Встретив более холодный прием, чем обыкновенно на улице Матиньон, после своей попытки восстановить мать Жюльетты против Казаля, он начинал жестоко страдать от своего нового положения; и если не дошел еще до подозрения, что Жюльетта влюбилась в Казаля, то не слишком ошибался, смутно чувствуя опасность в той близости, которая сперва

его только неприятно поразила. Придя однажды в мастерскую Миро с целью предостеречь его, он был искренно убежден, что этим самым служит интересам своего лучшего друга.

Артист жил на улице Вьете, в отеле, смежном с тем, который занимал когда-то его товарищ, ныне, – увы, – умерший итальянский художник Нитис, у которого все эти годы собирались изысканные любители искусства и утонченные писатели. Под влиянием этого влюбленного в современность неаполитанца Миро изменил свою манеру писать: он изобрел новый жанр портретов пастелью, помещая их в рамки обычной обстановки. В это время он особенно славился своей великолепной картиной – цветы. Подобно многим художникам, имеющим почти женскую кисть, этот мастер изящества обладал атлетической наружностью с широкими плечами и профилем Франциска I. Этот странный контраст между внешностью человека и характером его творчества наблюдался не раз, ему нельзя найти объяснения ни у Делакруа, этого тщедушно-го исполнителя могучих произведений, ни раньше у Пюже, ни, вероятно, у самого Микеланджело. У Миро и весь остальной нравственный облик находился в таком же несоответствии с внешностью. В характере этого Геркулеса крылись девичья мягкость, детская застенчивость, наивная потребность в покровитель-

стве и баловстве, пугающие вас также, как пугает ласка огромного пса, сильного, как лев, и вместе с тем более смиренного, чем маленькие собачонки. Именно благодаря частому повторению таких аномалий создавался образ доброго гиганта, фигурирующий в стольких легендах, и самым популярным воплощением которого был Портос жизнерадостного и гениального Дюма. Когда д'Авансон вошел в мастерскую, художник стоял перед своим мольбертом и писал букет белой, шафранной и красной гвоздики. По обыкновению он был роскошно одет в черный бархат и прищуривал свои черные глаза, чтобы лучше видеть. Тонкость кисти, достигаемая этой могучей рукой, способной разломать пятифранковую монету, была прямо волшебной. Он прекрасно принял дипломата, продолжая вместе с тем и рисовать и разговаривать, с тем умением заниматься двумя вещами за раз, которое служит доказательством того, что в таланте художника есть чисто механическая, почти ремесленная сторона. Это также одна из причин, почему они всегда остаются в жизни веселыми, между тем как писатель, все больше и больше принужденный вести сидячий образ жизни и постоянно погружаться в свою работу, становится все грустнее. Д'Авансон был слишком светский человек, в плохом смысле этого слова, чтобы не почувствовать легкого презрения к такой натуре, а потому ред-

ко посещал улицу Вьете. Он даже рассчитывал, что редкость его посещений придаст большое значение его открытию, что между Казалем и Жюльеттой завязалась дружба. Такой расчет доказывал, что д'Авансон не принимал в соображение той особенной проницательности, которой обладает большинство артистов, когда не задето их тщеславие, как художников. Рисуя разбросанные лепестки прелестных цветов с обычной добросовестностью, Миро также задавался вопросом, что привело к нему дипломата. По звуку голоса, которым этот последний начал свои расспросы, он сразу догадался, в чем дело.

– Способны ли вы оказать действительную услугу госпоже Тильер? – И д'Авансон начал уже выслушанный госпожой де Нансэ рассказ, придав ему соответствующий обстоятельствам оттенок.

По мере того как он говорил, ясные глаза художника омрачались беспокойством. Одна мысль позволить себе сделать Жюльетте какое-нибудь замечание заставляла так сильно дрожать руки бедного малого, что он положил палитру и кисти, и просто и логически ответил ему:

– А почему же сами вы не скажете ей всего этого?

– Да потому, что я в плохих отношениях с Казалем, – отвечал д'Авансон. – Исходя от меня, совет этот не имел бы никакого значения.



– Но, – возразил художник, – я, наоборот, с ним очень хорош, и клянусь вам, что вы ошибаетесь на его счет. – В восторге от выдуманной им увертки, он взял свои принадлежности и начал опять рисовать, воспевая Раймонду похвалы, которые дипломат, в свою очередь, должен был выслушать: – Вы знаете, он очень умен!.. Он немного развлечет ее, – в чем же тут зло?.. Будучи лишь прямым и искренним художником, я сужу светских людей по одному маленькому обстоятельству. Когда я слышу, что один из этих салонных знатоков говорит о картинах, я знаю, чего держаться. Я говорю себе: ты, мой мальчик, кроишь, режешь и ничего в этом не понимаешь, ты только хвастун. Если же ты не претендуешь на то, чтобы учить меня моему искусству, это доказывает, что ум твой хорошо организован... Так и вы, д'Авансон, вот уже полчаса, что я рисую перед вами, а вы еще не дали мне ни одного совета. Вот, друг мой, в чем заключается такт. А у Казалья его много, и к тому же у него есть вкус.

– Вот что значит артистическая гордость, – ворчал старый красавец, четверть часа спустя спускаясь по авеню де Вилье. Он действительно добрый малый, как сам себя называет, и любит Жюльетту от всего сердца. Вероятно, Казаль преподнес ему какой-нибудь комплимент по поводу одной из его картин, и он уже попался. Но пойдем к Аккраню. Он человек суро-

вый, и лестью его не подкупишь!

И д'Авансон своей легкой, несмотря на возраст, походкой, в своих тончайших лакированных штиблетах, облежавших его сухие ноги в белых гетрах, которые он носил в те дни, когда не боялся приступа подагры, переступал порог высокого дома, на пятом этаже которого жил бывший префект Империи. Не имея детей и овдовев после десяти лет самого счастливого брака, – именно тогда, когда пал государственный строй, которому он посвятил всю свою жизнь, – Людовик д'Аккрань весь ушел в благотворительность, как уходит в работу пораженный в сердце ученый. Он совершенно отрешился от самого себя и в этом полном забвении своей личности в пользу добрых дел нашел покой. Даже в благотворительности он оставался администратором в силу той профессиональной привычки, которая заставляет состарившегося солдата налагать на себя запрещения, уволенного в отставку профессора излагать за семейным столом свой курс. Он мужественно брал на себя то, что отталкивает иногда даже самых преданных делу, а именно: заведование бумагами, кропотливое ведение переписки и проверку счетов. Дружба с госпожой Тильер, которую он во времена своей последней префектуры знал еще совсем молоденькой и которую позднее уже одинокой встретил в Париже, была единственным цветком в его

жизни, опять ставшей счастливой благодаря его самоотречению. Чтобы ярче осветить эту оригинальную фигуру, надо прибавить, что он унаследовал от своего отца, занимавшего когда-то в Университете высокое место, непреодолимый дух вольтерьянства, против которого тщетно боролись Жюльетта и госпожа Нансэ. Поднимаясь на подъемной машине, д'Авансон старался представить себе различные, черты его характера и обдумывал средство подойти к нему, не получив тех колкостей, которые Людовик д'Аккрань так охотно расточал ему по поводу его устаревшего щегольства.

– Ба! – сказал он себе, – я применю прием, так удавшийся мне во Флоренции в 66-м году с Рогистером...

Надо сознаться, хотя мы рискуем умалить значение той дипломатической победы, которой так гордился бывший дипломат, прием этот просто состоял в том, что он польстил мании графа Отто фон Рогистера, ученого нумизмата и весьма посредственного посланника. Д'Авансон сошелся с ним, посетив его коллекцию и любезно уступив ему чудную медаль, которую он случайно приобрел. Эта дружба между прусским и французским посланниками привела к одной из тех ничтожных и ненужных удач, которыми так гордятся посольские канцелярии, – к преждевременной осведомленности относительно важной новости, осведом-

ленности, не внесшей, впрочем, никакого изменения в текущие дела. За свою несдержанность Рогистер был отрешен от должности; несмотря на это, он уехал из Флоренции в таком восторге от своей медали, что забыл рассердиться на своего вероломного соперника, который возомнил себя с тех пор столь же сильным, как Ротан или Сен-Валье – из всех коллег его наиболее известные на Кэ д'Орсэ. Мы уже видели, к каким неловкостям приводило иногда этого человека такое наивное самомнение. Эта далекая, хотя все еще памятная его гордости удача испортила его действительный ум и очень доброе сердце. Кто измерит тот страшный вред, который может причинить целому существованию какой-нибудь частичный успех? Если бы д'Авансон, из-за ловкой интриги, не вообразил себя гением, он не задумал бы странного проекта соединить против Казалья различных друзей Жюльетты, а также не повел бы дело с такой ожесточенной страстностью, в самом неблагоприятном смысле, и не раздражал бы своего самолюбия четырьмя неудачами у самой Жюльетты, у госпожи Нансэ, у Миро и у Аккрая. Чтобы подкупить этого великого благотворителя, он приступил к нему с подробными расспросами о ночлежных приютах, которые всегда останутся славой светской благотворительности нашей эпохи. Бывший префект сиял. Он развивал перед своим любез-

ным слушателем целые проекты о странноприемных домах, перелистывал сметы, сложенные в зеленые картоны, придававшие его кабинету самый угрюмый и бюрократический вид. Наружность Людовика д'Аккраня была такой же неуклюжей, как и его имя. Весь он был длинный, костлявый, с огромными руками и ногами, лысой головой, которая была бы отталкивающе безобразной, если бы его изрытое лицо с окаймленными краснотой и мигающими за синими очками глазами освещалось ангельски доброй улыбкой. Доброта эта звучала также и в его голосе; это был один из тех горячих и нежных голосов, которые одни только остаются в нашей памяти, когда мы вспоминаем о лице, обладающем им. Отвечая д'Авансону на торжественно произнесенную им фразу, голос этот немного дрожал.

– Теперь, дорогой друг, сказал д'Авансон, – позвольте мне поговорить с вами о том одолжении, которое вы могли бы оказать госпоже де Тильер.

– Каком? – спросил д'Аккрань, на уста которого вернулась улыбка, как только тот произнес имя Казаля. – Я знаю, – продолжал он, – наша дорогая госпожа Тильер заинтересовала его нашим делом... Он уже подписал нам десять новых кроватей... Что же вы хотите? Из любви к бедным можно немного и пококетничать... Вы, такой клерикал, не можете этим возму-

щаться! Ведь придумала же церковь чистилище для того, чтобы воспитывать культ.

– Еще этого мне не доставало, – говорил себе д'Авансон, садясь в подъемную машину, после того, как выслушал на этот раз уже не похвалы Казалю, а несколько удачно взятых из философского словаря шуток. – И он не видит, что этот парень дает деньги на это дело, черт его побери, вместо того, чтобы бросить их на зеленый стол, что совершенно неестественно!.. По счастью Жарда нет в Париже, а то я, конечно, узнал бы, что Казаль посвящает себя какому-нибудь патриотическому предприятию, как, например, изыскание бездымного пороха или управление воздушными шарами! Но терпение!.. Скоро должен вернуться Пуаян, и хотя я не разделяю его убеждений, но по крайней мере у него есть здравый смысл...

Вот каким образом сердечная драма, подготовлявшаяся в течение нескольких недель благодаря умалчиванию госпожи Тильер и сложности ее чувств, должна была разразиться острым кризисом из-за непростительной неловкости друга, хотя этот друг считал себя и был ей очень преданным. Но как мог он подозревать, что его намерение посвятить Пуаяна в эти дела будет так опасно для Жюльетты и причинит самому Пуаяну самые жестокие муки? Такие случаи являются иногда ужасной расплатой за запретное

счастье. Они являются лишь одним из тысячи случаев того закона, очевидного для всякого, кто с пользой и без предубеждений изучает человеческую жизнь, а именно: проступки наши чаще всего наказуются тем, что они вполне удаются. В том, что мы называем естественной игрой событий, скрыта какая-то глубокая справедливость, предоставляющая нам жить согласно нашим дурным желаниям; а потом простая логика этих осуществленных желаний неизбежно нас карает. Жюльетта Тильер и Генрих Пуаян целые годы старательно обманывали всех наиболее им близких относительно характера их отношений. И им это удалось. Что же удивительного в том, что один из этих близких, обманутый, как и все остальные, действуя согласно своим убеждениям, нанес этим любовникам непоправимый вред, не подозревая об их истинных отношениях? Самым худшим было то, что, рассказывая в четвертый раз свои сетования на вторжение Казале к госпоже Тильер, ужасный д'Авансон неизбежно утрировал выражение своей мысли. Госпоже Нансэ он сказал: «В один прекрасный день из-за этих визитов о Жюльетте начнут говорить...», Миро: «Я боюсь, что об этом уже говорят», а Пуаяну должен был сказать: «Я знаю, что даже об этом говорят...», не дав Жюльетте времени предупредить его, – так сильно в его пятидесятилетнем праздном и ревнивом сердце возросла

ненависть к Раймонду. Пуаян приехал с пятичасовым утренним поездом. В одиннадцать, справившись о его возвращении, д'Авансон разразился перед ним своими филиппиками:

– Только вы, дорогой друг, – заключил он, можете дать понять этой бедной женщине, как вредит она своей репутации... Но вы помните, она постоянно, смеется надо мной, дразнит меня моей антипатией к молодежи, как будто антипатия эта касается таких людей, как вы, дорогой Генрих!.. Но, действительно, современные прожигатели жизни мне противны. Не потому, чтобы я осуждал желание молодежи веселиться. Мы много веселились с моими друзьями, но мы умели веселиться... Нам никогда бы не пришло в голову, как этим господам, собираться без женщин, наедаться и напиваться до того, чтобы валяться под столом! Эти нравы хороши для англичан... Но теперь все, начиная с порока и кончая туалетом, идет для них из Лондона... Представьте, они уверяют, что не могут носить другой обуви, как только от какого-то «Domas, Somas, Tamas»... Уж не знаю, кто это посылает каждую весну своего посланника, точно король какой-то, чтобы проехать по взморьям и просмотреть обувь этих молодых шалопаев?

Старый красавец долго еще громил бы англomанию современной молодежи, но Пуаян его больше не слу-



шал. И на вопрос его:

– Вы поговорите с госпожой Тильер? – еле ответил:

– Да, я постараюсь найти предлог. – Он получил один из тех ударов ножом в самое сердце, которые так часто неосторожно наносят нам люди, не зная, в какое безумно чувствительное место они нас поражают; и мы даже не можем открыто страдать; скрытая в сердце нашем скорбь не находит себе исхода и душит нас, нас одних.

Д'Авансон, уходя от Пуаяна и гордясь своей дипломатией, как гордится ею целый конгресс, не подозревал, что оставил за собой человека в полном отчаянии. Если бы он это знал, преступный доносчик, возвращаясь к себе через Сену и Елисейские Поля и встретив по дороге возвращавшегося из Буа на спокойном Боскаре Казалья, не чувствовал бы такой радости. Молодой человек, смеясь, разговаривал со своим спутником, который был не кто иной, как лорд Герберт.

– Веселись, друг мой, веселись, – подумал д'Авансон, проводив его некоторое время глазами, с некоторой завистью к его величественной осанке. Это не помешает нам наделать тебе хлопот... Де Пуаян открывает огонь. Жюльетта не догадается, что я уже видел его сегодня утром. Я ее знаю. Она так осторожна. Она рождена для того, чтобы быть женой дипломата. Когда она узнает, что о ней говорят, первой ее мыслью

будет устроиться так, чтобы Казаль бывал у нее реже. Эта скотина рассердится, будет настаивать, сделает какую-нибудь глупость – и мы от него освободимся. Если средство это не поможет, мы найдем другое. Для того чтобы провести Рогистера, у меня их было три... Но что меня радует, так это то, что я не ошибся в де Пуаяне. Я хорошо знал, что он увидит вещи такими, каковы они на самом деле.

В то время как, сам того не зная, этот палач обращался к себе самому с таким монологом, преисполненным профессионального тщеславия, думая своим искусством сделать честь своей профессии, его несчастная жертва Пуаян, здравый смысл которого он так восхвалял, ходил взад и вперед по комнате, охваченный самым неожиданным и самым жестоким горем. Просторная комната, по которой так ходил граф, стараясь обмануть движением свое чрезмерное внутреннее волнение, была его рабочим кабинетом, стены которого сверху до низу были заполнены книгами. Большие окна выходили на тихий зеленый сквер и серую массу церкви Святой Клотильды. Сколько раз, за два последних года, великий оратор бесконечно ходил взад и вперед по этому самому месту с мучительной, наполнявшей его сердце мыслью о том, что он не любим. Но никогда он еще не страдал, как в это утро своего возвращения. Открытие, сделанное диплома-

том, не было уж таким необычайным: иногда и госпожа Тильер принимала у себя новых друзей, о которых не писала ему, не говорила ему в своих письмах. — Вот и все. Но для того, кто любит, факты сами по себе ничего не значат. Вся суть в их внутреннем значении, и чтобы понять, каким ужасным ударом должен был отозваться этот факт в сердце графа, надо объяснить, в каком нравственном состоянии он находился на следующий день после своей политической кампании.

Вот уже несколько месяцев, как этот стойкий человек, переживший, не сдаваясь, столько жестоких бурь, испытывал какое-то утомление, которое, не допуская суеверного выражения «предчувствие», он объяснял целым рядом перенесенных им одна за другой неприятностей. В действительности же он находился в таком периоде жизни, когда все сразу начинает нам не удаваться, между тем как в другие периоды, наоборот, все удается, причем нам не приходится ссылаться на сильное слово «случайность». То, что называют счастьем, в общепринятом смысле удачи, вытекает из правильного, почти независимого от нашей воли соотношения наших сил с обстоятельствами.

Приведем очень выразительный пример, почерпнув его из славной истории: качества Бонапарта так точно соответствовали среде, созданной революци-

ей, что все его предприятия должны были удаться – и удались. Но со времени битвы при Эйлау стало очевидным, что, несмотря на победы, гармония между этим гением и новыми условиями Европы нарушилась, Таким образом, и каждый человек в своей частной или общественной жизни переживает такую эпоху, когда, как говорят англичане, «the right man in the right place» – «он совершенно подходит к тому месту, которое занимает». Даже недостатки приспособляются тогда к требованиям положения, как, например, безграничная сила воображения императора приспособлялась к Франции 1800 года, требовавшей в то время полного преобразования.

Позднее, в период его несчастья, даже достоинства этого человека содействовали его гибели: так, например, необычайная энергия Наполеона в жаждающей отдыха Европе и среди утомленных постоянными войнами солдат. Поскольку скромное и правильное существование может сравниться с грандиозной судьбой человека, постоянно среди бесчисленных опасностей ставившему на карту все, постольку политическая история Пуаяна и история его внутренней жизни напоминала судьбу Наполеона.

Когда после войны выборщики Дубса послали его в Парламент и когда он вскоре после этого встретил госпожу Тильер, Пуаян должен был иметь успех в Па-

лате и понравиться женщине по всем тем причинам, которые до того делали его несчастным и безвестным. По поводу первой речи Пуаяна Тьер, которому при отсутствии у него широких взглядов, никто не мог отказать в способности верного и меткого суждения, говорил своим тонким голоском:

– Как жаль, что этот молодой человек не выступал в Палате пэров в двадцать первом году.

Действительно, лучшие качества Пуаяна нашли бы полную свободу выражения в благородной и высокой атмосфере Реставрации. Но разве не о Реставрации смутно мечтала тогдашняя Франция, поняв, благодаря опасности, на несколько слишком коротких мгновений глубокие национальные интересы? Вспомним, что в это тяжелое время требовалась усиленная работа патриотизма. Поэтому бескорыстие графа, его великодушное красноречие, широта и в то же время стойкость принципов, живое воспоминание о его личной доблести, – сразу создали ему необычайный нравственный авторитет. Вместе с тем старание восстановить на обломках разбитого семейного очага новую жизнь придавало его характеру грустную поэзию, неотразимую для женщины, склонной больше к романтизму, чем ко влюбленности, и к нежности больше, чем к страсти. В нем чувствовался постоянный трепет скрытых ран и дрожь сдерживаемых страданий! К

чему привел его десять лет спустя этот триумф? Что случилось с политической популярностью блестящего оратора Бордо и Версаля, после того как не удалось предприятие 16 мая, которому он отказал в своем содействии, считая его неосуществимым? В Парламенте этот отказ и все более и более определявшаяся склонность к христианскому социализму делали его одиноким в своей партии, а выборщики его округа начинали утомляться депутатом, ораторский успех которого не способствовал ни проведению здесь местной железной дороги, ни открытию табачной конторы. Занятый исключительно своими идеями и преследуя мечту о возрождении провинции для перестройки все французской жизни и об учреждении, которое приняло бы под деятельное и сильное покровительство рабочую жизнь, Пуаян не следил за медленной метаморфозой, происходившей в его выборщиках и лишь теперь во время борьбы за две освободившиеся в Общем Совете вакансии внезапно столкнулся с их направлением. Это открытие больше даже, чем приведение в порядок частных дел, заставило его продолжить там свое пребывание. Он хотел отдать себе отчет в том пути, который за несколько лет прошли его противники. Присутствуя на собраниях и принимая участие в разговорах, он с горечью должен был сознаться, что популярность перешла к одному

из его коллег по Палате, к доктору, не имеющему клиентов, но ловкому дельцу, начинавшему применять недостойные выборные приемы, к которым неизбежно ведет постыдное рабство духа перед числом – всеобщая подача голосов. Всякий народ, отвергающий своих естественных правителей, с которыми он рос, страдал и побеждал в течение целых веков, отдает себя в руки шарлатанам. Как это ни покажется странным благоразумным политикам нашего времени, но граф не переставал верить в великодушие народного инстинкта. Понижение нравственного уровня его товарищей поразило его в самое живое место его души, как поразило бы внезапное известие об измене его дорогой Жюльетты.

Может быть, именно под влиянием этого жестокого разочарования он с таким чувством обиды читал письма последней во время своего грустного путешествия, окончившегося двойной неудачей. Он почувствовал в этой переписке, что там тоже происходит перемена и что душа, на которую он возлагал все свои надежды, должна была от него ускользнуть. Письма ее приходили очень аккуратно. Это был все тот же красивый и гибкий почерк, один вид которого на синеватом конверте вызывал слезы на его глазах. Это был все тот же дневник нежной и одинокой, внимательной и преданной женщины. Но чего же в нем не достава-

ло, почему вместо прежних порывов он видел в каждой строке – и он упрекал себя за это – следы усилий и как бы долга? В своих ответах он не смел на это жаловаться и, как мы видели, писал целые страницы, в которых чувствовалось хорошее настроение духа; это были письма деятельного, довольного и веселого, несмотря на труд, человека; после чего, запечатав конверт, он продолжал бесконечно сидеть, облокотившись на стол и взявшись за голову руками, вглядываясь в свое собственное сердце, где находил ту же необъяснимую болезненную застенчивость, помешавшую ему накануне отъезда попросить у своей возлюбленной настоящего прощания. И теперь, как в тот час разлуки, он задыхался, желая сказать то, чего не мог, порываясь излить свою жалобу, падавшую ему на душу тяжестью молчаливой печали. И как тогда, это благородное существо, чуждое низменного эгоизма, которое часто скрывается под любовными просчетами, искало в себе причину перемены его отношений с госпожой Тильер. Он обвинял себя в том, что не любил ее для нее самой только; упрекал себя в деспотизме и докучливости; строил планы нежного и заботливого отношения к Жюльетте, которое заставило бы его подругу вновь стать такой, какой она была прежде. Он прилагал всю силу своей страсти, чтобы уяснить себе те качества, благодаря которым она ста-



ла для него так дорога. Тогда грусть его растворялась в невыраженном обожании. И это происходило именно в ту минуту, когда эта обожаемая женщина, получив его вчерашнее письмо, говорила себе: «Как он изменился!..» чтобы в своих собственных глазах оправдать свое преступное умалчивание о Казале, которое длилось целые недели.

Когда душа переполняется таким образом до краев неясными элементами страданий, малейший случай вызывает в ней моментальный взрыв, аналогичный тому, который производит электрический ток в сосуде, где сталкиваются, не соединяясь, химические вещества. В это самое утро до разговора с д'Авансоном, в то время как поезд Восточной железной дороги мчал его к тому городу, где он должен был свидеться с Жюльеттой, Генрих Пуаян чувствовал полную неспособность начать с нею откровенный разговор, в котором он рассказал бы ей о тайных мучениях своего сердца. Он предвидел впереди еще целые месяцы душившего его молчания. Но не успел еще жестокий дипломат повернуть за угол улицы Сен-Доминик, как объяснение это с Жюльеттой показалось графу не только возможным, но и неизбежным. Оно сделалось для него такой же насущной потребностью, как дыхание, пища, ходьба; настолько выслушанное им открытие придавало ясную и мучительную форму его со-

мнениям в настоящих чувствах его возлюбленной... В первую минуту после этого неожиданного разговора перед ним с мучительной напряженностью восстал целый ряд картин, как это бывает с ним иногда, когда неловкая рука вдруг коснется скрытого в нас больного места. Вместо того, чтобы взглянуть на эти два простых факта: присутствие Казаля у Жюльетты и молчание последней, как на общие сведения, которые следовало бы разъяснить, он с фотографической ясностью представил себе жилище улицы Матиньон, соединенное для него с воспоминаниями о самой сладостной нежности, маленькую голубую с белым гостиную с ее живым для него обликом, письменный стол у окна и за стеклом зеленые ветки сада, – все эти вещи такой редкой интимности и в этой изысканной любимой раме, ненавистного гостя, этого Казаля, о котором он научился так плохо думать у бедной Полины де Корсьё. Сближение такого человека с этим уголком заставило его ощутить острую боль, которую усилил еще образ Жюльетты, разговаривавшей с гостем, сидя в любимом кресле у камина, а потом за письменным столом, за письмом к нему, де Пуаяну, в котором она умалчивала об этом ненавистном визите, так как не могла сомневаться в том, что он должен был быть ненавистным ее любовнику. Сцена, предшествовавшая отъезду в Безансон, представилась вдруг беспо-

койному воображению этого человека. Ему послышалось, как он произносил в этот вечер разные фразы, и взгляд Жюльетты воскрес в его памяти. Боже правый! Возможно ли, что тогда уже за ним скрывалась ложь? И в вихре мучительных видений граф почувствовал себя таким несчастным, что глаза его наполнились слезами, рыдания сдавили горло и он бросился на диван. Этот храбрый солдат, мужественный оратор, этот полный искренней веры человек застонал как ребенок:

– Ах, как могла она! – повторял он сквозь слезы. Вдруг, в ту минуту, когда он громко произносил эти слова, целый поток воспоминаний обдал холодом его сердце. Он вспомнил, как произносил эту фразу тринадцать лет тому назад, узнав об измене жены. Аналогия этих двух моментов тотчас с такой силой поразила его, что избыток острых страданий вызвал в нем целую реакцию. В нравственном порядке существуют внезапные порывы энергии, являющиеся одной из форм инстинкта самосохранения; они так же произвольны, как физическое движение в минуту большой опасности, как, например, жест, которым утопающий хватается за соломинку. Наши чувства не умирают в нас без борьбы: они борются за существование со всей заключающейся в них жизненной силой. Страстная любовь к Жюльетте слишком глубоко жи-

ла в сердце графа, чтобы не бороться со своей агонией, и любовь эта возмутилась сравнением бесчестной жены с возлюбленной, бывшей в течение стольких лет предметом благочестивого поклонения. Пуаян встал с дивана, провел руками по лицу и сказал громким и суровым голосом:

– Нет, нет, это неправда.

Мысль, которую он дико гнал от себя, вызвала в нем дрожь отвращения, это было внезапно возникшее предположение, что Жюльетта стала любовницей Казаля. Ему стоило только вызвать в своем воображении это позорное видение, как душа его мгновенно отбросалась назад с тем горячим отрицанием вины женщины, составляющим счастливую привилегию чистых и искренних мужчин. Не измена других, но наша собственная делает нас подозрительными. Граф безгранично верил в порядочность госпожи де Тильер, потому что поведение его самого было по отношению к ней безупречным и потому, что он невольно судил о ней по себе. Несмотря на все его страдание, эта вера осталась в нем нетронутой, и он напряг всю свою волю, чтобы отогнать от себя эту унижительную и оскорбительную мысль, промелькнувшую в его мозгу. Внутренний механизм наших способностей так устроен, что толчок, данный одной части, сейчас же передается всей остальной машине; таким образом,

порыв оскорбленной чувствительности пробудил силу воли в этом ослабевавшем человеке:

– Ну, – сказал он себе, – надо рассудить.

И он опять принялся ходить взад и вперед по комнате, принуждая себя к ясному анализу, как будто дело касалось лишь одного из тех парламентских споров, в которых он так отличался. У современных культурных людей при всяком потрясении профессиональные привычки вновь вступают в свои права, как только слабеет первая острота полученного удара. Тогда писатель начинает мыслить как писатель, актер – как актер, оратор, каковым был Пуаян, – как оратор, применяя логическую точность почти со всеми ее выражениями к мелочам сердечной жизни так же, как применяет ее к политическим задачам.

– Да, постараемся рассудить, – говорил себе граф, – и сперва поставим вопрос... Итак, она часто видалась с Казалем, очень часто. Д'Авансон дал мне понять, что даже ежедневно. Не преувеличивает ли он? Чего стоят его показания? Это – здравомыслящий, но очень страстный ум...

Пусть будет так. В таком случае эта самая страсть является даже аргументом в пользу его слов. Если он пришел сюда сегодня же утром, значит, он караулил мой приезд, из чего следует, что все это очень его мучило... Допустим этот факт и разберем его: с тех пор

как я уехал, Жюльетта часто видалась с Казалем, которого не знала еще несколько недель тому назад, – она, так неохотно открывавшая всегда свои двери новым знакомым, – и это она сделала, зная мое мнение об этом человеке... Такое поведение может быть вызвано лишь двумя причинами: или он ей нравится... Почему же нет? Он так нравился этой бедной Полине... Или же она скучает и принимает того, кто может ее развлечь. После этого она примет другого, потом третьего... Это – начало перемены в ее жизни... Пусть будет так!.. Взглянем яснее на обе эти причины...

Таковы были фразы, сопровождавшиеся двадцатью такими же другими, из которых этот вновь овладевший собою ум имел мужество, если можно так выразиться, строить основу положения. Несмотря на все, сердце несчастного человека сочилось кровью, ибо в обоих причинах таилась мучившая его столько дней тоска. Поддалась ли Жюльетта разыгранной Казалем комедии чувств или же она принимала его из простого желания развлечься – в обоих случаях это было признаком глубокого внутреннего утомления всем тем, что касалось связи ее с Генрихом. И она сама так хорошо это понимала, что умолчала о посещениях Казалю. Такое объяснение ее молчания показалось графу весьма вероятным.

– Она пожалела меня, – подумал он, – и жалость

эта стала его мукой, как для всех тех, которые, чувствуя в себе бурю страсти, встречали такую жалость. Инстинкт говорит им, что ненависть, вероломство и даже страдания от жестоких измен все-таки оставляют любовнику маленькую надежду, а жалость – нет. Женщина, желавшая вас убить, может быть, ранив вас ножом, упадет в ваши объятия; женщина, соблазненная коварным соперником, вернется к вам, сходя с ума от угрызений совести, так же как и та, которая, будучи вдали от вас, легкомысленно поддавалась соблазну. Но возлюбленная, желающая в своем любовнике страдание неразделяемой ею любви, разочарованная подруга, которой хотелось бы постепенно излечить вас, так же как излечилась сама от чудного пыла слишком сильных ощущений, никогда уже не вернется к прежней любви и не будет любить вас так, как вы ее любите. Бегите этой ужасной доброты, не позволяющей вам даже упиться вашим горем. Молите ее быть к вам суровой, гнать вас от себя и своей жестокостью убивать вас. Такою она покажется вам менее жестокой, чем если будет беречь вас с убийственной лаской, каждое проявление которой показывает вам, чего вы лишились, потеряв любовь этого нежного создания. Генрих вдруг сознал в воображении всю глубокую горечь этого жестокого милосердия, и оно причинило ему настолько сильную боль, что он сказал

себе: «Лучше все, чем это, – даже разрыв». С этой минуты он больше не колебался и, придя в два часа на улицу Матиньон, так же твердо и непоколебимо решил все узнать, как решил во время войны вступить в армию. Что же предстояло ему узнать? Смертельная дрожь охватывала его при мысли, что эти любимые уста, может быть, скажут ему:

– Это правда, я вас больше не люблю... Но когда сомнение доходит до известного предела, мы предпочитаем уверенность, как бы она ни была ужасна, тому душевному мраку, который мешает нам видеть обожаемое создание. Сообщение д'Авансона сразу довело до такого предела этого больного человека за четыре часа, которые прошли от разговора с дипломатом и до того момента, как он вошел в маленькую гостиную в стиле Людовика XVI, что Пуаян мог измерить всю глубину раны, открывшейся в его душе. А как глубоко также была ранена и душа той женщины, которой он должен был открыть свое горе! И зачем своим молчанием допустил он, чтобы их отношения дошли до такой точки, когда объяснения только подчеркивают непоправимые ошибки прошлого?

В ту минуту, когда дверь открывалась перед Генрихом, госпожа Тильер сидела в одном из глубоких мягких кресел. Как знать, может быть, в одном из таких кресел, шелк которых красиво полинявший, слы-



шал сто лет тому назад фразы, произнесенные ее прабабушкой и жестоким Александром Тилли во время их разрыва. Конечно, между благородным Пуаяном и циничным соблазнителем, автором знаменитых Мемуаров, не было ничего общего, но, безусловно, в каком бы отчаянии ни была тогда несчастная любовница этого соперника Вальмона, она не могла быть несчастнее, чем была ее правнучка в восемьдесят первом году. Несмотря на полное радостного света майское солнце, на голубое небо, видневшееся из окон, и на зелень сада, Жюльетта приказала затопить камин. Одета в длинное свободное белое платье, с бледным, утомленным лицом, с измученными бессонницей глазами, сжатым ртом, она, казалось, дрожала от того внутреннего холода, от которого не может избавить никакая весна. Граф взял ее руку, чтобы поцеловать ее, и почувствовал, как эта маленькая влажная от волнения ручка дрожала в его руке. Найдя такой покорной и разбитой ту, к которой он как судья пришел с допросом, несчастный человек забыл на минуту свое собственное горе. Вид изнуренных, исхудавших, как бы истаявших черт этого горячо любимого лица больно сжал ему сердце. Еще одна особенность ее лица глубоко поразила его, показав ему все волнение его возлюбленной: голубые глаза Жюльетты были совершенно черными, как в те минуты,

когда непомерно расширенный зрачок заполнял всю их голубизну. Какая тайная мука глубоко терзала душу этого нежного создания? Пуаян невольно задал себе этот вопрос и не мог не связать сейчас же ее видимого страдания с неизвестными чувствами, таившимися в его подруге, о которых донес ему д'Авансон. Несмотря на быстроту мелькавших в нем мыслей, лицо его изменилось в свою очередь и, госпожа Тильер, также мучимая беспокойством, сразу поняла, что он пришел к ней за объяснением. Но каким? Приехав только утром, он не мог еще узнать о визитах Казалья. Впрочем, во время бессонницы последней ночи она твердо и окончательно решила в первое же свидание сообщить ему об этих визитах. Но для этого требовалось с его стороны хорошее и откровенное настроение, между тем как он пришел таким хмурым и расстроенным. Вероятно, виной тому были полученные в Безансоне письма. За последние восемь дней она едва нашла в себе силу начертать ему несколько строк на той самой бумаге, на которой прежде исписывала бесконечные страницы... В то время как в том и другом шевелились эти мысли, они начали говорить друг с другом, обмениваясь банальными фразами, похожими в поединках на те легкие приемы, которыми забавляются фехтовальщики перед началом серьезной схватки. Пуаян сел, и после нескольких сердечных во-

просов оба произносили такие фразы, прерываемые молчанием:

– Я рад, – говорил он, – что здоровье госпожи Нансэ не причинило вам никаких забот... Но при этой чудной погоде...

– Да, – ответила она, – наконец-то хоть один раз у нас стоял настоящий апрель.

– А как поживает со своим мужем госпожа Кандаль?

– Благодарю вас, гораздо лучше. Она так интересовалась вашей деятельностью!..

– О, я совершенно не имел успеха!

– Но вы наверстаете его какой-нибудь победой в Палате.

Боже мой, как старая мать и молодая графиня, весна и парламент были далеки от того, что занимало их обоих! И как тяжелы, – если только они не являются упоительными, – эти беседы после долгой разлуки между двумя существами, которые не могут ни избежать объяснения, ни вынести его; они отдаляют, отдаляют еще тот момент, когда им придется получать и вонзать в окровавленные сердца друг друга острые стрелы правды. Наконец, ожидание это становится настолько невыносимым, что заставляет говорить, как сделала это, содрогаясь всем своим существом, Жюльетта. Она взяла руку Пуаяна, просто, стараясь улыбнуться и глядя на него умоляющим взгля-

дом, сказала ему:

– Вы грустны, Генрих, я это вижу. Вы сердитесь на меня за то, что все эти дни я писала вам кое-как... Но если бы вы знали, как я страдала и как страдаю еще и теперь, то простили бы меня... Вид ваших страданий не может усилить моих... Нужно ли вам повторять, что я никогда не могла и не могу переносить вашего несчастья?..

В этой фразе, этом жесте и в сопровождавшем их взгляде – она была глубоко искренна и растрогана!.. В эти полчаса их мучительного свидания Пуаян не произнес еще ни одного упрека, но несмотря на это, она чувствовала, как страдал он, и это чувство, бывшее первой основой ее любви, жило в ней гораздо глубже, чем она думала. Все струны романической жалости, когда-то затронутые в ней грустными признаниями графа, вновь задрожали в ее сердце. Это было пробуждением неожиданных, необдуманых, непреодолимых чувств. Если бы Генрих был в силах ясно представить себе последствия, к которым могло привести это свидание, и то огромное влияние, которое оно должно было оказать на все будущее его связи, он не употребил бы иного метода, кроме откровенного выражения своего страдания. Он же, наоборот, прикрываясь в течение стольких месяцев полуравнодушием, считал себя очень ловким, прибегая к такому

приему. Теперь, перестав рассуждать, он становился опять для Жюльетты тем высшим и несчастным созданием, которого она жалела с достаточной страстью, чтобы влюбиться в него, по той таинственной связи, которая соединяет милосердие с нежностью и утешающую симпатию с волнением чувственности. Умерла страсть и умерла любовь. Ее мечты о счастье теперь стремились к другому, но связавший ее с Пуаяном магнетизм жалости все еще продолжал существовать. Почувствовав его, она не пробовала даже от него защищаться. В эту минуту она действительно, как сейчас чистосердечно и без расчета сказала, не могла переносить страданий этого человека, который все-таки не мог и не должен был уже составлять ее счастья. Что же касалось до него, то в своих грустных размышлениях именно этой жалости он боялся больше всего. Лицо его исказилось еще сильнее. Он оттолкнул руку госпожи Тильер и ответил:

– Ах! Жюльетта, будьте ко мне справедливы... Я никогда не измерял ваших писем страницами. Я любил их постольку, поскольку считал их потребностью вашего сердца, а не долга...

– Неблагодарный, – прервала его молодая женщина нежно-кокетливым тоном, – неужели вы допускаете мысль, что я смогу не писать вам!

– Ну, да, – продолжал Пуаян, видимо, делая над со-

бой усилие, – я предпочитаю говорить с вами откровенно. Да, ваши письма меня огорчили. Но не потому, что они были коротки или написаны наспех, а потому, что я чувствовал в них то, что я теперь знаю: вы не говорили со мной откровенно... Вы посылали мне их как дневник вашей жизни, но не говорили о том, что у вас завязывалась новая дружба, о которой я узнал за эти несколько часов моего пребывания в Париже. Этим так занимаются вокруг вас!.. Вот, что меня так глубоко оскорбило, зачем мне от вас это скрывать?..

Пока граф с неумолимой ясностью формулировал свое обвинение, навстречу которому госпожа Тильер хотела пойти, но... позднее, – глаза их встретились. Она нахмурилась, в свою очередь, и целой поток крови зарумянил ее лицо. В этих нескольких словах Пуаян предстал перед ней уже не как страдалец, а как судья, и в этом нежном, но гордом сердце к симпатии сейчас же примешивалась гордость.

– Я тоже, Генрих, – ответила она ему с некоторой надменностью, никогда не предполагала скрываться от вас... Но есть вещи, которые я предпочитала сказать вам лично, чем о них писать... Я слишком хорошо знаю, как легко письма вызывают недоразумения... Спрашивайте меня и тогда судите...

– Друг мой, – сказал граф, вздыхая с грустью, не имевшей уже ни тени упрёка, – как вы меня мало по-

нимаєте! Мне вас спрашивать! мне вас судить!.. Что вы мне говорите, Жюльетта!.. Умоляю вас, не считайте меня ревнивым. Я не таков. Я не имею на это права. Я слишком уважаю вас для того, чтобы вас в чем-либо подозревать. Позволил ли я себе хоть раз, с тех пор как вас люблю, следить за вашими отношениями? Если вы принимаете тех или других людей, я мог бы только бояться, чтобы вы сами не пожалели об этом, но подозревать вас из-за этого – никогда! А вот, что вы, садясь за стол, чтобы писать мне, обдумывали каждую фразу вашего письма, вместо того чтобы писать его свободно, что вы считали меня за кого-то, кого надо беречь, что, наконец, боялись меня – и что я это чувствую, – вот что терзает мое сердце так же, как те фразы, которые вы только что произнесли о возможных между нами недоразумениях... Видите ли, я страдаю не от самой вещи, а от того, что вижу за ней. Я вижу, что ваши чувства изменились. Я вижу – ах! дайте мне сказать, – настаивал он, заметив жест госпожи Тильер, – эта мысль уже так давно меня преследует, – я вижу, что между нами кончена интимность, кончена жизнь душа в душу, которая стала для меня такой дорогой привычкой. Я вижу, что люблю вас по-прежнему, а что вы – вы меня больше не любите. Маленький факт этой новой дружбы и вашего молчания служит тому доказательством вместе с двадцатью или

тридцатью другими фактами... Если я воспользовался этим случаем, чтобы говорить с вами так, как говорю, то поймите, не потому, что я придаю ему больше значения, чем стольким другим фактам. Лишь ваше сердце имеет для меня значение... Жюльетта, если действительно я перестал быть для вас тем, чем был, то умоляю вас, имейте мужество мне это сказать. У меня хватает его просить вас об этом... Любите ли еще вы меня? В эту минуту я могу все выслушать... Вы говорите, что не можете переносить моего несчастья... В меня вселилось это ужасное сомнение, от которого я так страдаю... Прекратите его... Даже потерять вас было бы для меня менее мучительно, чем не знать, чего вы хотите и что чувствуете...

Она слушала, как он говорил все более и более разбитым и глухим голосом, выдававшим сильнее слов его внутреннее горе. Она видела, как с бесконечно измученным выражением склонялось к ней это лицо, такое несчастное и слабое в обычной жизни и перерожденное в эту минуту обаянием большого страдания. Она понимала то, в чем сомневалась уже несколько месяцев, – находя, быть может, удовольствие в этом сомнении, – что Пуаян говорил правду; любовь его к ней исходила из самых глубоких, самых кровавых сердечных корней, и она физически непреодолимо почувствовала, что сказав ему, что больше его не любит,



действительно разобьет это больное сердце. Вспышка гордости, вызванная обвинительным вопросом, не могла не рассеяться в ней перед смиренной покорностью этого отчаяния, дававшего ей в руки оружие и говорившего: Бей!.. Но нет. Она не могла ударить. Она не могла произнести фразу, которая сделала бы ее свободной, разбив окончательно этого любившего ее и любящего человека. Она отдалась ему для того, чтобы сделать его счастливым, и теперь вновь видела его перед собой таким несчастным, таким разбитым ею же! Бессознательная потребность обновить свое существование, приведшая ее к таким опасным отношениям с Казалем, ее тайное возмущение против цепей, налагаемых на нее связью, ее желание отстаивать свою независимость в день объяснения, ее усталость и жажда свободы, совершившаяся в ней за последние недели работа, – что все это значило по сравнению с агонией, внезапно захватившей и поразившей всю ее душу?

И вот глаза ее наполнились слезами, она встала и, упав на колени перед своим другом, обвила его шею руками, как сделала бы это, не размышляя и не раздумывая, с больным ребенком; и он, растерявшись от неожиданности и весь дрожа, перейдя от страшной тоски к неожиданной радости, лишь бормотал:

– Ты плачешь? Ты еще любишь меня? Нет. Это

невозможно!.. Ты меня любишь? любишь?..

– Разве ты этого не чувствуешь? – отвечала Жюльетта сквозь слезы. – Я хочу, чтобы у тебя никогда, никогда, никогда больше не было ни одной такой минуты, как эта... Почему ты не говорил раньше? Почему ты тоже писал мне ледяные письма?.. Но все кончено... Больше не грусти. До этой минуты я не знала, чем ты был для меня. Я – твоя на всю жизнь... Клянись тебе, что не увижу больше того, кто так огорчил тебя... Молчи. Я клянись тебе... Никогда больше не говори мне о нем. Поверишь ли ты мне, если я скажу тебе, что видалась с ним не ради себя, а из-за одной подруги, которую он любит... Но пусть о нем никогда не заходит речи, – слышишь ли, никогда... Я хочу, чтобы ты был счастлив и не сомневался больше в себе, во мне и в нашей любви; чтобы жизнь наша пошла по-прежнему. Когда мы встретимся у нас?.. Завтра... Хочешь... Улыбнись мне, взгляни на меня: своими глазами, – твои глаза передают мне твою радость... Ты мой дорогой, дорогой друг!..

Настала ее очередь выслушивать его, и теперь она могла видеть, как лицо это загоралось страдальческим восторгом, отрадным для нее, так как в эту минуту у нее в сердце была одна нежность. Она лгала, – но можно ли назвать это ложью, говоря, что любит его, – и в эту минуту она так трепетала, как будто бы лю-

била его! Она хорошо знала, что, давая ему понять, что принимала Казалю ради другой, совершала нечто недостойное себя. Да, она это знала – или должна была знать – так же, как и то, что, предлагая и прося свидания в их маленькой квартирке на улице Пас-си, теряла свое женское достоинство. Но что ей было до этого, лишь бы ей не пришлось больше переносить отзвуки его страданий? Выдавая то, как глубоко он был потрясен, Пуаян просил ее:

– Поклянись мне, что говоришь все это по любви!

– Клянусь, – ответила она.

– Видишь ли, – продолжал он, – без этой любви я не знаю, что случилось бы со мной. Ты говоришь мне, что я должен был говорить с тобой раньше... Но так тяжело, когда любишь, чувствовать, что не догадываются о твоих чувствах! Пойми хорошенько, что ты свободна. Если бы ты ответила мне, что не хочешь больше быть моей, я не сделал бы тебе ни одного упрека; но, вероятно, умер бы, как умирают без воздуха... Но ты права... Это кончено... Мне кажется, для того, чтобы испытать ту радость, которая наполнила сегодня мое сердце, я согласился бы на большие страдания... Как я счастлив! Как счастлив!

– Правда? – почти растерянно спросила она.

– Ах! Правда, правда, – повторял он, крепко прижимая к себе дорогую головку и не замечая, как вдруг

глаза ее, только что смотревшие на него с таким восторгом, вдруг омрачились каким-то видением, которое бедная женщина всей своей волей старалась отогнать от себя: она ответила своему возлюбленному таким страстным поцелуем, которого было достаточно, чтобы отнять у Генриха последнее сомнение, оставшееся в нем. Этот человек был еще очень молод, несмотря на свой возраст и разочарования, и слишком благороден и прост для того, чтобы подозревать, что овладевший ею порыв страсти явился следствием ужасного угрызения совести, сразу завладевшего всем существом его возлюбленной. Она почувствовала, что, бросаясь из жалости в объятия Пуаяна, не могла забыть другого.

# Глава VIII

## Двойственность

Когда Генрих ушел, получив обещание на завтрашнее свидание в их маленькой квартире на улице Пасси, госпожой Тильер овладело странное спокойствие, – то спокойствие утомления, которое следует всегда за решительными объяснениями. Оно длилось до той минуты, когда овладев, наконец, своим смущенным сердцем, она оделась, как одевалась всегда, выезжая днем из дому. Но когда она села в карету и дала кучеру адрес портнихи, у которой ее ждали, ею вновь овладела такая тоска, что мысль о примерке платья стала ей положительно противной, и у нее не хватило сил заняться теми покупками, которые она предполагала сделать. Не успел еще экипаж обогнуть улицу Сен-Оноре, как она уже изменила свой маршрут и сказала кучеру:

– Поезжайте сперва в Булонский парк, как вы знаете... до Мюзет.

Весной ей часто случалось, когда небо бывало таким голубым и светлым, как сегодня, доезжать до той части Булонского леса, которая находится между вторым озером, Отельским ипподромом и Сеной, с це-

лью погулять там в одиночестве. Чтобы доехать туда, она выбирала окольную дорогу, избавлявшую ее от встреч, и которую слуги ее хорошо знали. Она ехала сперва по аллее, шедшей параллельно Большой аллее Императрицы, а затем по дороге, которая шла вдоль укреплений, В этой части, где местами открываются виды на далекие холмы Медона, находятся самые заброшенные аллеи кокетливого Парижского леса. Около трех часов все предназначенные для всадников дороги совершенно пусты; только изредка проедет какой-нибудь эксцентричный тип, направляя свою лошадь по изрытой утренней ездой земле. Старики, пригородные мещане, отпущенные на прогулку ученики придавали характер провинциального уголка этим широким аллеям или узким тропинкам. Госпожа де Тильер любила ходить по этим последним, в то время как экипаж сопровождал ее, и она всегда могла видеть его сквозь деревья; там, чувствуя себя и в уединении, и в безопасности, она безмолвно наслаждалась природой, что так редко удается в Париже. Она любила следить за тем, как на кончиках веток листья разворачивали свою мягкую нежно-зеленую почти прозрачную ткань; она смотрела на одинокий дуб, ветви которого извивались над лужайкой, на стряхивающий с себя целые букеты цветов каштан. Некоторые цветы, как голубоватые вероники, бе-

ленькие с розовыми лепестками бельцы, раскрывались на газоне у ее ног. Там в вышине лазурь подергивалась легкой прозрачной дымкой, и она слушала пение птиц, как бывало прежде, когда бродила ребенком, тогда уже мечтательным, по просекам дикого парка Нансе. Местами густые шотландские сосны раскидывали свои темно-зеленые ветви, в которых ветер напевал тихую монотонную песенку, напоминающую нам близость моря, когда мы слушаем ее, закрыв глаза. Иногда молодая женщина садилась на кончик незанятой скамейки. Доносившиеся из глубины пространства свистки паровозов и неясный шум экипажей напоминали ей о том, что неумолимая жизнь кипела вокруг нее, забываясь о жизни и забывшейся... Ее охватывала, наполняла неясная, но благотворная мечтательность, в которой мысль ее сливалась с очарованием расцветавшей вокруг нее весны; и это место, от которого до Триумфальной Арки было всего полчаса ходьбы, являлось для нее мирным и свежим оазисом, столь же уединенным, как самая дикая долина ее милой родины – Индрского края.

Тишину и мечтательность – вот что приходила искать и что находила Жюльетта в своих прогулках, после которых она возвращалась еще более замкнутой и покорной судьбе; она прислушивалась к тому, что нашептывала ей душа природы, которая не знает ни

честолюбия, ни желаний... Какие мысли живут в растении? Жить в дозволенной форме, на назначенном месте, – и ничего больше. Чтобы слушать и понимать эти успокаивающие советы деревьев и цветов, не требуется философии. Достаточно не закрывать своего сердца для гармонии природы и чувствовать ее, не рассуждая. Но есть моменты, когда самая природа, вместо того, чтобы расточать нам наветы покорности, как бы возбуждает и возмущает нас иронией своей ясности и покоя, слишком услужливо выставленных перед нами в противоположность нашей смущенной и взволнованной душе. Эти залитые светом листья, пение птиц и венчики цветов не говорят нам просто: покоряйся судьбе! Они говорят: положишься на инстинкт. Наше счастье досталось нам этой ценой... А когда, наоборот, долг приказывает нам побороть, заглушить в себе этот инстинкт свободного счастья, тогда майское небо, радостная зелень, дневной свет, – все усиливает муки поборенной страсти. Если госпожа Тильер надеялась, что после разговора с Пуаяном прогулка успокоит ее нервы, она жестоко ошиблась! Когда она гуляла по дорожкам, под тенью молодой листвы, вместо мирных грез, всегда наполнявших ее в таких случаях, ей представилась назойливая и жестокая мысль, что после этого разговора она должна была непременно и бесповоротно отказаться принимать у



себя Раймонда. Она должна была это сделать, потому что обещала, хотя, правда, Пуаян не ухватился за ее обещание. Но это не означало, что он его не принял. Она должна была это сделать также и потому, что если бы поступила иначе, то рано или поздно они встретились бы у нее, и одна мысль о взгляде, которым они обменялись бы при этой встрече, заставляла ее содрогаться. Наконец, она должна была также сделать это и потому, что была любовницей Пуаяна и хотела оставаться верной ему. А видеть Казаля она не могла, – в этом теперь сомневаться было бы нечестно: так как она его любила!

Да, она его любила. Эта очевидность, против которой уже много дней напрасно боролся ее измученный ум, предстала теперь перед ней с безумной болью, вызванной в эту минуту мыслью о необходимости разлуки... Она любила его! Но почему же любовь не оказалась достаточно сильной в минуту объяснения, чтобы вдохнуть в нее мужество вернуть себе свободу, приняв предложение Пуаяна и произнеся слова: «Я вас больше не люблю». – Ведь сам Пуаян просил ее об этом. – Да потому, что она не могла бы искренне объявить ему о своем желании порвать их связь; страдания ее любовника, которому она изменила в сердце своем, так сильно ощущались ею, что это чувство сковало ее новую любовь и порывы к сча-

стью! Какой бессмысленный хаос чувств заставлял ее жить в настоящую минуту этими двумя людьми зараз? Она всем существом своим стремилась к одному, — но для того, чтобы пойти к нему, ей пришлось бы по-пирать ногами сердце другого, а она не могла этого сделать. Она только что ощутила с ужасающей силой, давшей ей, наконец, возможность вполне понять себя, всю диктатуру страданий того, кому она принадлежала уже много лет по своему свободному выбору, — и эту диктатуру никогда, нет, никогда она не сможет с себя стряхнуть. Она видела перед собой глаза Генриха и слышала его голос. Воспоминание о нем разбивало ее душу, вновь наполняя ее жалостью. Была ли это жалость? Когда мы кого-нибудь только жалеем, то остаемся спокойными или по крайней мере рядом с этим внешним для нас страданием продолжаем жить своей жизнью; между тем Жюльетта, увидев признаки душевной агонии во взгляде, на лице и в словах своего возлюбленного, почувствовала, как смертельное беспокойство проникло в глубь ее души, в самые сокровенные тайники ее сердца. Личная энергия сразу иссякла в ней, хотя она все-таки любила Раймонда!.. Она также видела перед собой его светлые глаза, улыбку, благородное лицо, ей вспомнилось все очарование, которым веяло от каждого его жеста и которым она, сама того не подозревая, опьянялась в те-

чение нескольких недель с каждой минутой все больше и больше, до того – что порвать с ним навсегда значило для нее погрузиться в могильный мрак и холод. Какой странной болезненной любовью любила она его, – любовью, которая не могла всецело уничтожить ее привязанность? Но все же это была любовь, и если она еще в ней сомневалась, то охватившее ее этот весенний день волнение слишком ясно говорило о ней.

В эту минуту она чувствовала, что нежность наполняла ее душу, а слезы навертывались на глаза; ей безумно захотелось видеть возле себя Раймонда, смотреть на него, опереться на его руку, и чтобы все это не было запретным. Теплая истома воздуха, развеваемый легким ветерком аромат невидимых цветов, мягкие тона неба в эту дивную пору года, – все бедило в ней мечты о счастье, наполняющие в лазурные дни нашу душу восторгом или грустью. Она вызвала в своем воображении то образ Казалея, чтобы отдалась своим мечтам, то образ Пуаяна, чтобы бороться с ним, – и непонятный, ужасный дуализм, терзавший ее душу, приводил ее в отчаяние. Она всеми силами цеплялась за принятое ею решение остаться верной первой любви, которая у некоторых категорий женщин является как бы честью и оправданием их вины. Хотя некоторые моралисты это отрицают, неред-

ко случается, что за всю свою жизнь женщина имеет лишь одного любовника. Но зато редко та женщина, которая имела двух любовников, не имеет их множество. При переходе от первой страсти ко второй слабости навсегда увядает цветок самоуважения; в нем гордое создание нуждается как в воздухе, которым мы дышим, как в пище, которой питаемся.

– Нет, – повторяла себе Жюльетта, – я – жена Генриха. Я отдалась ему на всю жизнь. Даже будучи равнодушной к его страданиям, я должна была бы оставаться верной ему. Я не ответственна за свои чувства, но ответственна за свои поступки. Я хочу быть сильной и буду... Я хочу... – настаивала она и напрягала всю свою энергию, чтобы побороть страшную скорбь, внезапно охватывавшую всю ее душу, когда она говорила себе:

– Я больше не увижу Раймонда!

А между тем она находила последнюю усладу в том, что мысленно повторяла имя Раймонда, которого уста ее еще никогда не произносили. После двухчасовой прогулки, во время которой она старалась ослабить пожиравшую ее тоску физическим движением, Жюльетта села в свой экипаж, остановив во крайней мере свою колеблющуюся мысль на окончательном решении. Она не чувствовала в себе силы самой сказать Казалю, что не хотела и не могла

больше его принимать. Закрыть ему дверь без всякого объяснения было бы по отношению к нему возмутительным поступком. Тогда она придумала попросить Габриеллу Кандаль сказать молодому человеку не бывать больше на улице Матиньон под тем простым предлогом, что неприятные светские толки дошли до госпожи Нансэ и вызвали между Жюльеттой и матерью разные недоразумения. Лишь рассказав все своей подруге, к которой она приказала себе везти по возвращении с прогулки, она поняла, какие затруднения могла вызвать эта хитрость. Покачивая своей белокурой головкой, Кандаль сказала:

– Ты знаешь, я сделаю все, что ты захочешь, но сдастся ли он на эти доводы?

– Поверит он или нет, – возразила Жюльетта, – во всяком случае он поймет, что я не хочу больше его принимать, а он слишком благовоспитанный человек, чтобы навязываться.

– Он тебя любит, – ответила Габриелла.

– Не говори мне этого, – нервно прервала ее госпожа Тильер, – ты не должна мне этого говорить.

– Но, моя милая, это для того, чтобы доказать тебе, что он может потребовать объяснения...

– Ну, что ж! – возразила Жюльетта глухим голосом, – я всегда успею повторить ему то, что он узнает от тебя...

– Уверена ли ты, что у тебя хватит на это мужества? – спросила графиня.

– Ах! – воскликнула Жюльетта, закрывая лицо руками, – ты видишь, с тех пор, как я тебе во всем призналась, ты в меня больше не веришь... Видишь, как ты перестала меня уважать.

– Я?! – воскликнула Кандаль, целуя подругу, – я в тебя больше не верю! Я перестала тебя уважать! Да я никогда не понимала до вчерашнего дня, как сильно тебя люблю... Если бы ты знала, как я думала о тебе в ту ночь, как дрожала при мысли о твоём свидании с Пуаяном, с какой тоской ждала тебя?.. Не уважать тебя! За что? За то, что по роковой неосторожности я не догадалась о тайном обязательстве, заставлявшем тебя чуждаться нового друга, которого я навязывала тебе?.. Ибо это я навязала его... Но теперь я, правда, боюсь... – И видя в глазах Жюльетты бесконечную тоску, она прибавила:

– Нет, не слушай меня, я сошла с ума. Я обещаю тебе быть ловкой и избавить тебя от этого визита... Он даже не заподозрит, чему ты приносишь себя в жертву! И поэтому не будет ревновать. Он не имеет ни малейшего понятия о твоих чувствах к нему. Он не посмеет нарушать твоего запрета... А на следующей неделе или недели через две мы обе уедем в Нансэ или в Кандаль, хочешь? Я буду ухаживать за тобой,

как за сестрой. Я буду баловать тебя. Я тебя вылечу. Но умоляю тебя, не повторяй, что я тебя меньше люблю!..

– Как ты успокаиваешь меня, говоря так со мной! – сказала Жюльетта и, опершись головой на плечо подруги, прибавила:

– Это единственное на свете место, где я не страдаю. Мне так нужно, чтобы ты говорила мне, что я – не чудовище...

Этот вздох, вырвавшийся из самой глубины души Жюльетты, ставшей жертвой самых мрачных, самых мучительных нравственных тревог, которых мы стыдимся даже в ту минуту, когда от них умираем, – должен был навсегда остаться в памяти госпожи де Кандаль. Никогда больше она даже по легкомыслию не произнесла бы такой фразы, как та, которую вырвала у нее только ее тоска и в которой Жюльетта могла почувствовать недоверие к своему характеру. Но милая графиня напрасно расточала своей бедной подруге нежные утешения и выражения симпатии, одно ее слово слишком ясно показало Жюльетте, что она не была уже больше для нее прежней женщиной. В манеру произносить имя Пуаяна, в видимое усилие, которого стоили ей эти два слова, гордая и чистая Габриелла невольно вложила нечто такое, что могло пронизать страждущее сердце Жюльетты, которому

теперь все наносило тяжелые раны. Ее нежные ласки были не в силах разрушить этого впечатления, так же как усиленные уверения в благополучном исходе поручения к Казалю не могли устранить впечатления первого восклицания:

– Но поверит ли он этому?

Вместо того, чтобы уйти от Габриеллы успокоенной, по крайней мере относительно практического выполнения задуманных планов, госпожа де Тильер вернулась к себе еще более взволнованной и несчастной: ей пришлось сознаться, что преступная надежда, испугавшая ее, как преступление, уже вкралась в ее больную душу. Конечно, принимая решение никогда больше не принимать Раймонда, она была очень искренна, так же как была искренна в своей просьбе к Габриелле. И все-таки она не могла заставить себя не желать, чтобы первая мысль ее подруги осуществилась и чтобы молодой человек попытался иметь с нею окончательный и непосредственный разговор. По странному капризу ее души, вызывавшему в ней ужасные упреки совести, она чувствовала непреодолимую потребность убедиться в час разлуки в том, что он ее любит. Такая непоследовательность вполне естественна для сердца, не примирившегося всецело с необходимостью. Не бывает ли это каждый раз, когда мы из-за чуждых любви мотивов, как гордость,



выгода, честь, — покидаем обожаемое существо? Может ли любовник, принеся в жертву настоятельному долгу горячо любимую женщину, простить ей, что она скоро утешилась? Не одно только тщеславие играет роль в этом странном чувстве. И страсть проявляется в нем со всей откровенностью своего непреодолимого эгоизма! Жюльетта не могла понять, что после своего визита к госпоже Кандаль она ослабела по отношению к этой страсти вследствие того психического явления, которое отныне должно было усилить жестокие колебания ее разбитой души и сводить ее с ума беспрестанным противоречием. Разрываясь между двумя несовместимыми чувствами, она неизбежно отдавалась в своем воображении тому из двух, которым жертвовала в силу обстоятельств, тем более, что одно из них, — а именно связывавшее ее с Пуаяном, — было совершенно отрицательным и неспособным когда-нибудь дать ей хоть какую-нибудь радость. С каким укором себе она сознавалась в том в эту ночь и на следующее утро! Она не могла перенести того, чтобы Пуаян страдал из-за нее. Желая избавиться его от мук, она решила всецело отдаться ему как телом, так и душой; и теперь, когда тоска его улеглась, все ее мысли устремились к другому! Была ли она действительно чудовищем, как она крикнула это своей подруге в минуту сильнейшей тоски.

Ах, это утро, когда она впервые после такого долгого промежутка пришла в их маленькую квартирку на улице Пасси, чтобы встретиться там со своим любовником. Какая дрожь невыразимого ужаса осталась в ней на бесконечное время после этого свидания. Сколько раз после этого она видела себя подъезжающей к дому, входящей в это жилище, украшенное графом цветами, как будто он был двадцатипятилетним влюбленным, – и все остальное! Однако же драма, театром которой послужили эти таинственные стены, была очень банальной, так как таковые же происходят каждый вечер в сотнях брачных альковов, где жены, тая в сердце скрытую любовь, отдаются по обязанности мужьям, которых ненавидят смертельной ненавистью. Но в большинстве случаев расчет, толкающий их на эту отдачу, настолько силен, что поглощает в себе их ненависть, отвращение, даже грусть. Тут речь идет о том, чтобы заставить мужа признать незаконную беременность, усыпить его ревнивые подозрения или же просто заставить заплатить портнихе по чересчур большому счету. Что стоит им одолжить свое тело для такого удовольствия, которое они не разделяют, когда наряду с этим у них имеется в перспективе запретное счастье, заставляющее их заранее забывать о ненавистном и тягостном удовлетворении чувственности, столь безобразном, когда оно не со-

проводятся восторгами страсти. Но все-таки среди женщин есть и такие, которые, любя вне брака и желая оставаться верными данной клятве, не сдают этой любви. Они считают своей гордостью скрывать свое сердце даже от того, кто его смутил. И они продолжают быть верными женами, несмотря на то, что разъедающий рак страсти точит самую глубину их существа. По крайней мере такие мученицы чести и любви, если они прочтут наше повествование о продолжительной и жестокой внутренней трагедии, действительно поймут приступ грусти, жертвой которого стала Жюльетта до, во время и после этого свидания. Между тем она первая о нем заговорила и ушла после него, не сумев даже вернуть иллюзию тому, кого хотела сделать счастливым – и какой ценой! В минуту прощанья граф произнес фразу, пронзившую, точно острое ножа, сердце измученной женщины:

– Повтори мне, что ты пришла сюда не для меня, а для себя.

– Для меня, для тебя? – сказала она с дрожащей улыбкой. – Разве я отделяю твоё счастье от моего? Какие у тебя странные мысли!

– Ах! – возразил он, – в твоём взгляде столько грусти! Я слишком хорошо знаю твои глаза.

– Это – глаза немного больной подруги! – сказала она, пожимая своими тонкими плечами, с покорной

грацией слишком страдающих существ, которые уже больше не могут бороться, – но это ничего. Когда я вас увижу? Завтра? Не придете ли вы в два часа ко мне?

– Вот отлично, – сказал Пуаян, ласковым жестом притягивая ее к себе. – Вы правы. Я, действительно, какой-то безрассудный, маньяк, сумасшедший... Пришли бы вы сюда, если бы меня не любили? Простите меня...

– Простить его? – думала Жюльетта несколько минут спустя, возвращаясь домой. – Бедный друг... и как он деликатен! Пусть по крайней мере он никогда во мне больше не сомневается. Это – мой долг. Вся моя жизнь принадлежит ему. Я вступила с ним в брак перед своей совестью... Как мне тяжело скрывать от него то, что я чувствую!.. Это потому, что он меня любит... Как он меня любит!.. – Потом она невольно возвращалась к другому образу и вспоминала Казалю. – Он так же меня любит или думает, что любит. Он думает... Через пятнадцать дней он забудет эти несколько недель нашей чудной близости. Он возобновит свою разгульную жизнь. Когда перед ним будут произносить мое имя, он будет говорить себе:

– Ах! да, эта маленькая госпожа Тильер, за которой я начал ухаживать... А потом ее мать помешала мне продолжать... Итак, все кончено, кончено... – А моя чудная мечта иметь на него благотворное влияние,

вырвать его из беспорядочной жизни, придать ему ту цену, которой он действительно стоит, и помешать ему опуститься ниже!.. По крайней мере, я доказала ему, что существуют честные женщины, не позволяющие говорить себе того, чего не должны слушать. Он был со мной так прост, так безупречен!.. Честная женщина? Боже мой, если б он знал... – Она почувствовала, как покраснела под вуалью, сидя в углу извозчицкой пролетки. – Нет, я не смогу ему этого объяснить. А все-таки, если бы Генрих был свободен, он не мог бы ни в чем упрекнуть меня, и то, что я делаю, служит тому доказательством в моих собственных глазах. Этого достаточно...

Вернувшись домой, она продолжала повторять себе эти фразы, и другие в таком же роде. Ей не удалось побороть преследовавших ее мыслей, заставлявших в проблеске ясного, как сама реальность, видения думать о Казале. Мы чувствуем и рассуждаем совершенно различными способностями нашей души. Вот почему Жюльетта, как ни старалась доказать себе, что ее отношения с молодым человеком были порваны навсегда и что она должна забыть его, но все же в тот момент, когда он, как это было ей известно, должен был получить приглашение явиться на улицу Тильзит, воображение ее было всецело занято его поступками и речами. – Двенадцать часов

дня. Он, вероятно, уже вернулся из Булонского парка и получил письмо Габриеллы, если оно не было уже доставлено ему утром. Он спрашивает себя, что она хочет ему сказать. Он, может быть, думает, что речь идет о том, чтобы окончательно решить вопрос о задуманном еще на прошлой неделе катании на яхте его друга лорда Герберта... – При воспоминании об этом неудавшемся проекте воображение госпожи де Тильер рисовало ей целую картину голубой воды, ясного неба и зеленых холмов, а также часы тихой приятной беседы под равномерное движение маленького парохода, скользящего по течению реки.

– О чем ты думаешь? – спросила ее мать, сидя против нее за завтраком. – Разве ты чем-нибудь огорчена?

– Что вы, дорогая мама, что за мысль! – ответила она, вздрагивая так, будто ясные глаза старой матери читали в самой глубине ее сердца. И она тщетно старалась принудить себя улыбаться, говорить, ухаживать за этой пронцательной матерью, которая молча покачала своей седой головой, наблюдая, как бедное лицо ее дорогой дочери изменилось. Теперь оно как будто сократилось, съежилось.

Какое таинственное недомогание создало эти круги под глазами, говорившие о бессоннице, и наложило бледность на эти щеки, где, казалось, еще видне-

лись следы слез? Таила ли Жюльетта в себе горестное чувство? Подозревать свое дитя в виновности или угрызениях совести благородная госпожа Нансэ была неспособна, так же как была бы неспособна утешиться, если бы угадала правду. И это безграничное доверие матери также мучило Жюльетту, даже в ту минуту, когда сердце ее обливалось кровью стольких ран, и она жаждала одиночества, хотя и упрекала себя за это.

Там по крайней мере она могла отдаваться вихрю своих мыслей. Особенно в это утро ей было большим облегчением вернуться в маленькую гостиную, и устремив опять глаза на часы, она лихорадочно принялась высчитывать минуты, что хоть издали приобщает нас к каждому движению тех, кого мы любим, не имея возможности быть возле них, жить их жизнью и приобщаться к их ощущениям.

– Половина второго... Он у Габриеллы, она принимает его наверху, в той комнате, которая должна напоминать ему о стольких чудных часах. Они больше не вернуться... Она говорит с ним... Боже мой! лишь бы он не вообразил, что я побоялась говорить с ним сама?.. Нет. Он подумает, что это – просто признак равнодушия. Увы!.. Но поверит ли он этому? Впрочем, что мне за дело?.. Он слушает. Кто знает? Может быть, все это было для него лишь игрой, и он равнодушен к

тому, что ему говорит Габриелла. Но нет. Он меня любил и если никогда этого не говорил, то из уважения ко мне... Сколько чуткости в этом сердце, несмотря на его жизнь! Что теперь с ним будет?.. Ах как это тяжело!..

Потом, после тех бессознательных размышлений, когда мы всей душой своей как бы переносимся в душу другого человека, и после которых мы просыпаемся как от тяжелого сна, она резко прибавила:

– Четверть третьего, все кончено. Лишь бы у Габриеллы не было других гостей, чтобы она могла сейчас же приехать ко мне все рассказать... Но, звонят... Идут открывать... Это может быть только она...

Госпожа Тильер действительно запретила принимать кого бы то ни было, кроме госпожи Кандаль. И она чуть не лишилась сознания от неожиданности, когда лакей ввел того, чей звонок она с болезненной обостренностью чувств, свойственной сильному нервному напряжению, расслышала сквозь стены. Перед ней стоял сам Казаль. Она встала, чтобы броситься навстречу Габриелле. Испуг, вызванный неожиданным появлением молодого человека, был настолько силен, что она должна была сесть. У нее подкашивались ноги. Несмотря на привычку владеть собой и на то, что скрыть свое смущение было в ее интересах, она сильно побледнела, потом покраснела



и голос замер в сдавленном горле. Несмотря на все свое волнение, она с радостью заметила, что Казаль был взволнован не меньше ее. Поступок, на который он осмелился, чтобы добиться свидания с нею, также лишил его присутствия духа. Очевидно, входя в эту маленькую гостиную, он не был ни соблазнителем, как гласила о нем легенда, ни кутилой, привыкшим к мужским хитростям и изворотливости, ни испорченным легкими победами фатом, а только влюбленным со всеми неожиданными порывами искренней страсти. Если Жюльетта когда-нибудь воображала, что он играл с нею комедию, то вид его в эту минуту убедил бы ее. В истинной любви есть одна особенность, которую женщины инстинктивно чувствуют: она заключается в том, что искренне любящий человек сам страдает, если его победа куплена ценой страдания той, которую он любит.

Смущение молодой женщины, столь благоприятное для объяснения в любви, вызвало в светлых глазах этого закаленного в любовных похождениях парижанина замешательство испугавшегося своей собственной дерзости юноши, который больше боится, как бы не рассердить или не оскорбить, чем надеется на успех.

– Простите меня, – сказал он, прервав молчание, – я позволил себе ворваться к вам, воспользовавшись

именем госпожи Кандаль...

Я только что от нее, и мне хотелось сейчас же поговорить с вами... Может быть, то, что я имею вам сказать, если не оправдает, то по крайней мере объяснит мою нескромность... Но если вы хотите, чтобы я ушел, отложив этот разговор до более удобного для вас момента, то я готов повиноваться...

Он говорил покорным, застенчивым голосом. Госпожа Тильер успела овладеть собой, и у нее хватило силы взглянуть на него. Тронула ли ее искренность Казаля, хотела ли она показать ему, что не боится этого разговора, наконец, поддалась ли обаянию присутствия любимого человека, которое толкает влюбленных на путь всевозможных компромиссов, — как бы то ни было, но госпожа Тильер не поступила так, как должна была поступить, желая остаться логичной в принятом решении. Было бы так просто ответить ему: «Габриелла сказала вам все, что сказала бы вам я сама», и прибавить к этому что-нибудь такое, из чего он понял бы, что она осуждает его за визит; это сделало бы возобновление его невозможным. Вместо того она прислушивалась к своим собственным словам, отвечая молодому человеку эту короткую по содержанию, значительную по тем опасным последствиям, которые она могла повлечь за собой в настоящую минуту, фразу:

– Боже мой, признаюсь, после того, что должна была вам сказать госпожа Кандаль, я вас не ждала. Но у меня нет никаких оснований отказать выслушать вас и вам ответить, если дело касается, как я думаю, именно того немного щекотливого поручения, которое я дала Габриелле...

– Да, – продолжал молодой человек более уверенным тоном. – Вы угадали, вопрос именно в этом – и сперва позвольте мне повторить вам ответ, только что переданный мною графине. Вам нечего – должен ли я на этом настаивать – бояться с моей стороны какого-либо сопротивления с той минуты, как вы выразили желание, которое она мне передала... Я понимаю ваши сомнения, и как бы они ни были для меня тяжелы, их одобряю. Я хочу дать вам слово, что если, выслушав меня, вы все-таки будете настаивать на своем решении, то мой визит будет последним. Если вина лежит во мне и заключается в моем неумении заставить вас достаточно оценить степень моего к вам уважения и преклонения, то я могу упрекнуть вас лишь в одном: я предпочел бы, чтобы вы говорили со мной сами, не вмешивая третьего лица, даже госпожу Кандаль. Вы избавили бы меня от необходимости быть нескромным, так как я сразу сказал бы вам то, что уже давно хотел сказать...

– Ну, что же! – возразила Жюльетта, улыбаясь, – я

была неправа. – Она заранее угадывала слова, которые готовился произнести Казаль, как будто они были написаны на его губах, и заранее содрогалась всем своим существом, напрягая последние усилия, чтобы удержать разговор в полушутливом светском тоне, являющемся для женщины самой ловкой защитой. – Да, я была неправа, но вы видите, я была больна и теперь еще чувствую себя очень плохо! Разговор этот был тяжелым для вас – и почему не сказать вам правды? – тяжелым и для меня. Есть вещи, которые всегда тяжело говорить, особенно человеку, не заслужившему их... Но вы знаете мою мать, вы были ей здесь представлены. Вы знаете, что она очень далека от современности, и догадываетесь, чем становятся для нее недоброжелательные сплетни... Я не имею права вступать с ней в борьбу. Вы это тоже понимаете... А потому не усматривайте в этом какой-нибудь личной обиды, и месяцев через шесть или через год я буду опять принимать вас, как сегодня, с большим, большим уважением и с вполне искренней симпатией.

– Все это неопровержимо, – ответил Казаль, наклоня голову, – и еще раз я принимаю этот запрет... Только вот что я хочу еще прибавить... Говоря со мной так, как вы только что говорили, вы обращались к официальному Казалю – господину, представленному вам два месяца тому назад и состоящему с вами в

светских отношениях, как с госпожой де Кандаль, госпожой д'Арколь и двадцатью другими... Стали бы вы держать такую же точно речь, если бы тот, с тем вы обращались как с простым знакомым, сказал вам: с тех пор, как я вас знаю, моя жизнь совершенно изменилась. В ней не было никакой цели, теперь такая цель у меня есть. Я считал себя погибшим, сердечно изношенным, неспособным к глубокому чувству, теперь оно во мне есть. Я готовился к тому, чтобы состариться, как многие из моих товарищей между клубом и скачками, без какого-либо интереса, убивая дни за днями среди того, что у нас называют удовольствием. Теперь я вижу перед собой самый серьезный, самый высокий, самый страстный жизненный интерес... Уверю вас, что я мог бы говорить с вами так неделями и неделями, если бы события не привели нас к этому острому кризису. Между тем, чем я был в тот вечер, когда сел рядом с вами за стол у госпожи Кандаль, и тем человеком, каким я стал теперь, стоит такая любовь, какой я никогда еще не испытывал и о которой даже не мечтал, любовь, – сотканная из уважения и преданности, так же как и из страсти. Вот что я хотел сказать вам, чтобы иметь право еще прибавить: если через шесть месяцев вы разрешите мне вернуться к вам и если после этой разлуки я принесу вам то же сердце, полное той же любви, и если приду просить

вам принять мое имя и стать моей женой, ответите ли вы мне – нет?

С той минуты, как молодой человек начал говорить, госпожа Тильер приготовилась к тому, что он скажет ей: «Я вас люблю!» И, как мы видели, также приготовилась принять это объяснение шутя или же рассердившись, если Раймонд начнет выражать свои чувства в слишком пылких выражениях. Она надеялась достаточно овладеть собой, чтобы не показать ему ни малейшего волнения. Но она не подозревала, что для выражения своей страсти он найдет такие ласковые и нежные слова, а особенно, что задумает план о браке, так странно противоречащий всему, что она знала о его характере и его прошлом. Это предложение, высказанное таким человеком и в таких выражениях, красноречивее всяких уверений говорило в пользу того чувства, которое сумела ему внушить госпожа Тильер. Если бы она услышала жгучее признание, которое бы выдало его желание обладать ею, она, конечно, сейчас же нашла бы в себе силу протестовать, что спасло бы ее. На случай же упреков и требований объяснения она владела таким оружием, как легкая насмешка и присущее светской женщине умение держать себя официально. Но тут, по мере того, как речь любимого человека нежно открывала то, чего она даже не смела желать, безграничная нега вкрадывалась

в ее больную душу. Оно почувствовала, как воля ее растворялась в преступной слабости, сквозь которую с быстротой молнии вдруг промелькнула целая картина: воспоминание о Пуаяне и сегодняшнем утре. На ней было еще то платье, в котором она была на улице Пасси! Ужас, вызванный в ней ее умилением, а также воспоминанием о только что состоявшемся свидании, заставил ее понять, что она погибнет, если сейчас же не воздвигнет непреодолимой преграды между собой и тем, кто мог так переворачивать всю ее душу. Почему же все это не вызвало в ней порыва полной откровенности? Почему она не созналась Казалю в том, что не была свободна? От скольких несчастий была бы она избавлена так же, как и другие! Но женщины делают такие признания, которые иногда своим возвышенным и честным героизмом навеки лишают человека надежды, как бы он ни был влюблен, только тем, до кого им нет дела. От тех же, кого они хотят обнадеть, не переставая быть любимыми, они предпочитают во что бы то ни стало скрыть правду. И несмотря на исключительность многих черт ее характера, Жюльетта в этот момент подчинилась общему закону!

В таких случаях они изощряются, выдумывая в свою защиту какие-нибудь романтические истории, окружающие их вместе с тем ореолом.

– Вы видите, я выслушала вас до конца, сказала

Жюльетта, – несмотря на то, что имела бы право и должна была остановить вас с первого же слова... Я отвечаю вам очень ясно. При одном торжественном обстоятельстве моей жизни я поклялась, что если когда-нибудь буду иметь несчастье овдоветь, то никогда не выйду замуж вторично... Дав эту клятву, я сдержу ее.

Позднее нередко приходилось ей раскаиваться в этой лжи, под которой она подразумевала память о муже, так как кому же другому она могла дать такую клятву и при каких обстоятельствах, если не Рожеру Тильер во время его отъезда на войну в семидесятом? Ее обычная деликатность не позволяла ей вмешивать это воспоминание в такие разговоры. Но у нее не было выбора в средствах, и она главным образом заботилась о том, чтобы Казаль не напал на след ее связи с де Пуаяном, что являлось для нее, в том ложном положении, в которое она сама себя поставила, самой большой опасностью. К тому же в эту минуту она не успела бы почувствовать угрызений совести, так как видела во время разговора, как исказилось лицо того, чьи надежды она разбивала. Молодой человек пришел на улицу Матиньон с возраставшей с каждым днем в течение двух месяцев надеждой, что он любим. Ничуть не сомневаясь в правдивости предложения, под которым Жюльетта порывала их отношения и о



котором сообщила ему госпожа Кандаль, сам он был вполне искренен, говоря с госпожой де Тильер так, как говорил. Ему казалось, что всем поведением Жюльетты с ним руководили два факта: во-первых, страстный интерес к нему, а, во-вторых, борьба с этой страстью из-за возбужденного в ней д'Авансоном на другой же день их встречи недоверия, по-видимому, усиленного злыми толками. Он не предполагал, что она так ясно ответит ему на его вопрос, и готовился услышать фразу, которая в той степени экзальтированного сентиментализма, в которой он находился, могла бы оказаться для него достаточной, чтобы перенести разлуку и изгнание. Он ждал, что она скажет ему: «Вернитесь через шесть месяцев, и только тогда я поговорю с вами...» Он уже распределил себе занятия на эти шесть месяцев, которые готовился провести опять на море с Гербертом Боуном. Он был так уверен, что вернется с той же любовью в сердце и теми же словами на устах, и так уверен, что и Жюльетта с ее характером до тех пор не изменится! Как все презиращающие женщин мужчины, поддающиеся очарованию одной из них, он отделял госпожу Тильер от всего того, чему научила его опытность, и инстинктивно верил в существование у нее того, что отрицал у других. Таким образом, он ни минуты не сомневался в открытом ему таинственном и романическом обете, сразу раз-

рушавшем воздвигнутые в его мечтах воздушные замки. Как он посмеялся бы прежде над товарищем, поверившим без колебаний в такую удивительно просто выдуманную историю! Но в конце концов поверить в нее не было для него чем-то более необычным, чем мечтать о браке. Он говорил правду. Мысль жениться на госпоже де Тильер давно уже жила в нем. Она зародилась от уверенности, что эта женщина никогда не имела, не будет иметь и не могла иметь любовника, а также от другой уверенности, что он, Раймонд, тоже никогда не испытывал и не мог испытывать того, что испытывал в ее присутствии. Несмотря на силу чувства, питаемых им к Жюльетте, он сохранял в себе тот особый такт, благодаря которому мужчина понимает, в какую минуту он должен настаивать или же делать вид, что уступает. Со свойственной ему проныцательностью он заметил, как сильно была смущена госпожа Тильер, а также, что смущение это могло перейти в возмущение, если только он попытался бы с ней бороться. Наоборот, подчиняясь, он сохранял за собой возможность возвращения и шансы на возобновление разговора на другой почве в том случае, если бы при прощании она подхватила какое-нибудь сказанное им слово. Но надо отдать ему справедливость: все это не являлось у него результатом ясного расчета. Он сам был слишком расстроен, чтобы так

ясно рассуждать. Привыкшие к приключениям мужчины, а также много размышлявшие о любви люди похожи на долго упражнявшихся и искусно производящих маневры, Даже под огнем неприятеля, солдат.

– Итак, – сказал он, вставая, – при таких обстоятельствах мне остается только проститься с вами навсегда. Я знаю, что мне теперь осталось делать...

Она тоже встала. Ее несчастные нервы были так взвинчены, а мысль так напряжена, что слова молодого человека показались ей зловещим решением.

– Что? – невольно воскликнула она, – Вы не уйдете отсюда, не дав мне клятву...

– Что я не застрелюсь, – ответил Казаль с оттенком иронии. – У вас промелькнула эта мысль... Нет, не бойтесь, у вас на совести не будет моей смерти... Я просто хотел сказать, что мне остается возобновить мою прежнюю жизнь. Она меня никогда не забавляла, она и не будет меня забавлять, а поможет мне вас забыть... Но позвольте мне дать вам последний совет, – прибавил он, глядя на нее суровыми глазами. – Никогда больше не играйте мужским сердцем, даже если вам говорили много дурного про этого мужчину; во-первых, это не честно, а во-вторых, вы рискуете напасть на кого-нибудь, кто вздумал бы отомстить вам, заметив вашу игру. Уверяю вас, что не все меня стоят, что бы ни думали обо мне ваши друзья.

– Я! – сказала она, – играла с вами!..

– Я играла с вами! – повторила она более тихим голосом. – Вы этого не думаете... Вы не можете этого думать...

Произнося эти слова, она приблизилась к нему. Заметив ее движение, он взял ее руку, и она руки не отняла. Эта маленькая ручка, которую он медленно сжал в своей, горела, как в лихорадке. Он притянул к себе Жюльетту, и она даже не защищалась. Она изнемогала, в минуту разлуки с ним ее мужество ее покидало. Теперь он говорил с ней захватывающим и страстным голосом:

– Ну, хорошо! нет, – шептал он, – нет, вы не играли мной; да, вы были искренни с первого дня и до сегодняшнего; нет, вы не были кокеткой... Вы – не кокетка. А если вы не играли со мной, то знаете ли, что это значит?... Ах, дайте мне сказать вам это. Гордячка вы такая, вы хотите бороться с очевидностью; вы догадались о моем чувстве, и оно трогало вас, вы разделяете его – значит меня любите... Не отвечайте мне – вы меня любите! В эти последние недели я это часто чувствовал, а так же почувствовал сейчас, входя сюда. В эту секунду, после сомнений, я опять это живо чувствую; Простите меня... И молчите... Дайте мне повторить вам: мы любим друг друга. Я хорошо понимаю, кому и в какую минуту вы поклялись не выходить

вторично замуж, но как могут бороться со страстью детские обещания, которых мы не имеем право ни давать, ни требовать, так как не имеем права клясться в том, что не будем жить, не будем дышать и навсегда закроем свою душу свету, небу и любви.

Эти фразы, произносимые в такие минуты всеми любовниками и не банальные только потому, что передают нам нечто бессмертно правдивое, а именно инстинктивный порыв к счастью, Раймонд говорил, приблизив свое лицо к лицу Жюльетты. Он притянул ее к себе еще ближе и почувствовал, как белокурая головка молодой женщины опустилась на его плечо. Он наклонился над ней, чтобы поцеловать ее. Но страх ему помешал... Глаза ее были закрыты, и мертвенная бледность покрывала ее лицо. Чрезмерное волнение лишило ее сознания. Испуганный ее бледностью и ища флакон с английской солью, он взял ее на руки и отнес на кушетку. Таким образом, прошло пять минут ужасной для него тоски. Наконец, она открыла глаза, провела руками по лбу и, увидев Казалю, стоявшего перед ней на коленях, с ужасом очнулась. С безумной силой сознание положения охватило ее и, отшатнув его, она со страхом сказала:

– Уходите, уходите. Вы дали мне слово повиноваться... Ах! Вы меня убиваете.

Он хотел говорить, взять ее руки, но она повторила:

– Вы дали мне слово, уходите... Не успел он еще ответить ей, как она нажала кнопку электрического звонка, валявшуюся на столе среди безделушек. Заметив этот жест, молодой человек должен был встать. Вошел лакей:

– Простите меня, – сказала госпожа Тильер. – я слишком плохо себя чувствую и должна вас покинуть... Франц, проводив Казалю, пошлите мне горничную. Я себя очень плохо чувствую...

# Глава IX

## Казаль ревнует

Много смеялись над людьми, вообразившими себя знатоками женщин, доказывая им, что в жизни каждого человека встречаются такие дни, когда эта опытность становится ни на что не пригодной. Действительно, она нисколько не препятствует тому, чтобы иллюзия, символизированная язычниками в классическом образе повязки Амура, рано или поздно овладела самыми скептически настроенными людьми; как только сердце оказывается в плену, Дон Жуан ведет себя с наивностью Фортунно, а такой человек, как Раймонд Казаль, с безумной застенчивостью делает предложение женщине, которая уже столько лет была любовницей другого. Может быть, это необыкновенное явление и служит подтверждением того, что любовь подобна внушению. Гипнотизер кладет книгу в руку усыпленного. Он говорит ему: Понюхайте эту розу, – загипнотизированный подносит книгу к лицу, на котором разливается блаженство человека, сорвавшего во время прогулки чудный цветок и с жадностью вдыхающий его нежный аромат. Женщина, которую мы любим, рассказывает нам самые странные

романические истории; и из ее обожаемых уст мы, как святую истину, благоговейно принимаем такие рассказы, которые заставили бы нас только пожать плечами, если бы исходили от кого-нибудь другого. Сходство это тем более поразительно, что подобное состояние иллюзии чаще всего рассеивается мгновенно, как гипнотический сон. Легкое дуновение на закрытые веки пробуждает спящего. Достаточно иногда, чтобы незначительное обстоятельство коснулось надлежащей точки, – и влюбленный начинает бороться со своей доверчивостью с силой скептицизма, равносильной этой самой доверчивости. В продолжение всего объяснения, на которое наконец решился Казаль, он ни минуты не сомневался в правдивости госпожи Тильер. Он поверил и тому, что мать сделала ей замечание, и тому, что она дала таинственную клятву никогда больше не выходить замуж. Если бы Жюльетта, во избежание столкновения его с Пуаяном, придумала какие угодно предлоги, даже самые невероятные, то и тогда бы у этого прежнего любовника госпожи Корсьё, Кристины Анру и множества других женщин не было бы, и намека, и тени сомнения. Магнетическая сила, исходившая от молодой женщины, имела над ним такую власть, что ни в тот день, когда произошла описанная нами сцена, ни на следующий день, ни на третий он, обладавший обычно боль-



шой твердостью и ясностью духа, не мог остановиться ни на каком решении. Из этого разговора он вынес две очевидные и несомненные уверенности: во-первых, что Жюльетта любила его, а, во-вторых, что она не хотела его принимать; но он и не думал даже о том, чтобы воспользоваться ее любовью для борьбы с принятым ею решением, пред которым преклонялся – как школьник на каникулах, отступающий перед ловко разыгранным раскаянием какой-нибудь тетушки, умело вскружившей ему голову. Наконец, он тоже любил и любил в первый раз, почему пробуждение его должно было быть еще более ужасным.

Прошло уже три дня с тех пор, как молодой человек покинул улицу Матиньон, с тех пор, как держал на своих руках Жюльетту в обмороке, не прильнув даже к ее лихорадочно бледным губам, над которыми наклонился для поцелуя, – эти три дня прошли для него в невыносимой тоске противоречивых желаний и порывов, в попытках набросать черновики писем, тотчас же перечеркнутых и разорванных.

– А что будет, если я попытаюсь напомнить о себе? Она дурно подумает обо мне, вот и все... – рассуждал он.

Существует молчаливо принятый кодекс джентльменства, устанавливающий в некоторых слоях общества отношения мужчин и женщин. Этот кодекс нала-

гает на влюбленного, ничего не достигшего в своих ухаживаниях и потому не имеющего, как казалось бы, никаких обязанностей, такие же обязательства, как и на любовника, имеющего все права. Выходит так, что второй при унижительной для него измене должен молчать и не мстить за себя, первый же, получив отказ, не беспокоить своей назойливостью женщину, не желающую больше принимать его у себя. Как бы ни были несправедливы, с точки зрения страсти, эти условные правила, выгодные исключительно для женщин, мужчина, дорожа уважением той, которую любит, всегда им подчиняется. Какие бы страдания ни причиняла Казалю эта решительная мера, он, вероятно, продолжал бы еще страдать целыми неделями, не имея даже возможности действовать, если бы его уединение не было нарушено одним незначительным случаем, произведшим на него впечатление внезапного дуновения, которое, коснувшись век усыпленного, может уничтожить чары гипноза. О, очень незначительный случай, очень простой и совершенно ничтожный; но разве есть что-нибудь ничтожное для сердца, терзаемого сожалением? Было около двух часов дня, и Раймонд, принявший приглашение завтракать вместе с Мозе в Английском кафе, – этот завтрак был предложен одному иностранному принцу, случайно проезжавшему через Париж, – позавтракав, возвра-

щался домой пешком. Он принял приглашение хитрого Мозе, просто чтобы не остаться одному со своими мыслями, и скоро ушел под каким-то предлогом, чтобы снова отдаться этим проклятым мыслям. Таковы все несчастные влюбленные. Они бегут своего горя, так же как и его забвения, будучи одинаково бессильными переносить самих себя, – все равно больны ли они, или исцелились от своего недуга. Молодой человек – о, падение короля кутящей молодежи, превратившегося в препровожденного воздыхателя, – шел вдоль тротуара улицы Мира и для чего же? Для того, чтобы бегло осмотреть по очереди кареты и магазины, в смутной ребяческой надежде увидеть мельком женщину, о которой он только и думал... Его сердце учащенно забилося, он вдруг заметил гнедую лошадь, кучера и выездного лакея Жюльетты – того самого лакея, который проводил его до дверей при последнем свидании. Карета свернула с улицы Капуцинов. Замедленное движение экипажей дало ему возможность поравняться с каретой настолько, что госпожа Тильер никак не могла избежать его поклона. Кто знает? Может быть, увидев его подстерегающим ее проезд на углу улицы, она будет растрогана таким зрелищем, а для него увидеть ее хоть на полминуты было бы счастьем. Но вот в узком окошке вместо тонкого профиля Жюльетты, ее прекрасных глу-

боких темно-голубых глаз, бледных, нежных щек он увидел морщинистое лицо, суровый взгляд и седые волосы госпожи де Нансэ, этой недоверчивой матери, закрывшей перед ним двери салона улицы Матиньон. Старая дама его тоже узнала, и он с изумлением увидел в ответ на свое неизбежное приветствие самый любезный наклон головы, ласковый взгляд серых глаз и дружескую улыбку вместо печальной складки на губах. Парижанин не ошибается в значении подобных пустяков, в которых старая или молодая женщина умеет выразить всю свою симпатию или недружелюбие, равнодушие или ненависть, – словом, тысячу оттенков. При нескольких встречах Казаля с госпожой Нансэ он ей очень понравился: потому ли, что ее тронула скромная услужливость молодого человека, или она догадалась инстинктивно о высоком чувстве Раймонда к Жюльетте, или же, наконец, узнав от госпожи Кандаль вопреки рассказам д'Авансона много хорошего о Казале, она видела в нем подходящего мужа для своей дочери. Но для Раймонда, верившего в рассказ, будто эта встревоженная мать предубеждена против него, такой любезный и приветливый поклон был совершенно непонятным. Его контраст с тем, что сказала ему сперва госпожа Кандаль, а потом и Жюльетта, был слишком ярким, чтобы не удивить человека, обладавшего таким здравым смыслом, как он.

– Странно – подумал Казаль, – почему она так любезно мне кланяется после того, как сама же потребовала, чтобы меня не принимали на улице Матиньон?.. Если это лицемерие, то оно совершенно излишне... Ведь я же не был одурачен какой-то фантазмагорией. – Я только что видел ее с еще более приветливым лицом, чем пятнадцать дней тому назад, когда в последний раз встретился с ней у госпожи Тильер... Это бессмыслица...

В ту минуту, когда он мысленно произносил эту фразу, невольно пожимая плечами, он проходил мимо клуба «Дудки». Он прямо прошел в фехтовальную залу; будучи даже так сильно расстроенным, он не оставлял своего принципа постоянной тренировки и решил заглушить свою душевную тревогу физическим утомлением. Но напрасно он яростно предавался своему любимому спорту, поражая своих противников одного за другим с таким ожесточением, как будто это были его соперники возле Жюльетты, – мысли о только что поразившей его неожиданности не давали ему покоя. При логическом распутывании мыслей в нас работает какая-то сила без нашего ведома; подчас мы совершенно теряемся, когда, очнувшись, убеждаемся, как далеко мы удалились, сами того не подозревая, от исходного пункта наших размышлений. Фраза – «это бессмыслица», преследовавшая

его до фехтования, разрешилась следующим монологом, когда Раймонд вторично переступил порог клуба, чтобы вернуться на улицу Лиссабон:

– Нечего говорить, мой прекрасный друг, – сказал он себе, – госпожа Нансэ против меня ничего не имеет, абсолютно ничего... Это совершенно ясно после ее поклона. Впрочем, о чем же я думал, допуская, что осторожная мать, знающая жизнь, может требовать от дочери совершенно не принимать человека под тем предлогом, что он может ее скомпрометировать? Как будто такая резкая перемена привычек не скомпрометирует еще больше молодой женщины в глазах бывающих в ее доме друзей и в глазах прислуги?.. Так, значит, этот разговор со старой дамой был лишь предлогом?.. Госпожа Тильер изобрела это средство, чтобы больше меня не видеть?.. Эта ловкость на нее не похожа – на нее, такую прямую, простую и правдивую... Если только...

Несколько минут он колебался перед новым предположением. Оно было для него ужасно мучительным. Ему казалось, что Жюльетта солгала ему, а когда женщина солгала вам в одном, то нет основания думать, что она не лгала и во многом другом. В прекрасном и глубоком исследовании ревности, которое дал нам Шекспир в «Отелло», этот несравненный аналитик не преминул отметить влияние аналогии на по-

дозревание. Первая капля болезненного яда была привита в сердце мавра фразой Бранбанцио: «Она обманула отца. И могла бы также обмануть и тебя...» А Яго настаивает: «Она обманула отца, выходя за вас замуж...» Все мужчины, которые любят, знают, что первое подозрение обозначает переход за черту, из-за которой нет возврата. Вот почему почти животный инстинкт часто толкает их на нежелание признать первую ложь. Они предпочитают со смутным, невыраженным чувством в сердце не знать, что существует нечто такое, чего можно доискаться. Казаль обладал слишком мужественным умом, чтобы не предпочитать самую горькую правду самой приятной иллюзии, и продолжал свои размышления.

– Если только?.. Ну, что же! Почему же нет? Если только она меня просто не провела? Люди поумнее меня были обмануты женщинами, не имевшими ни таких глаз, ни такой улыбки, ни такого голоса, ни таких манер... Кстати, вполне естественно, что она мне солгала, так как не желала меня больше принимать, а я не давал ей ни малейшего к тому повода... Но почему же меня больше не принимать? Из-за этой клятвы? Клятвы, данной мужу перед отъездом на войну?.. История эта также не имеет большого смысла. Когда я начал за ней ухаживать, она отлично это заметила. Я мог хотеть от нее лишь двух вещей: или сделаться

ее любовником, или жениться на ней... Любовником? Нет, она этого не думала. Иначе сейчас же закрыла бы мне свою дверь, так как решила не быть моей любовницей. По крайней мере ее настоящий поступок доказывает это неопровержимо. Но тогда она должна была предвидеть, что не сегодня, завтра я попрошу ее руки. Клятва уже существовала, – если она действительно была дана, – а Жюльетта меня поощряла... Если клятва действительно существует?.. А если нет и она является лишь таким же предлогом, как и разговор с матерью? Тогда, что же кроется в основе этого внезапного разрыва?.. Неужели, господин Казаль, вас просто одурачили?

Этот возврат к тривиальным выражениям в таком рассуждении, которое касалось Жюльетты, доказывал, что вновь воскрес прежний Казаль, каким он был до визитов на улицу Матиньон, когда, например, выходя из отеля Кандаль, он говорил себе: «А с кем может быть эта маленькая женщина?» – Это означало также, что исчез навсегда, конечно, тот сентиментальный Раймонд, который в течение нескольких недель пел романс в честь своей дамы с невинностью разнеженного херувима... Маленькое дуновение прошло по глазам этого загипнотизированного человека. Кризис первого разочарования был настолько тяжел, что вечером Казалю пришлось искать самозабвения в ал-



коголе, и к двенадцати часам ночи лорд Герберт и Казаль еле могли думать и говорить, так они «нагрузились», как говорил англичанин, употребляя метафору, излюбленную яхтсменами. Для таких попок трудно было найти лучшего компаньона, чем Боун, так как он принадлежал к числу тех молчаливых пьяниц, которые, напиваясь методически, продолжают держаться так же прямо, как солдаты на параде. С ним Казаль не подвергался риску быть слишком откровенным. В эти минуты англичанин не мог ни слушать, ни отвечать. Какое видение стояло перед голубыми очами этого потомка морских королей? Каким образом дошел он до того, что возвел свою страсть к wisky в систему настолько, что мог сосчитать все ночи этой зимы, когда он вернулся домой с ясным сознанием?

Единственный человек в мире, которого он любил, был Казаль. Но за что? Возможно ли, что страсть к пьянству и дружба с Казалем были следствием одной и той же причины? В молодости Герберт был любовником женщины, обманывавшей его со всем Парижем, и которую Казаль отверг из-за своего товарища. Знал ли об этом последний? Они никогда не объяснялись по этому поводу. Нельзя сомневаться в том, что, несмотря на видимое отупение от пьянства, в нем было еще достаточно ясности, чтобы догадаться о всем происходившем в душе его единственного дру-

га. В минуту прощания с ним Боун совершенно особенным образом пожал ему руку, приведя несколько слов одного из поэтов своей родины: «She was false as water»... И это «фальшива, как вода» являлось в его устах сильным оскорблением, так как он питал к воде полное презрение и хвастался, что никогда не употреблял ее кроме как для ванны. Несомненно также, что этот совет не доверять женщине, высказанный в такой форме его товарищем по оргиям, слишком отвечал мучительным мыслям Раймонда, так как ему пришлось напрячь всю свою волю, чтобы не поддаться тому пьяному умилению, которое вызывает столько непоправимых признаний.

– Герберт прав, – думал он на другое утро, проезжая верхом на Темерере по самым пустынным аллеям Булонского парка. Серое небо окончательно взвинтило его и без того уже натянутые вчерашней попойкой нервы: «Самые лучшие ничего не стоят... Но эта – все же лицемерка!.. Да, потому что очень правдоподобно солгала мне в двух пунктах... За этим разрывом что-то кроется... Но что?»

Он не хотел ответить себе и ясно произнести слово, терзавшее его душу. Он предугадывал, что такая внезапная решимость Жюльетты по отношению к нему объяснялась исключительно влиянием на нее другого мужчины, и эта мысль была для него невыноси-

мой. В результате этой внутренней бури бедный Теме-  
рер вернулся в конюшню весь взмыленный и разби-  
тый усиленной ездой, к великому огорчению пристав-  
ленного к нему грума. Сам же Казаль около двух ча-  
сов опять направился к улице Матиньон. Зачем? Он  
заранее знал, что госпожа Тильер наверно и оконча-  
тельно отказала ему от дома, но он чувствовал насто-  
ятельную потребность убедиться в этом еще раз. Он  
рассчитывал также, что из тысячи у него может быть  
только один шанс на то, что она не посмеет еще дать  
приказание его не принимать. В таком случае он уви-  
дит ее и вырвет у нее истинное признание причины,  
сразу побудившей ее к такому скачку в их отношени-  
ях. С волнением и самой томительной тоской увидел  
он угол этой улицы и длинную ограду сада, окаймляв-  
шую с этой стороны фасад дома. Не сказав ничего  
швейцару, он прошел прямо к маленькому крыльцу,  
защищенному стеклянной будкой. Сила желания бы-  
ла в нем так горяча, – а мы всегда так готовы верить  
в то, чего сильно желаем, – что он был горько разоча-  
рован, когда лакей с непроницаемым лицом ответил  
ему:

– Маркизы нет дома...

«Я должен был этого ожидать, – сказал себе Ка-  
заль, – и приходиться выслушивать это, значит, не иметь  
гордости».

С этой мыслью он пошел обратно тоскливой походкой человека, не имеющего перед собой никакой цели, как вдруг, рассматривая улицу острым взглядом, действующим совершенно механически у охотников, рыболовов, фехтовальщиков и вообще всех людей, постоянно и подробно наблюдающих за всем, что происходит вокруг них и перед ними, он увидел на другом тротуаре господина, который шел в противоположную сторону и которого он сначала не узнал, хотя нерешительно обменялся с ним поклоном.

– Ах, черт возьми, – вдруг вспомнил он, – да это граф Генрих де Пуаян... Да, да... Он хорош с госпожой де Тильер... Я помню, что слышал, как госпожа Тильер или Кандаль, не знаю, говорили, что он возвращается на этих днях... Может быть, он идет к ней... Посмотрим, примут ли его... Если да, то мне уже нечего сомневаться: дверь закрыта только для меня...

Он обернулся, следя глазами за тем, в ком еще не подозревал соперника, и увидел, что Пуаян, стоя на пороге дома госпожи Тильер, обернулся, в свою очередь, также следя за ним глазами. Несколько секунд оба они неподвижно разглядывали друг друга. Потом граф открыл дверь и больше не возвращался.

– Так и есть, – подумал Казаль... – Она его принимает, а меня нет... Но почему же, черт возьми, он обратил на меня такое внимание? В то время когда мы

встречались у Полины де Корсьё, мы почти не говорили друг с другом, и я еле существовал для него, между тем как теперь... Не рассказала ли ему госпожа Тильер, что запретила меня принимать? В каких они отношениях? Это – единственный из ее друзей, которого я не видел вместе с нею... Мы о нем говорили. При каких обстоятельствах?

Он вспомнил вдруг с поразительной ясностью одну маленькую сценку, тогда им незамеченную; ко теперь встреча у этой двери внезапно воскресила ее в поле его внутреннего зрения с такой ясностью, как будто она произошла лишь вчера. Это было у госпожи Кандаль. Жюльетта была весела и смеялась. Графиня случайно произнесла имя великого оратора монархиста, и Казаль начал его высмеивать. С обычным ему тактом он сейчас же почувствовал, что стал на неверный путь, так как обе подруги не подхватили ни одного его слова, а госпожа де Тильер вдруг нахмурила брови. Потом разговор перешел на другую тему, но молодая женщина вмешивалась уже в него только рассеянно. Казаль припомнил даже и это обстоятельство. Какое отношение связывало его настоящие мысли с тем впечатлением? Он не отдавал себе в том отчета, но образ Пуаяна, стоявшего на пороге Жюльетты и сопровождавшего его, прогнанного, своим взглядом, преследовал его в течение всего остального дня, про-

веденного за игрой в мяч в Тюильри.

Встретив там молодого маркиза Ла Моль, такого же правого депутата, как и Генрих, он спросил его:

– Ты знаешь Пуаяна, Норберт?

– Отлично. А зачем тебе это?

– Потому что на этих днях я должен с ним обедать. А что это за человек?

– Талант, но... – молодой человек изобразил своим отбойником бреющего вам лицо брадобрёя... – высокой цены...

– А по отношениям к женщинам?

– Предопределенный... Ты знаешь, жена его бросила и живет во Флоренции с одним из Бонивэ, как мне говорили... Что же касается до него, то мы не знаем ни одной его любовницы... Хотя, прибавил он, смеясь, – я когда-то думал, что госпожа Кандаль им очень интересуется... Она бывала на трибунах каждый раз, когда он должен был говорить с одной из своих подруг, которую иногда можно видеть в ее бенуаре в Опере, – такая блондинка, немного безжизненная, но с чудными глазами. Ты не догадываешься?

– Совершенно нет, – ответил Раймонд, узнав в этом быстром наброске госпожу Тильер. – Но, – прибавил он, – мы должны были обедать вместе именно у госпожи Кандаль. Только он куда-то уезжал, и все было отложено...

– Он вернулся дня четыре или пять тому назад, – продолжал Ла Моль, – мы участвуем с ним в одной комиссии... Он ездил в Дубе для агитации, которая ему не удалась...

Конец разговора этих двух артистов в искусстве поддавать мячи бы прерван началом новой партии, в которой Раймонд делал ошибку за ошибкой. Он снова попал на ясные следы мучительных подозрений и чувствовал, что у него не хватит силы не пойти по ним сейчас же. У всякого человека, в котором пробуждается подозрительность, является обостренность и напряженность чувств, аналогичные инстинкту выступившего в поход дикаря, от которого не ускользает ни помятая травка, ни сломанная ветка, ни зацепившаяся за куст нитка, ни смещенная с места поспешным шагом камушек. Как быстро шел он, руководствуясь ничтожными признаками, по фатальной дороге!

Встреча с госпожой Нансэ заставила его усомниться в правдивости выдуманного Жюльеттой предлога. Это первое сомнение привело его ко второму – сомнению в таинственной клятве, – и он сомневался даже во всем характере той, в которую так верил в течение этих двух месяцев; наконец, взгляд, которым он обменялся с Пуаяном, привлек его внимание на этого таинственного друга госпожи Тильер. Узнать, что граф не имел никакой известной любовницы, что Жюльет-

та прилежно следила за речами знаменитого оратора и, наконец, что возвращение этого лица точно совпало с его изгнанием, – не было ли всего этого достаточно, чтобы вызвать второй кризис ревнивого воображения? Его опытность парижанина, так долго усыпляемая чарами новой любви, должна была усилить этот кризис. Он слишком много пожил и не мог не знать, что с женщинами все всегда возможно; а все-таки Жюльетта была ему настолько дорога, что такая мысль – «у нее есть любовник» – казалась ему чем-то чудовищным. И после разговора за игрой в мяч, лежа на одном из диванов маленькой гостиной, отравляясь, против своего обыкновения, табаком и тяготясь присутствием даже Герберта Боуна, он рассуждал сам с собой:

– Да, за этим решением скрывается мужчина... Это слишком ясно, слишком очевидно и слишком неопровержимо... Если Жюльетта просто не попросила меня реже бывать у нее, нужно, чтобы кто-нибудь сказал ей:

– Он или я... И этот кто-то – Пуаян? Предупрежденный кем? Да, конечно, д'Авансоном, это само собой разумеется. Еще на днях он так смотрел на меня... Я его поддену, в свою очередь, в клубе, этого перелетника... Итак, значит, Пуаян имеет у нее свою пристань... Он прижал ее к стене. Но по какому праву,



если он не ее любовник? У нее нет любовника. Нет. У нее нет. Или же это такая шельма, какой я еще не встречал... Не может быть!

И он попробовал бороться со своим собственным страданием.

– А, может быть, она просто «зажигалка»? – Оскверняя свое чувство этим отвратительным выражением, он испытывал жестокое наслаждение. – Ее забавляло заставить меня, Казалю, валяться у ее маленьких ног из-за всего того, что ей про меня наговорили... Она была незанята этой весной. Я служил ей временным развлечением. Тот, настоящий, вернулся... И мне все преподнесли: и старую мать, и клятву, и призрак покойного мужа, я все проглотил – и шутка сыграна... Ну, нет! Она была искренна. Для того, чтобы проникнуть к ней в самом начале, потребовались крест и знамя... Как она побледнела во время моего первого визита, а потом покраснела, потом ее манера держаться в Опере, потом у госпожи де Кандаля, потом опять у нее – все это было так естественно с ее стороны, так неподдельно... А ее грусть за последнее время? Что, если она любовница Пуаяна и, любя меня, не может его покинуть по какой-нибудь причине? Это вполне возможно. Любовница Пуаяна?

С бесконечной грустью повторял он эти слова, и если, думая о Жюльетте, он употреблял грубые выраже-

ния, то потому, что вновь нашел в своей лихорадочной подозрительности ту способность осквернять ее образ, от которого он было отказался с первого же дня. Он делал над собой усилие, чтобы себе представить ее в подробностях любовного свидания, и это видение до безумия возбуждало его внутреннее волнение:

– Это не может так продолжаться, – заключил он после стольких размышлений, – я хочу знать и узнаю...

Сколько мужей, сколько любовников, мучимых таким образом страхом сомнения, столь же тоскливым, как и страх смерти, произносили ту же самую фразу и стремились к той же неразрешимой задаче! Знать, иметь доказательство, какое бы оно ни было, лишь бы оно дало возможность понять то существо, из-за которого страдаешь, – вот что является для ревнивца такую же мечтой, как для путешественника по пустыне – вода, для бродяги – дом, а для погибающего моряка – твердая земля. По странной нелогичности страсти, самым сильным желанием несчастного, страдающего подозрительностью, является стремление – наверное узнать тот самый факт, одно представление о коем приводит его в отчаяние. Именно в такие минуты совершаются подлости, обнаруживающие преступную подкладку всякого раздраженного сердца. Подсматривать, распечатывать письма, срывать замки – подозрение все допускает, на все решается. Первой мыс-

люлю Казалья было прибегнуть для выслеживания госпожи Тильер к помощи одного из тех частных сыщиков, чье существование, почти открыто признаваемое всеми, является позором современного Парижа.

Но молодого человека глубоко возмутила самая мысль открыть имя женщины, которую он, несмотря на свои подозрения, так горячо любил, гнусным исполнителям тех подлых поручений, которые даются ревнивцами. Он обладал врожденной прямоотой, которая вновь пробуждается в нас в трагические минуты жизни и возмущается низостью некоторых компромиссов. Рассмотрев всесторонне вопрос об отношениях Жюльетты и Пуаяна, Раймонд пришел к заключению, что госпожа де Кандаль должна была знать правду. Она была также единственным человеком, с которым он мог свободной действовать. Но как вывести у этого благородного друга тайну, которую она должна была охранять с еще большей твердостью, чем свою собственную? Вот способ, на котором он остановился после сосредоточенных размышлений, которые перед бесконечно сложной задачей заставляют вас остановиться на простом и часто самом верном решении. Кандаль действительно любила госпожу Тильер. Допуская существование тайной связи между своей подругой и Пуаяном, она, вероятно, с тоской спрашивала себя, не подозревал ли об этом Раймонд.

При таких условиях он мог наверное взволновать ее, сказав ей прямо: «Я все знаю...» Потом, воспользовавшись ее потрясением, назвать имя кого-нибудь, кто был в безусловно невинных отношениях с Жюльеттой. Графиня начнет ее защищать. В эту минуту нужно будет назвать Пуаяна и посмотреть, будет ли вторая защита совершенно такой же, как первая. Как бы ни владела собой молодая женщина, но было много шансов на то, что она смутится и горячее начнет отрицать то обвинение, которое и окажется правильным. Этот план показался ему настолько искусным, что он решил сегодня же привести его в исполнение, и в два часа входил в гостиную улицы Тильзит, где провел в разговоре с госпожой Кандаль и ее другом такие сладостные часы. При этом воспоминании ему стало больно видеть эту знакомую комнату, расположение мебели, бюст старого маршала и сидевшую в своем любимом кресле Габриеллу, которая была не одна. У нее сидел Альфред Мозе, и одно обстоятельство покажет нам, насколько Раймонд в это время был нравственно расстроен: справедливо считая внука знаменитого банкира самым тонким и не поддающимся обману человеком, он еле мог скрыть свое неудовольствие, встретив здесь третье лицо, ставшее между ним и графиней. К счастью, Мозе в своем светском поведении обладал самым тонким тактом и по-

сле прихода нового гостя просидел не больше десяти минут, чего было вполне достаточно, чтобы не показать, что он чувствовал себя лишним. Попытка госпожи Кандаль удержать его все-таки обманула его, так как он счел ее притворной, между тем как бедная женщина, испугавшись глаз Раймонда, действительно боялась остаться вдвоем с ним.

– Эге!.. – сказал себя Альфред, спускаясь с лестницы, – уж нет ли чего между хорошенькой графиней и Раймондом?

В то время как этот тонкий наблюдатель и настолько же ловкий дипломат в соблюдении своих интересов, насколько д'Авансон не был таковым, перебирал в своем уме разные наблюдения, которые могли бы дать какое-нибудь основание его предположению, Казаль уже начал свою атаку, которая не без основания казалась ему самым верным: способом для того, чтобы выведать тайну, обладание которой, как он думал, сразу убьет его любовь. Он дал себя клятву, что если получит доказательства существования интриги между Пуаяном и Жюльеттой, то станет смотреть на последнюю как на умершую для себя. И не будет думать о ней с большим волнением, чем о какой-нибудь маленькой актрисе или о девушке, которая обманула его.

– Знаете ли вы, – сказал он, когда дверь закрылась

за тонким силуэтом Мозе, и после того непродолжительного молчания, которое иногда наступает в насыщенных грозою тет-а-тет, знаете ли вы, что с вашей стороны и со стороны госпожи Тильер было очень не мило так надсмеяться надо мной, как вы это сделали?..

Он произнес эту фразу самым равнодушным тоном человека, ставшего жертвой мистификации, которую он обнаружил и за которую собирается отплатить тем же. Но при этом он не мог изменить выражения своих светлых глаз, ставших теперь еще более суровыми, чем в ту минуту, когда он вошел, и Габриелла со странной тревогой ответила ему:

– Объяснитесь. А потом, – прибавила она, – бросьте ваш насмешливый вид: вы знаете, что он совершенно неуместен, когда дело касается меня или моей подруги...

На всякий случай мужественная и гордая маленькая графиня приготовилась рассердиться, чтобы сразу оборвать разговор, если бы он принял тот оборот, которого она больше всего боялась. Очевидно, Казаль что-то подозревал, но что именно?

– Нет, – ответил Раймонд, – вы были очень не милы. Зачем вы вздумали примешивать ко всей этой истории госпожу Нансэ, когда ваша подруга могла так просто сказать мне: – «Вы – благородный человек, и

я полагаюсь на вашу честь... Я не свободна. Бывая у меня, вы меня стесняете и вносите смятение во всю мою жизнь. Больше не приходите!»

– Вы продолжаете говорить загадками, – сказала госпожа Кандаль, сдвигая брови и беря со стола начатую работу, – но это, может быть, лучше... Вы пренебрегали мною все эти дни, вы вернулись к вашей компании, и я очень боюсь, что, придя сюда сегодня, вы ошиблись адресом.

– Хорошо, – ответил он все более и более резким тоном, – так как вы хотите, чтобы я вам над і поставил точку, то я пойду прямо к цели... Я знаю, – слышите ли вы, – я хорошо знаю, что госпожа Нансэ совершенно не причем в решении, принятом госпожой Тильер... Это мужчина потребовал, чтобы меня больше не принимали, потому что он имел на это право, – и я знаю имя этого человека...

Надеясь уловить на тонком лице графини какое-либо волнение, он сильно ошибся, так как маленькие ручки, взявшие крючок, продолжали без малейшей дрожи бегать по петлям шерсти. Рот оставался неподвижным, приняв отпечаток какого-то презрения. Глаза следили за работой рук, и вся ее поза была самой непринужденной и естественной: поза женщины, которой рассказывают нечто совершенно незначительное. Только плечи поднялись тем красивым жестом,

который даже не снисходит до того, чтобы возмущаться бессмысленным обвинением. Но при всей своей дружеской преданности и осторожности госпожа Кандаль была любопытной женщиной и, желая узнать большее, сделала ошибку, позволив Казалю говорить дальше. Первой западни, которую он решил ей поставить, она уже избежала. Допустить молодого человека продолжать значило позволить ему поставить вторую.

– Ах! – настаивал он, – вы мне не отвечаете... И вы правы. Вы понимаете, что это все-таки тяжело стать жертвой чьей-то ревности. И чьей же? Какого-то Феликса Миро, какого-то странствующего художника, воображающего себя великим сеньором эпохи Возрождения, потому что, рисуя три ветки сирени и одну розу, он одевается в бархат; ведь этот Миро – торгаш, продающий свою кисть и своими визитами наживший сто тысяч франков годового дохода...

Он продолжал все дальше и дальше, рисуя ужасную и вместе с тем весьма похожую карикатуру артиста, какие заставляет нас рисовать зависть, по внешним чертам знаменитых людей. Чтобы нарисовать такую карикатуру, стоит только представить в смешном виде те невинные ребячества, которые почти всегда присущи талантливым людям. Враги Миро действительно осуждали его за эксцентричность домашнего



как бы комедиантского костюма и за любовь к свету, в которой видели некрасивый дипломатический прием. Он носил эти костюмы потому, что они забавляли его, и бывал в салонах потому, что после семичасовой утомительной работы этот утонченный артист любил дать своим глазам отдохнуть на красивой обстановке. Преувеличивая в данном случае критику этого человека, еще достаточно молодого, чтобы нравиться, довольно близкого с госпожой де Тильер, чтобы возбудить не слишком неверное подозрение, Казаль рассчитывал обмануть проницательность своей слушательницы, тем более, что, говоря о Миро, он думал о другом, о своем настоящем сопернике. Ему нетрудно было сделать свой голос насмешливым и суровым, а выражение лица страдальческим, что действительно обмануло графиню; успокоившись тем, что Казаль попал на ложный след, она начала снисходительно улыбаться ему, как больному:

– Да вы с ума сошли, мой бедный друг, – ответила она, вас в сумасшедший дом надо посадить. Миро ревнует к вам! Миро имеет права на госпожу Тильер!.. Видите, я даже не могу на вас сердиться... Миро! Почему же не д'Артель? Почему не Проней? Почему не д'Авансон? Кстати, раз мы коснулись его, вам следовало бы подозревать д'Авансона... Уверю вас, что настойчивость и постоянство этого опасного чело-

века служит хорошим предметом размышлений для такого знатока характеров, каким вы себя сейчас показали.

– Тогда, если это не Миро... – иронически произнес Казаль, что заставило госпожу де Кандаль сдвинуть брови.

– Если это не Миро... – повторила она.

– Так, может быть, это – друг, вернувшийся именно в тот день, когда мне отказали... г-н Пуаян, кажется.

– Послушайте, Казаль, – ответила она, снова пожимая плечами, но на этот раз уже без улыбки, – я всегда вас защищала, когда на вас нападали, я постоянно говорила, что вы лучше своей отвратительной репутации. Еще сейчас я не хотела отнестись к этому серьезно... Но если вы не шутя, так гадко подозреваете женщину, мою лучшую подругу, с которой я вас познакомила у меня же в доме, и если вы ходите повсюду, распространяя вашу клевету, как вы только это сейчас сделали, то, слышите ли, я не допущу такой низости... Госпожа Тильер относилась к вам с безукоризненной порядочностью. Сложившееся у нее предубеждение к вам она поборола ради меня. Она принимала вас у себя без всякого кокетства. Некоторые затруднения с ее матерью сделали ваши отношения тягостными, почти невозможными... Она вас об этом честно предупреждает, и вот вместо того, чтобы подчиниться, вы

клеветете на нее, стараясь загрязнить ее дружбу с лицами, окружающими ее. Это низость, слышите ли, низость...

– Вы правы, – проговорил Раймонд после небольшого молчания, – я прошу у вас прощения... Обещаю вам, – прибавил он глухим голосом, – никогда больше не говорить с вами о госпоже Тильер.

– И что вы больше не будете о ней думать так, как только что говорили, – настаивала графиня.

– И что я больше не буду – так думать... – сказал Казаль. У него хватило самообладания продолжать разговор в другом тоне и касательно других вопросов, но на этот раз ему не удалось обмануть Габриеллы, которая, однако, и не старалась узнать большего. Она уже упрекала себя в том, что не применила единственно верного способа сбить с толку ревнивые выпытывания – молчания. Однако она чувствовала, не отдавая себе полного отчета в хитрости, примененной молодым человеком, что она говорила больше, чем следовало. После ухода Казалья она долго, долго оставалась неподвижной, опершись головой на ладонь, упрекая себя и задаваясь вопросом, следовало ли ей предупредить об этом Жюльетту или нет. Ее подруге угрожала опасность. Она это чувствовала тем же самым инстинктом, который дал ей заметить всю глубину страсти Раймонда, в которую она не поверила бы

до этого визита:

– Да, – решила она, – я сейчас поеду на улицу Матиньон предупредить ее... В конце концов что может он сделать: причинить ей неприятности письмом или сценой, и только? Но как он добрался до истины?

Нет, Казаль не вполне доискался жестокой истины. Испытание, однако, удалось, и госпожа Кандаль, игриво защищая подругу, пока дело касалось Миро, и решительно, когда упомянули про другого, сама определила область расследований, в которой пробудившаяся ревность Казаля и начала действовать; в Пуаяне следовало искать тайну жизни госпожи Тильер. Графиня слишком очевидно придала разное значение двум обвинениям. Разве не потому, что второе коснулось истины, а первое нет? Оставшись наедине с собой после визита, он испытывал приступ страдания, которым по мере приближения к разгадке истины сопровождается ревность. «Сомненья больше нет», – говорил он себе, направляясь к Булонскому парку, чтобы усыпить свою тоску одной из тех усиленных прогулок, которые в подобные моменты не утомляют даже и тела. «Вне всякого сомнения, Пуаян – ее любовник».

Ужасные видения, от которых он хотел убежать, рискнув на странную выходку у госпожи де Кандаль, вновь вернулись к нему, и на этот раз он уже с ними

не боролся. Они опять преследовали его неотступно, когда он сидел вечером за столом со своим неразлучным лордом Гербертом. Они не должны были покинуть его и в последующие дни, проведенные им сначала в борьбе с душевными страданиями при помощи всякого рода излишеств, а затем в исследовании основной причины своего горя. Не обладая данными, с которыми он мог бы восстановить историю десяти последних лет жизни Жюльетты, он отнюдь не угадывал драмы, разыгравшейся в этой душе, – поединка любви с состраданием, борьбы между жаждой личного счастья и необходимостью выполнить нравственные обязательства. Это нежное создание являлось для него загадкой двойственности, особенно чудовищной благодаря своей прелести. Не слишком ли он поддался ее обаянию! Не слишком ли глупо было с его стороны считать ее такой честной, гордой, утонченной, чистой, между тем как она развлекалась, убивая с ним свободное время в отсутствие своего любовника! – Да, любовника, – настаивал он, с каждым днем разгадывая все больше и больше или, вернее, стараясь разгадать настоящее значение того, как держалась во время разговора с ним госпожа Кандаль. Но иногда он говорил себе:

– Но это еще не настоящая улика, не последнее доказательство... А можно ли когда-нибудь иметь его,

если сам не увидишь...

Вот в каком настроении духа находился этот несчастный человек спустя неделю после визита к госпоже де Кандаль, отправляясь во Французский театр на спектакль последнего сезонного вторника. Несмотря на свои огорчения, он принадлежал к типу таких людей, которые никогда не сдаются, и он еще чаще искал случая не оставаться одному; по целым дням предаваясь спорту, он вечером отдавался тяготившей его светской жизни, как будто не имел в своем сердце мучительной раны, нанесенной ему самым ужасным подозрением, Кроме того, посещая оперу, комедию и тому подобные увеселения, которые давно уже ненавидел, особенно в это время года, он все-таки искал – не сознавая себе в этом – возможности увидеть госпожу Тильер. Он не встречался с ней с тех пор, как она, очнувшись от обморока, отослала его от себя. Тщетно старался он не слушать голоса, защищавшего в его сердце молодую женщину. Этот голос, защищающий нашу любовь от нас самих, будит в нас такое нежно эхо! В ее уединении, о котором он подозревал по ее постоянному отсутствию в свете, он видел признак того, что волнение ее в последнее свидание было неподдельным. Необъяснимое и непобедимое суеверие, которым обладают влюбленные, мешало ему думать, что она покинула Париж, хотя бы-

ло очень вероятно, что она могла принять это мудрое решение.

Нет! Все не могло быть так кончено между ними без нового решительного объяснения; и в этот вечер, сидя в своем кресле и не слушая пьесы, он наводил бинокль на ложи, ища ее, хотя уже давно убедился, что бенуар госпожи Кандадь и госпожи Тильер оставался безнадежно пустым. Вдруг через три ряда кресел от него, впереди, он заметил чье-то обращенное к нему и, очевидно наблюдавшее за ним лицо; он узнал Генриха Пуаяна. Так же как на улице Матиньон и на пороге дома Жюльетты, взгляды их встретились лишь на секунду, после чего граф, казалось, следил исключительно за ходом пьесы и игрой актеров. Чтобы продолжать наблюдать за своим противником, Раймонду не нужно было оборачиваться. Достаточно было ему слегка наклониться, и он мог видеть белокурые с сединой волосы знаменитого оратора, его осунувшийся профиль, худые плечи, руку, на которую опирался подбородком этот человек, – вероятно, чтобы придать себе больше спокойствия, – и эта красивая рука нервно сжимала бинокль, выдавая тем свое сдержанное волнение. Так по крайней мере казалось Раймонду, который сам был сильно взволнован. В присутствии противника, подозреваемого нами в обладании любимой женщиной, в нас развивается какое-то

отвращение, которое у некоторых людей постепенно исчезает, а у других же переходит в холодную ярость, для которой ничего не значит совершить какое угодно преступление. Подобные встречи поднимают в нашей любовной натуре всю заглушённую в нас жестокость самца, который скорее убьёт, чем поделится. Нас поражают внезапно возникающие в нас странные желания, которые как будто исходят от других людей и выполняются другими существами. В то время как Раймонд жадно следил за человеком, причинившим ему столько мучительных терзаний и сомнений, его охватила вдруг странная и безумная мысль. Ему показалось, что он интуитивно нашел столь желанную улику. На этот раз он уже мог привести в неопровержимую ясность еще сомнительные предположения, полученные им из разговора с госпожой Кандаль.

Ему было небезызвестно, что Пуаян геройски дрался на войне. Он знал также про дуэль в Безансоне, к которой граф сумел принудить любовника своей жены. Итак, перед ним был человек, слишком храбрый, чтобы перенести малейшее оскорбление.

– Надо подумать. Если я подойду к нему во время антракта и нанесу ему с глаза на глаз без свидетелей одно из тех полуоскорблений, которое не может вынести человек с его характером, – разве только он повинется каким-нибудь высшим соображениям, – я, на-



конец, все узнаю... Если он действительно любовник госпожи Тильер, если меня вытолкали за дверь по его милости, то он ни за что не захочет, чтобы имя этой женщины было произнесено между нами и из-за нас, и сделает все, чтобы избежать поединка. Если же ничего между ними не было, то он остановит меня на первом же слове и тогда или я ему, или он мне нанесет удар шпагой... Никогда нельзя знать ... В эту минуту даже дуэль будет мне забавой, и этот риск вполне стоит шанса получить доказательство... Ибо если он начнет уклоняться от дуэли, это послужит ему уликой, и притом неопровержимой.

Едва лишь безумный план успел охватить эту пылкую душу, как выполнение его стало неизбежным. Бывают минуты, – и Казаль переживал именно одну из таких минут, – когда любовь воскрешает в нас дикаря, у которого замысел тотчас же приводится в исполнение и в котором бесстрастное спокойствие перемещается с скоропреходящей яростью. Если нервы Раймонда и были напряжены так, как будто он собирался драться на ножах, то никто из товарищей, при встрече с ним пожимавших ему руку, не заметил его нервозности. Когда упал занавес, Казаль стал у входа в зал и, дождавшись Пуаяна, обратился к нему в самой вежливой форме:

– Не сделаете ли вы мне честь уделить мне минуту

разговора?.. Не желаете ли здесь? Он указал на угол кулуара в стороне от толпившейся в проходе публики. – Нам здесь не помешают...

– Я вас слушаю, – ответил граф, видимо, удивленный таким вступлением. Он сразу почувствовал, что его собеседник хотел поговорить о Жюльетте, но потом подумал: «Невозможно. Во-первых, он ничего не знает, да и, кроме того, для этого он слишком порядочный человек». Между тем другой начал говорить вполголоса и таким тоном, как будто два светских человека равнодушно поверяют друг другу маленькие или салонные истории.

– Это очень простая вещь, и я не буду вас долго задерживать; я только хотел спросить вас, имеете ли вы какое-нибудь основание так пристально меня рассматривать во время действия и с таким упорством, которое я нахожу неуместным.

– Между нами какое-то недоразумение, – возразил Пуаян. Он побледнел и делал над собой видимое усилие, чтобы соблюдать в этом странном разговоре самую спокойную вежливость. – Еще пять минут тому назад я совершенно не знал о вашем присутствии в зале.

– Сожалею, что должен возразить вам, – продолжал Раймонд, – но повторяю вам, что вы несколько раз пристально смотрели на меня и так как это случа-

ется уже не в первый раз, то я хотел иметь спокойную совесть, предупредив вас, что в случае надобности я готов запретить вам так на меня смотреть.

По мере того, как он с необыкновенно дерзкой развязностью произносил эти слова, он мог по лицу графа следить за происходившей в этом благородном человеке борьбой оскорбленной гордости с непоколебимым решением не поднимать никаких историй. Благодаря способности быстро соображать, которая пробуждается у нас в таких случаях, Пуаян тотчас же угадал истинную причину выходки Раймонда. «Он знает, что госпожа Тильер отказала ему из-за меня. Человек, способный на такую невероятную выходку, способен также назвать имя женщины, из-за которой мы будем драться... Какой бы ни было ценой, надо этого избежать...» И у него хватило мужества сдержать себя и снова ответить:

– Еще раз я утверждаю, что между нами недоразумение. Я никогда не имел повода смотреть на вас так, чтобы это могло быть для вас неприятным, и у меня нет намерения начать это делать и после нашего разговора, продолжать который нет никакого основания, и я прошу вас его прекратить...

– В самом деле, – сказал Казаль, – я не вижу больше надобности разговаривать с трусом...

Эта оскорбительная фраза сорвалась у него с язы-

ка помимо его желания. Она решительно шла вразрез с его намерением только разузнать о том, в каких отношениях с Жюльеттой находился Пуаян. Но при виде смущения графа, с которым этот последний настолько справлялся, что сохранял полное самообладание, при виде его щепетильности и неперемногого желания избежать ссоры, Казаль, как и в разговоре с госпожой Кандаль, увидел в этом основательность своих подозрений. Этого оказалось достаточным для того, чтобы ярость его ревности исторгла у него непоправимое слово, перед которым уважающий себя человек, – будь он любовником женщины или нет, – не отступает. Густая краска залила бледное лицо графа.

– Милостивый государь, я все время отвечал вам так потому, что предполагал с вашей стороны невольную ошибку... Теперь я вижу, что вы ищете со мной ссоры и хотите ее последствий. Они будут... Я не знаю, почему вы привязываетесь к тому, кто никогда вами не занимался. Но я никому на свете не позволю так говорить со мной, как вы только что говорили, и буду иметь честь прислать вам двух моих друзей, но при одном условии, – прибавил он повелительно, – чтобы вы у ваших друзей, так же как и я у моих, взяли слово хранить эту историю в тайне...

– Разумеется, – сказал Казаль и как бы в подтверждение искренности своего обещания подозревал про-

ходившего мимо Мозе и спросил его:

– Послушайте, Альфред. Не помните вы точно, когда здесь играли пьесу Фейлье, в которой Бресон был так изумителен? «Акробат», кажется, тот же сюжет, что и в известном шедевре «Маленькая Маркиза», только более романический. Мы об этом сейчас спорили с де Пуаяном. Он утверждает, что это было в 72 году, а я говорю, что в 73-м.

# Глава X

## Перед дуэлью

На другой день, после так неожиданно разыгравшейся в кулуарах Французского театра сцены, резко врезывавшейся своим трагизмом в чисто сантиментальный роман Жюльетты, молодая женщина ходила по аллее, огибавшей ее садик. Было около двух часов дня. Подолгу вдыхала она благоухающий воздух, насыщенный сладким ароматом розоватых кистей акации; смотрела на листья, зеленевшие в лучах летнего солнца, на густую клумбу распустившихся алых роз, поднимавшихся на своих штамбах, на трепетавший по стене плющ, на полет птички, то опускавшейся на газон, то улетающей на ближайшие ветки. С самого своего разговора с Казалем она не переставала страдать, а невозможность скрыть от де Пуаяна тоску, овладевавшую ею с каждым днем все глубже, только увеличивала ее муки. Да и как вполне обмануть его беспокойную прозорливость? Он был так нежен, что сделать это, по-видимому, было легко; но нежность, доведенная до известной степени напряжения, становится так болезненно подозрительной, что равняется самому пронизательному недовере-

рию. Разве, после того как возобновились их свидания, когда она пришла, на первое же свидание, не стало ясно Пуаяну, что она сделала это не для себя, а для него: из жалости, а не по любви! К тому же, есть ли возможность подделываться под настоящую любовь, – этот огонь, охватывающий всего человека, этот восторг души, уносящий нас, как бы вне времени и пространства, благодаря одному лишь присутствию предмета нашего поклонения, – так душа наполняется им, до последнего предела возможного! Нет, нельзя разыгрывать комедию подобных восторгов сердца. Женщина сумеет смягчить свой голос; слова ее будут еще нежнее, чем звук этого голоса; нежным будет и взор ее. Она будет страстно желать убедить своего возлюбленного в том, что она счастлива, чтобы он был счастлив. Тщетный обман! Если он любит на самом деле, то волшебством своей горькой прозорливости скоро распознает, сколько усилий скрыто в взволнованном голосе, какая усталость таится во взоре и сколько жестокого в этих усилиях выразить притворную нежность. Увы! Может ли он жаловаться на обман, которым ему выказывают все же так много дружбы, за отсутствием более страстного чувства?.. Вправе ли мы упрекать другого человека, что он чувствует не так, как бы мы хотели и как ему иногда самому кажется, что он чувствует. И молчишь от этого стран-

ного смущения и снова погружаешься, – как это сделал Пуаян на следующий же день после свидания в Пасси, – в немой, безумный анализ малейших оттенков, причем какое-нибудь одно слово, движение, рассеянное выражение лица подтверждают ужасную, неотвязчивую мысль: «Меня не любят больше, а только жалеют...» У графа к этой мысли присоединялась еще другая, более ужасная, которую он тщетно силился отогнать от себя. Из новой беседы с д'Авансоном он узнал, что Казалю окончательно отказано от дома. Старый дипломат был в этом уверен:

– Достаточно было посмотреть на его физиономию, когда мы встретились с ним в клубе, чтобы в этом убедиться, – сказал д'Авансон, потирая руки.

Значит госпожа Тильер сдержала свое обещание и не принимала больше молодого человека. Граф был в этом уверен, без всяких подтверждений и дальнейших расспросов, а к тому же он имел тому доказательство: встретив Раймонда, почти что на пороге подъезда госпожи Тильер, он видел с одного конца улицы, как Казаль, не успевши почти войти, тотчас же вышел. Неосторожный взгляд, которым Пуаян проводил провоженного посетителя, не был чужд той мужской гордости, недоброму опьянению которой поддаются самые благородные любовники. Но если, покончивши с Казалем, госпожа Тильер не сожалела о нем, то



почему же у нее были все признаки душевного томления, которое могло происходить только от постоянной боли скрытой сердечной раны. Влюбленному так горько наблюдать эти признаки, даже когда ему известна их причина. Личико дорогого вам существа блекнет и как бы тает, веки тяжелеют, щеки худеют, на висках появляется желтизна, губы становятся бескровными, – словом, по всему видно, что огонек жизни мерцает и меркнет!.. Господи! а если он совсем погаснет! И содрогаешься при одной мысли о том, как хрупко и слабо то создание, которое так сильно любишь, что судьба нашего сердца зависит от жизни смертного существа! Пытка таких тревог доходит иногда до острой боли; мы рады были бы разлюбить; так больной, терзаемый невралгией, жаждет смерти. Но куда деться, когда к муке видеть любимую женщину, час за часом приближающуюся к концу, присоединяется еще более мучительный вопрос: «Быть может, она чахнет от тоски по другому?..» Это – высшая форма ревности; другой и не знают благородные души, для которых важны не поступки, а чувства; как раз обратное бывает с людьми заурядными, положительными. Ревность первых не вызвана грязными мыслями о чувственном наслаждении, она порождена в них сознанием, что они не могут уже больше дать счастья любимому существу. При подобной благородной ревности

сти не принимают жестоких решений, не прибегают к унижительным выслеживаниям, подобно тем, которые производил в это время Казаль; но она медленно, неизбежно иссушает все силы сердца, она окружает нас невозможной для жизни атмосферой, из которой, если и удастся выйти, то с сердцем разбитым, потерявшим всякую надежду и радость. Немного дней прошло с того утра, когда д'Авансон явился на улицу Матиньон, добровольно приняв на себя роль доносчика, и до вечера во Французском театре, когда Раймонд оскорбил Пуаяна, но этого короткого промежутка времени было достаточно, чтобы граф впал в отчаяние еще более жестокое, еще более гнетущее, чем после его поездки в Безансон. Он пришел к страшному выводу и чувствовал, что вывод этот верен:

– Она любит Казаля, сама не сознавая того; и если не расстанется со мной, то из благородства, а может быть, и из жалости...

Ах! как при этих словах, почти помимо его воли звучавших в нем, он, по-прежнему любя Жюльетту, возмущался этим ненавистным подаянием! И каждое утро он решал объясниться окончательно, но при виде исхудалого личика своей возлюбленной все откладывал. Он боялся, что такой разговор повредит ей, и молчал.

Но выражение его глаз, морщины его лба и самое

это молчание ясно выражали, что он снова смущен подозрениями, и Жюльетта, по-своему также истолковывала эти признаки его душевной тоски; зная его характер, она говорила:

– Я даже не смогла дать ему счастья... Я разбила для него чувство, ставшее уже таким дорогим мне! И для чего? Какая польза от того, что я возвратила другого к его недостойной прежней жизни?..

И она действительно верила, что Казаль искал теперь забвения в унижительных кутежах! Он ей представлялся с какой-нибудь доступной девицей или с новой мадемуазель Корсье! И, в свою очередь, она начинала ревновать! Иногда бывает, что женщина, не отдавшаяся любимому человеку, испытывает подобную мучительную и несправедливую ревность к тем, с которыми он хочет ее забыть... В подобные минуты и под впечатлением своих сложных мук Жюльетта, к своему постоянному ужасу, сознавала истинное состояние своей души: ей удалось сгладить свой образ жизни что касается его внешней стороны, честно принеся в жертву свою новую любовь, чтобы спасти жалкие остатки прежней страсти; она отказалась от того, что дало бы ей счастье из чувства горячего сострадания, но все это не уврачевало ее страждущего сердца. Оно трепетало, терзалось из-за их обоих, и она даже не могла сделать счастливым того, ради

которого пожертвовала другим!

На этой-то ступени ее скорбного пути она была сражена новым ударом: Габриелла сообщила ей, что Казаль близок к открытию истины! Она так была сражена этим известием, что энергия ей изменила; у нее была та энергия слабых женщин, благодаря которой они выносят долгие дни душевных тревог; потом приходится расплачиваться недугами, которые наука не может излечить, – так сильно весь организм расшатан постоянным напряжением сил. За этим открытием она ожидала что-то такое страшное, неизвестное, что пролежала два дня неподвижно, не будучи в состоянии ни мыслить, ни чувствовать. И в этот ясный, летний день, когда она гуляла по садику, слушая пение птичек, глядя на цветы, она еще вся была разбита после этого кризиса; днем и ночью ее преследовал вопрос:

– Раймонду известны мои отношения к Генриху! Как он поступит? Что он думает? Последнее легко было отгадать: неспособный объяснить себе все душевные оттенки пережитого ею, он, конечно, презирает ее за ее кокетство с ним, когда она принадлежала другому! В безумии своего возмущения от мысли, что Казаль ее презирает, она доходила до создания планов, самых опасных и противных как ее природе, так и ее принципам: написать ему, чтоб открыть всю себя, при-

звать его на новое свидание... И тут же она говорила себе: «Нет, он не поверит мне, а если я увижу его, я погибла...» Ей было ясно, что после той слабости, которую она почувствовала при их последнем свидании, остаться с ним теперь наедине было равносильно тому, чтобы отдаться в его власть. Она не могла уже ручаться за себя! В глазах этого человека, полных прежде такого поклонения, теперь она, вероятно, прочтет обидное доказательство того, что ему все известно. Но какие у него доказательства? Как он их получил? Эта тайна вносила новое смятение в ее мысли, и она спрашивала себя иногда: «Да, как поступит он?..» И она дрожала от страха, который тщетно старалась побороть в себе воспоминаниями о неизменной деликатности, проявленной Казалем во всех его поступках с нею. Но тогда он еще ничего не знал, а теперь?.. Она уже видела неизбежность близких трагических столкновений, и преждевременно содрогалась при мысли о них, медленно ступая по гравию узкой аллеи. А солнце продолжало сиять, акации лить свое благоухание, а время идти, приближая ее к той минуте, когда ей придется горько поплатиться за неумение и нехотение читать в своем сердце. Она так была углублена в свои размышления, что не видела стоявшую в дверях гостиной госпожу Кандаль и глядевшую на нее в странном смущении. Без сомнения, малень-

кая графиня имела сообщить очень важную новость, так как видно было, что она не торопилась сообщить ее своему другу; наконец, она решилась окликнуть ее раза два.

Госпожа Тильер подняла голову, увидела Габриеллу и не ошиблась в выражении того лица, которое она так хорошо знала:

– Что случилось? – спросила она, едва они вошли в маленькую гостиную, куда ее увела из сада госпожа де Кандаль, из опасения, как бы не увидела их госпожа де Нансэ, часто следившая нежным взором за постоянной ходьбой своей дорогой дочери.

– А вот что, – ответила гостья глухим голосом, – творится нечто такое серьезное, что я не знаю, как тебе сообщить это. Тронь мои руки – видишь, как они дрожат... Хватит ли сил выслушать меня?..

– Да, – сказала Жюльетта, – только говори, говори скорей...

– Вместо того, чтобы успокоить, – продолжала графиня, – я только терзаю тебя, так я сама растерялась! Садись же. Как ты бледна! Но ты увидишь, как я была права, приехав к тебе сейчас же... Сегодня, в девять часов, когда мы сидели за нашим утренним чаем, Луи подали письмо. «Это от Казаля, – сказал он мне, – зачем я ему нужен, что пишет он, который так не любит писать?..» Вскрыв письмо, он начал его чи-

тать, а я тем временем не спускаю с него глаз... Вижу, как тень удивления пробежала по его лицу: «Скажите, что через полчаса я буду на улице Лиссабон», – был его ответ. Когда человек вышел, я спросила у него, как ты сейчас у меня: «Что случилось?»

– «Ничего интересного для вас; кого-то надо записать в клуб» – В то время как он давал мне это объяснение, у него было то фальшивое выражение, которое появляется на его лице, когда он начинает рассказывать, как провел день, в который собственно имел свидание с госпожей Бернар. Я слишком страдала от этого выражения, чтобы не знать его. И, на всякий случай, я хотела еще утром написать тебе о письме Казаля. Но, подумала, не стоит пока!.. За завтраком я тотчас поняла, что муж продолжает быть сильно озабоченным. «А что, – спросил он вдруг, – Генрих Пуаян все продолжает так же часто бывать у госпожи Тильер?»

– Да, – отвечала я, – зачем тебе это знать?

– Так просто, захотелось! – возразил он и снова замолчал.

– Я не раз тебе говорила, что он не может не проболтаться. У него, как выражается моя сестра, «утечка». Поэтому я знала, что к концу завтрака он скажет такое слово, которое даст мне возможность разгадать этот секрет. А несомненно, есть какой-то секрет, каса-

ющийся полученного утром письма. Так и вышло, как я ожидала. А что, – вдруг спросил, явно выдавая себя Луи, – Казаль часто виделся с госпожей Тильер, после их завтрака у нас? – Ничего не знаю на счет этого, – был мой ответ ему. – Но объясни мне, почему тебе так интересно сегодня знать, кто бывает или не бывает у Жюльетты? – Мне интересно? – сказал он, краснея, – тебе это показалось!.. В это самое время человек спрашивает Луи, может ли он принять лорда Герберта Боуна, англичанина, альтер эго Казалья, который за столько лет не оставил мне даже визитной карточки... Я оставила их объясняться в кабинете Луи, взяла извозчика и прикатила к тебе...

– Действительно, это странно, очень странно, – сказала Жюльетта... А если тут дуэль... И твой муж с англичанином секунданты Раймонда против Генриха?... Ведь это ясно, как божий день... Они будут драться!.. Не подумала ли и ты то же самое? Отвечай...

– Да! – сказала графиня, – и мне пришла та же мысль; но, умоляю тебя, не волнуйся... Мы можем ошибиться... Это так невероятно само по себе. Подумай только: Казаль и Пуаян посещают разный круг общества, они не члены тех же клубов, кроме «Жокей» клуба, куда ни тот, ни другой и не заглядывают, так что нельзя и предположить, чтоб они затеяли ссору в одном из этих мест или в каком-нибудь публичном ме-



сте. Не было ли у них обмена писем?.. Да и это трудно допустить... Чувствую, однако, что тут что-то кроется, я уверена в этом; но что именно? вот что необходимо разузнать... А у кого? Луи и неосторожен, и очень наивен, но если он дал слово молчать, то сдержит его... Тебе необходимо повидать Пуаяна; за этим я приехала так поспешно...

– Благодарю тебя, – сказала Жюльетта, целуя свою приятельницу. – Ты моя спасительница! Я не переживу дуэли между ними! Ах!.. Я узнаю все... Генрих хотел быть здесь в два часа... и не извещал меня сегодня о том, что придет в другое время... Значит, он придет... Боже!., я вся дрожу, но ты права, я должна быть мужественной.

Несмотря на эту решимость и на относительное спокойствие, вернувшееся к ней при внезапном сознании близкой опасности, на что в важнейшие моменты жизни способны только те, в ком течет доблестная кровь благородных предков, – молодая женщина, тем не менее, чувствовала такую смертельную тревогу, какой не испытывала с того дня, как ждала телеграммы с подробностями о первом сражении, в котором участвовал ее муж. Ей показались такими долгими те минуты, которые прошли с ухода ее приятельницы до прихода ее возлюбленного, что она едва не послала своего слугу к графу, так как он немного опоз-

дал. Она пожалела, что не задержала Габриеллы, хотя последняя очень благоразумно заметила:

– Будет лучше, если Пуаян не застанет меня здесь. В подобных положениях, чем меньше лиц, посвященных в тайну, тем менее затрагивается самолюбие... А ты напиши мне тотчас, чтобы успокоить меня...

– Десять минут третьего... – размышляла Жюльетта, следя за минутной стрелкой каминных часов. – Если в четверть третьего он не придет, значит, он совсем не будет... А тогда у кого мне все разузнать? Кажется, позвонили?... Открывают дверь прихожей... дверь гостиной. Да, это он!..

Действительно, вошел Генрих де Пуаян, извиняясь, что не мог отделаться ранее от одного делового свидания. А между тем он только что расстался со своими двумя секундантами: с сослуживцем своим де Сов и с генералом Жардь.

Дуэль была назначена на завтра и на таких условиях, им самим назначенных, над которыми призадумался бы самый храбрый человек: четыре выстрела, на расстоянии двадцати шагов по команде из пистолетов с двойным спуском. В то время подобные пистолеты еще были в употреблении. Граф невольно должен был думать, что, быть может, видит госпожу де Тильер в последний раз. А между тем следившая за ним Жюльетта не подметила в нем ни малейшей тре-

воги. Его спокойствие, близкое к равнодушию, накануне дуэли с таким опасным противником, было, однако, не притворным, а вполне искренним. После вчерашней неожиданной истории он почувствовал себя как-то удивительно успокоенным. Он не мог себе представить настоящего повода, по которому Казаль затеял с ним такую странную, такую несогласную с поступками порядочного человека ссору, он не знал этого доведенного до безумия чувства недостойного любопытства, а объяснял ее себе безумной ревностью, злобой завязтого обольстителя, избалованного легкими успехами, видящего себя отвергнутым и грубо обрушивающегося на того, чьему влиянию он это приписывает. И не доказывал ли гнев Раймонда, что у него не оставалось никакой надежды. Значит, Жюльетта не выказала ему никакого особенного внимания! Хотя граф никогда не сомневался в ее верности, но получив неопровержимое доказательство этой верности, ему сделалось невыразимо сладостно, как было ему сладостно и отчаяние Казалья! Ах! этот Казаль; он так глубоко ненавидел его с некоторых пор, и при одной мысли, что будет держать его под своим пистолетом, граф ощущал невыразимое чувство удовлетворения! Он забывал при этом, что тайна его отношений к госпоже Тильер обнаружится и что шансы дуэли были на стороне Казалья. Еще сегодня утром он заходил к Га-

стину, чтоб удостовериться в своем умении владеть тем оружием, которое сам выбрал, и заметил среди трофеев первоклассных стрелков картонный квадрат с простреленной, как бы выбитой машинкой, мишенью, а под ним надпись: «Семь пуль прицела Казаля». Ну что ж? Разве он не ближе стоял к смерти в семидесятом? К тому же близость неизбежной опасности, выводя его из умственной напряженности последних дней, доставляла ему особенное успокоение, которое и враг его, вероятно, испытывал, – и по тем же причинам.

После долгого поглощения нашими собственными мыслями действие, хотя бы и трагическое, приносит нам облегчение, раз оно определено и выводит нас из хаоса смущавших нас противоположных мыслей.

Граф подошел к госпоже Тильер с таким серьезным и ясным лицом, что легко мог бы ввести ее в заблуждение, если бы вопрос о дуэли не был для нее вопросом первостепенной важности. Ей недостаточно было, при таких серьезных обстоятельствах, остановиться на предположениях; она жаждала знать определенно: она нашла верное средство убедиться, будет ли граф завтра драться или нет. Стоило только попросить его провести с нею весь завтрашний день! После обыкновенных фраз вежливости о здоровье и погоде она обратилась к нему с чарующей лаской в

голосе и движениях, от которой давно его отучила:

– Я уверена, вы останетесь мною довольны. Вы меня бранили за то, что я мало выхожу, не бываю на воздухе... Так вот! мы с мамой поедem завтра в Фонте-небло проведать кухню Нансэ, переехавшую туда на прошлой неделе. И знаете ли, кого мы выбрали своим кавалером?..

– Д'Авансона, – сказал граф, улыбаясь.

– Вот и не отгадали, – возразила она шутливо. – Кавалер наш вы! Не отказывайтесь... Я не принимаю никаких извинений...

– К сожалению, это невозможно, – сказал граф. – У меня завтра, в два часа, заседание комиссии в Бурбонском дворце.

– Вы мне жертвуете вашей комиссией, вот и все... Вы знаете, что я не часто прошу у вас чего-нибудь... но на этот раз я требую... имея на то свои причины, – прибавила она лукаво.

– Но согласитесь, – ответил граф, продолжая разговор в шутливом тоне и стараясь узнать, подозревает ли она что-нибудь, – согласитесь, что я, по крайней мере, имею право знать эти причины?

– А я не мог их вам объяснить; ну, просто мне так хочется... Пусть это каприз больного человека, неужели вы его не исполните?.. Вы должны баловать меня, пока я еще с вами... – добавила она с грустной улыбкой.

– Уверяю вас, – сказал он серьезно, – я не могу провести с вами завтрашний день... Будьте же рассудительны, Жюльетта! Если это только один каприз, то неужели вы хотите, чтобы я ради него изменил своему долгу?..

Граф встал, не будучи в состоянии выдержать того острого взгляда, который устремила на него Жюльетта. Не чувствовала ли она себя, на самом деле, хуже? В таком случае ее странный каприз был одним из тех проявлений деспотизма, в которых сказывается расстройство нервной системы человека, чей организм сильно ослабел. А может быть, она знает уже о последствиях вчерашней истории? Но как? От кого?

Жюльетта не дала ему времени обсудить Это предположение и, подойдя к нему в упор, сказала прерывающимся голосом:

– Ах! как вы не умеете хорошо лгать!.. Да, вы не можете быть свободны завтра. Я это знала! Знала и причину, почему не можете, и скажу вам ее! Посмотрим, достанет ли у вас смелости отрицать ее: на завтра у вас дуэль. Я знаю также с кем... Нужно ли вам его назвать?

Как не было возбуждено подозрение Пуаяна с самого начала их разговора, он не мог скрыть своего удивления при ее словах, а это одно уже было признанием с его стороны. Впрочем, он и не в силах был

дольше притворяться: его осенила ужасная мысль. Если Жюльетте все было известно, то не через его же секундантов, в которых он был уверен. Невозможно также предположить, чтобы и секунданты Казалья выдали тайну... а сам Казаль? Почему же нет? Он хотел ей отомстить, подумал граф, быть может, он уже раньше угрожал ей поединком со мной?.. Вероятно, он написал ей обо всем! Негодяй!

Граф не остановился на проверке таких призрачных догадок и не спросил себя, не происходила ли хитрость Жюльетты от одних смутных подозрений. Но его чувство злобы к своему сопернику было так сильно, что новая подлость Казалья привела его в бешенство.

– Если вы так хорошо осведомлены о предстоящей дуэли, то должны знать, что ее вызвало, а также и то, что она неизбежна...

– Так значит это правда! – вскричала она, бросаясь к нему. Подтверждение того, что эти два человека будут стоять один против другого с оружием в руках, внушило ей такой страх, что она перестала сообщать. Дрожа всем телом и прижимаясь к Пуаяну, в лихорадочном волнении, она продолжала:

– Нет, дуэль эта не состоится. Вы не будете драться... Ты против него; нет, нет; я не позволю этого... Ах! Если ты меня любишь, то найдешь способ не до-

пустить такой ужасной вещи... Вы оба!.. один против другого... Нет, нет, это невозможно, поклянись мне, что дуэли не будет! Слышишь ли? Я не хочу этого... Это меня убьет... Вы оба!.. Вы оба!..

«Ты против него!.. Вы оба»... Граф слушал ее отрывистые слова, открывшие ему раздвоение ее несчастного сердца – раздвоение, которое она до сих пор так старалась скрыть и которое он за последнее время подозревал в ней. Образы двух существ, одинаково ей дорогих, промелькнули перед ней с быстротой молнии в таком ужасающем видении, что, обезумев от страха за них, она дольше не могла таить своих чувств и обнажила перед ним свою душу. Получив такое наглядное доказательство двойственности ее души, несчастный любовник Жюльетты почувствовал, как зашевелилась в его сердце та ревность, которая причинила ему столько страданий. Он высвободился из ее объятий, почти грубо оттолкнул руки, хватавшиеся за его платье, и ответил:

– Мы оба!.. сказали вы! Очевидно, вы не знаете сами, за которого из нас дрожите!.. Не знаете, любите ли меня или его!.. Впрочем, нет, вы знаете... – продолжал он с такой горечью в голосе, что Тильер невольно замолчала, как бы застыла от нового ужаса, охватившего ее. В жестоких словах Пуаяна звучала правда, находившая отклик в ее сердце.



– Да, вы это знаете; знает это и он... Теперь я понимаю, что видя в вас еще тлеющие искры прежней привязанности, являющиеся единственной преградой между им и вашим сердцем, он решил погасить их навсегда, убив меня, и тем устранить и самую преграду. Но если он, несмотря на данное мне слово, сообщил вам о предстоящей между нами дуэли, то объяснил ли он вам, что назвал меня трусом?.. Трусом, – слышите ли, – и хотите ли вы, чтобы я остался с этим оскорблением? При том, я уж выскажу вам все, если позволите: даже и помимо того оскорбления, которое он нанес мне, я не упустил бы этого случая поставить на карту свою жизнь против его жизни – так я его ненавижу!.. Господи! как он мне ненавистен!

– Генрих, – возразила она разбитым голосом, взяв на этот раз его руку с покорной робостью ребенка, просящего прощения, – умоляю тебя, поверь мне... Все, что я узнала, сказала мне Габриелла и ты сам... Клянусь тебе в этом всем нашим прошлым, нашим дорогим прошлым. Габриелла только что была у меня. Муж ее – секундант в этой ужасной дуэли. Из сказанных им двух, трех фраз она заподозрила что-то и возбуждала и мои подозрения, передавая мне слова мужа... А когда ты признался, что будешь завтра с ним драться... мне представилась кровь, кровь, пролитая из-за меня!.. И я не могла не вскрикнуть... Но люблю я

только тебя одного; я – твоя на всю жизнь!.. Мы могли еще быть так счастливы... Ты вернулся ко мне таким добрым, таким нежным... Пойми же: если даже допустить, что этот человек меня любит, если он искал с тобою ссоры, то не потому ли, что он знает, что я люблю только тебя и никогда тебя не разлюблю...

– Но, – прервал ее граф, – я все же оскорблен, и это остается фактом, которого нельзя изменить. Отступить теперь я не могу; это так же невыносимо теперь, как будет невыносимо завтра, когда мы будем стоять с пистолетами в руках и услышим команду «пли»! Я верю тебе... – сказал он, страстно и долго пожимая ее руку в ответ на ее пожатие. Он снова увидел, как ее искренне влекло к нему при малейшем его страдании. Он не посмел высказать ей всю свою мысль: «Если бы только знать наверное, что ты не любишь его! Но нет, ты его любишь, хотя и стараешься не любить; а меня ты бы хотела любить»... От постоянных сомнений он почувствовал себя очень ослабевшим, а между тем ему так было необходимо хладнокровие, чтобы привести в порядок свои дела в эти, быть может, последние часы его жизни.

– Да, – подтвердил он, – я верю тебе и сознаю, что поступил неосторожно, говоря с тобою так, как говорил в начале нашего разговора... Теперь, когда тебе все известно, я не могу вернуть сказанного... Будь му-

жественна, дорогая, и больше ни слова о дуэли! Ты лучше кого бы то ни было понимаешь, что в делах чести нет места рассуждениям! Но мне пора уходить. Я пришел к тебе с тем, чтобы просить тебя принять меня сегодня в 9 часов вечера. Я хотел сказать «до свиданья», если будет на то воля божья. Ты успокоишься к тому времени, и мы побеседуем с тобой без тех фраз, которые заставляют нас обоих так напрасно страдать.

Она ничего ему не ответила, когда он уходил! Да что могла она сделать против неизбежности этого требования света – требования так же неумолимого, как любое физическое явление: падение дома или землетрясение. Раймонд нанес Генриху оскорбление, и последний был вправе требовать удовлетворения. Дуэль неизбежна. Но бедное сердце Жюльетты, вдвойне сраженное этой неизбежностью, не примирялось с нею, и она дрожала при одной мучительной мысли о завтрашней встрече. Граф давно уже вышел, а она все продолжала сидеть, обхвативши руками колени со склоненной вперед головой, с неподвижно застывшим взором; а в ее мозгу вихрем проносились картины, представлявшие ей де Пуаяна и Раймонда в нескольких шагах один от другого, с группой секундантов возле них, сигнал и спущенные курки пистолетов, – кажется, Генрих упоминал об этом оружии?.. И вслед за выстрелами один из них лежит сражен-

ный... Пуаяна она представляла себе распростертым на земле; глаза этого друга, которого она любила в течение десяти лет, были обращены к ней, и в их взгляде она читала себе страшный укор: «В моей смерти виновна ты». Она же никогда не могла переносить и малейшей грусти в его глазах!.. Она гнала от себя это ужасное видение, как дурное предзнаменование, гнала всеми силами души; а на смену ему выступало тотчас другое: Казаль лежал смертельно раненый! Казаль, одно присутствие которого заставляло ее трепетать от радости и страха! Благородное лицо его, так прельстившее ее своей мужественной красотой, представлялось ей бледным, с глазами, тоже обращенными к ней, но не с нежным укором, а тем невыносимым выражением презрения, мысль о котором терзала ее эти последние дни! И как объяснить себе это несчастное раздвоение чувства? Даже в этот страшный час, когда приближалась трагическая развязка, Жюльетта не знала, не могла знать, по ком из них она прольет более горькие слезы, если дуэль окончится смертью одного из двух. Но, нет! Она не допустит ее, хотя бы для этого ей пришлось на месте дуэли броситься к их ногам на глазах секундантов; она не остановится ни перед чем! Безумная! Она не знала даже ни часа, ни места дуэли, она знала только, что через двадцать четыре часа, а, может быть, и раньше, за-

вершится последнее действие драмы, к которой привела ее преступная слабость.

Когда Пуаян заговорил с твердостью мужчины, не допускающего в делах чести никаких комбинаций, она познала все свое бессилие, не найдя, что возразить ему. Что делать! Господи! Что делать?.. Обратиться к секундантам? Они обязаны сделать все возможное, чтобы дело не дошло до этого ужасного поединка. Но кто были секунданты? Она знала фамилии Кандаля и лорда Герберта. Что же она им скажет, когда придет к ним. Во имя чего станет она умолять их, друзей обманутого ею человека? Конечно, для них, если они слышали всю ее историю из уст Казаля, она была кокеткой, самой коварной, самой низкой, допустившей его ухаживать за ней в отсутствие графа с тем, чтобы его выпроводить по возвращении этого последнего!

Как убедить их в ее полнейшей искренности, в этих невольных уступках и особенно в ненавистных колебаниях ее искреннего, но двойственного сердца, которое трепетало одинаково от опасности, грозившей каждому из них? И она снова впадала как бы в тревожный бред. Ей представлялась простреленная грудь, лоб с засевшей в нем пулей и льющаяся кровь; и с этой кровью, будь она кровью Генриха или другого, вся ее жизнь, казалось, уходила в невыразимом страдании, – в страдании до того остром, что лучше уме-

реть сейчас же, только бы никогда, никогда не видеть эту кровь! Раздался бой часов. Жюльетта машинально подняла голову при этом звуке, показавшемся ей как-то необычайно торжественным среди царившей в комнате тишины! Она посмотрела на стрелку каминных часов, маятник которых отмеривал ей, минута за минутой, секунда за секундой, остающееся у нее время на то, чтобы не дать ужасному видению стать непоправимой действительностью. Стрелка часовая стояла на четырех. Прошел час со времени ухода Пуаяна, а она сидела здесь, ничего не предпринимая, в то время как Габриелла поджидала ее у себя, готовая содействовать ей в деле примирения. Она быстро поднялась при мысли о потерянном времени, и без того так скупо ей отсчитанном. Она провела руками по глазам; и ее полное изнеможение сменилось лихорадочной энергией отчаяния. Она в одну минуту позволила свою горничную, переменяла домашнее платье на другое, и для ускорения дела велела позвать извозчика, чтобы не ждать, пока запрягут ее лошадей, и направилась на улицу Тильзит. Множество планов вертелось в ее разгоряченной голове, и в них на долю графини должна была выпасть главная роль. Но они все рушились от препятствия очень простого.

Долго прождав госпожу де Тильер, в свою очередь, страдаемая нетерпением, госпожа Кандаль поехала к

ней. Кареты их, вероятно, где-нибудь разминулись, так как швейцар уверял Жюльетту, что не прошло и десяти минут, как уехала госпожа Кандадь.

– Господи! – подумала госпожа Тильер, садясь снова на извозчика. – «Только бы ей догадаться подождать моего возвращения!» – Так поступить, конечно, было бы всего проще. Но в том-то и беда, что в самые критические минуты нашей личной жизни, когда так необходима точность и своевременность действий, самое простое не приходит нам в голову. Вместо того, чтобы дождаться своего друга, госпожа Кандадь, терзаемая тревогой, вздумала съездить в клуб улицы Рояля, вызвать мужа, если застанет его там, и узнать от него хоть что-нибудь. Бесполезность ее поездки была очевидна, так как она не согласовалась ни с часом, когда де Кандадь бывал там, ни с его привычками. А тем временем госпожа Тильер вернулась от нее к себе и узнала, что Габриелла действительно была у нее, и, не заставши, уехала, ничего не поручая передать ей. При этой новой неудаче госпожа Тильер совсем растерялась и вторично направилась на улицу Тильзит, где точно так же не нашла ту, которую искала. Видя, что все ее поездки взад и вперед ни к чему не приводят, она почувствовала, как ею все сильнее и сильнее овладевала мысль, казавшаяся ей последним спасением, и за которую она ухватилась со всею

страстностью отчаяния, для которого не существует никаких преград, никаких рассуждений! Ведь причиной дуэли Генриха с Казалем было оскорбление, нанесенное последним своему сопернику, которого он назвал в глаза трусом. Но если удастся добиться от Казалья, чтобы он принес извинение и взял назад это слово, тогда повод к дуэли исчезнет сам собой. Но как получить его согласие на извинение? Через кого? А почему бы не попытаться самой? Не поехать ли ей к нему сейчас же, показать ему, до чего она страдает, и умолять сделать все, все возможное, чтобы поединок не состоялся. Если Пуаян не мог этого сделать, как оскорбленный, то Казаль может, и если любит он, то даже обязан это сделать... А что он ее любит, это несомненно. Не из любви ли к ней он дошел до такой крайности! Да, вот где спасение! И как она раньше не подумала об этом? Когда она, посмотрев который час, с ужасом увидела, что потеряла еще сорок минут из тех немногих часов, которые оставались в ее распоряжении, она спрашивала себя, как ей поспеть к семи часам домой к обеду с матерью, вслед за которым в девять должен был прийти Генрих, когда теперь уже пять часов! Потеряв голову от страха, она как во сне постучала своей ручкой извозчику, бывшему уже на полдороге к ее дому, и дала ему адрес того, который, казалось ей, держал в своих руках всю



ее судьбу. Как во сне сошла она у подъезда его особняка на улице Лиссабон, позвонила, спросила, дома ли Казаль, и только тогда поняла, как безумен ее поступок, когда она очутилась в незнакомой комнате и к ней вернулось сознание! Совсем растерянная, она смотрела на стены этой комнаты, которую ей суждено было впоследствии так часто вызывать в памяти, смотрела на тонкие тона их обоев, на металлический блеск развешанного на них оружия, на блики в картинах и на весь нарядный беспорядок обстановки.

– Боже мой? – сказала она себе вслух, – что я наделала?..

Но теперь уже было поздно спрашивать себя об этом: Раймонд показался в дверях гостиной. Он сидел в своем рабочем кабинете, делая свои последние распоряжения, как, вероятно, в то же время делал их и Пуаян накануне серьезного поединка, как вдруг ему доложили, что его желает видеть одна дама, не сказавшая своей фамилии. Ему при этом тотчас представилось, что Кандаль разболтал обо всем жене и что она поспешила к нему, чтобы упросить его предоставить ее мужу уладить все дело. Но при виде госпожи Тильер он так был поражен, что на несколько мгновений приостановился на пороге двери. Ее страшная бледность и трепет, волнение, которое она не могла теперь скрыть, ясно доказывали ему, что она все уже

знает, а от кого же, как не от Пуаяна? Он инстинктивно сделал то же предположение о своем сопернике, которое тот сделал на его счет, и при этом новом доказательстве близости этих двух существ он также почувствовал в себе бешеную ревность. Но он проявил ее с жестокостью человека, долгие дни мучившегося подозрениями и которому нужно было оскорбить ту женщину, из-за которой он страдал и душу которой он хотел истерзать.

– Вы здесь, сударыня, – сказал он ей с грубой иронией в голосе, придя в себя от неожиданности ее появления. – Ах! Я догадываюсь... Вы пришли просить меня пощадить вашего любовника...

– Нет, – ответила она упавшим голосом, так он своими немногими словами задел самое живое, самое болезненное место сердца. Если она решилась на такой шаг, то нужно было добиться, чтобы он не пропал даром:

– Нет, я не пришла просить вас пощадить его жизнь; а мою, мою. Пришла просить не усугублять те муки, которые я терплю в течение стольких дней, сознавая, что два благородных человека подвергают свою жизнь опасности по моей вине... Только вы можете исправить все вами сделанное; и вот для чего я здесь, чтобы просить вас, умолять вас пощадить меня, совсем изнемогающую, меня, чувствующую себя не в

силах пережить какое-нибудь несчастье... Она говорила, не взвешивая слов, но не повторила ошибки своего разговора с Пуаяном, не ставила на одну линию свою одновременно тревогу за них обоих. В настоящую минуту она только видела перед собой завтрашнюю дуэль и помнила лишь о своем решении растрогать Казалья. Она не понимала, что ее слова были для него равносильными самому полному признанию. Не будь она так взволнована, она постаралась бы узнать сперва, что Казалью подлинно известно об ее отношениях к Генриху.

Но забвение предосторожностей, неспособность разобраться в чужой душе – самые обычные явления в те минуты, когда мы переживаем душевный кризис. Мы произвольно и без всяких колебаний допускаем, что другие люди думают о нас то же самое, что мы сами думаем о себе, и мы говорим с ними, следуя внушениям нашей совести, не разбираясь в бесчисленных оттенках, которыми сомнение отличается от уверенности. А между тем Казаль и после разговора с госпожой де Кандаль и даже после произошедшего во Французском театре все еще сомневался. Он поступал так, как будто знал об отношениях Жюльетты к де Пуаяну. Он говорил себе, что она – его любовница, и считал бы себя сумасшедшим, если бы думал иначе. Тем не менее он все еще не вполне этому верил.

Так всегда бывает, когда любишь! Самые пустячные указания дают повод к самым тяжелым подозрениям, а доказательства самые убедительные или кажущиеся нам таковыми оставляют еще место последней надежде. Допускаешь, что все возможно, хочется это допустить, а тайный голос шепчет нам: «А не ошибся ли ты?» Зато, когда мы должны признать очевидность, на сей раз неопровержимую, мы так глубоко потрясены, как будто никогда и не подозревали ничего. В горячих мольбах госпожи Тильер Казаль увидел только одно несомненное доказательство ее связи с Пуаяном! Когда он назвал Пуаяна «ваш любовник», она ответила: «Я не затем пришла, чтобы просить вас пощадить его жизнь». Она, так сказать, принимала самый факт, как нечто неоспоримое, как точка отправления, с которой она начнет разговор; и при этой мысли, жегшей ему сердце, как раскаленным железом, он грозно подступил к ней, скрестив руки на груди:

– Итак, – сказал он, – вы сознаетесь, он ваш любовник... Увы! Несмотря ни на что, я не хотел, я не мог верить этому. Ваш любовник... Он ваш – любовник! Как же вы меня одурачили! Каким я был ребенком перед вами! И славно же вы надсмеялись над этим несчастным Казалем, который приходил к вам с видом безнадежно влюбленного, а вы – вы принадлежали тогда другому. Вас я любил неведомой мне доселе

любовью! Я не смел даже говорить вам о моих чувствах... Но нужно вам отдать справедливость, вы отлично изучили искусство кокетки, только забыли, что оно не остается безнаказанным, когда в нем изощряются с теми людьми, у которых есть сердце. Я убью вашего возлюбленного, слышите ли вы, убью; это так же верно, как то, что вы лгали мне в продолжение двух месяцев, каждый день, каждый час!.. О, я отлично понимаю: ваше тщеславие красивой женщины было польщено тем, что вы твердили себе: бедный молодой человек, как он несчастен! Но на что он вправе жаловаться? Я ничего ему не обещала и ничего ему не позволила... Разве я виновата в том, что он меня любит?.. Да, вы виноваты в этом; а так как я могу нанести удар вам, только поразив этого человека, который выдал тайну нашей дуэли, вероятно, чтобы спасти себя, — я убью его и тем отомщу вам. Посоветуйте ему не промахнуться завтра, так как я сделаю все возможное, чтобы убить его... А затем, сударыня, прощайте, нам не о чем больше говорить...

Как жестока была его речь и какой ужасный контраст являла она по сравнению с тем благоговением, которое звучало в голосе Казаля, в каждом его слове с первой же встречи, вечером, за обедом у госожи Кандаля, когда она сидела с ним за столом, убранном гирляндой русских фиалок!

И как быстро дикая, непобедимая страсть отуманила их до полного забвения всяких приличий, если он позволял себе говорить ей так резко такие ужасные вещи, а она слушала их!..

Да, она слушала его, не прерывая, подавленная его презрением, которого так боялась, которого не заслуживала, хотя действительность была против нее, и которым возмущалась ее любовь! Эта жестокость его слов делала ее почти безумной, грубо оскорбляя все, что было в ней самого чувствительного, самого болезненно чуткого и нежного; она обратилась к нему, называя впервые тем именем, которым уже столько дней называла про себя:

– Нет, Раймонд, я не могу перенести, чтобы вы так говорили со мной, так судили обо мне! Неужели тайный голос вашего сердца не говорит ничего? Неужели вы не можете поверить мне на слово, что вам не все известно?.. И как вы, так хорошо знающий жизнь, не сказали себе при первых же ваших подозрениях: нет, эта женщина не кокетка, а жертва мне неизвестных роковых обстоятельств! Она была со мной искренна, она и теперь такая же... Она заинтересовалась мною, полюбила меня... Да, я вас любила, Раймонд, люблю вас и теперь... А если б я не любила вас, то разве мысль о предстоящей между вами дуэли могла бы потрясти меня до такой степени, чтобы я пришла к вам, –

я, Жюльетта Тильер?.. Да, это правда, когда вы вторглись в мою жизнь, я не была свободна, я не должна была себе позволять принимать вас, как я это делала... Я понадеялась на свои силы. А у меня их оказалось мало. Я не видела, к чему иду... так все шло быстро, увлекательно, неизбежно... И разве я тогда знала, как сильна ко мне любовь другого? Мне сразу сделалось все ясно: и мои чувства к вам, и те страдания, которые я причиню этому благороднейшему человеку... Вам, мужчине, не понять, почему мы не можем искать своего счастья, когда должны купить его ценой агонии другого человека. А между тем это так, я остановилась перед этим. Когда я увидела, как глубоко страдает возле меня человек, неизменно сохранивший ко мне свою любовь, я только нашла в себе силу утешить его боль, чтобы спасти этим хоть что-нибудь... Я не лгу вам, я не спорю с вами, а открываю вам всю глубину моей немощи! Ничто не изменилось и теперь! Посмотрите на меня, и вы убедитесь, к чему меня привел тот надрыв, те усилия, которые я испытала, порывая с вами. Видите, как я бледна, как я измучилась, – неужели я не вправе сказать вам: не усугубляйте моих страданий. Не допускайте, чтобы упрекали меня в том, что я убийца ваша или его!.. Ах! Может ли кто страдать больше моего! Это выше моих сил!..

Она была так прекрасна, когда передавала ему эту

странную душевную драму, роковой жертвой которой, как она сказала, сделалась она сама. Такая страдальческая красота не может не затронуть самых чувствительных струн человека. И какую искренностью было полно ее признание в своей душевной немощи, истекавшей из слишком большой утонченности и сложности ее чувств!

Казаль невольно поддавался трогательному обаянию ее прелести; а ее чистосердечие притягивало его к ней, как магнит. Его гнев сменялся беспредельной жалостью к тому, что она так удачно назвала «глубиной своей немощи». Он только теперь увидел в настоящем ее виде эту женщину, которую сперва боготворил, а потом проклинал; она была непоследовательна и так благородна, так хрупка и так впечатлительна, так влюблена в идеал и так слаба, так подвластна бурным противоположным порывам и так ужасно наказана! А за что? За невозможность ни примириться с собой, ни отказаться от самой себя! Ему стало стыдно за свою грубость; он так же, как и Жюльетта, не мог вынести вида сердца, которое билось так близко от него; ему захотелось утешить это сердце и прежним голосом – тем голосом, который был у него, когда он еще не питал никаких подозрений, он сказал Жюльетте:

– Ах! Отчего вы мне раньше не сказали всего этого? Отчего не открыли мне всей правды, когда я пришел



к вам, после моего разговора с госпожой Кандаль? Я все понял бы и простил... Теперь уже слишком поздно... Вы меня просите устроить это дело? Увы! Это уж более не в моей власти... Принести извинение на месте поединка? Нет, я никогда этого не сделаю! Это невозможно!..

– Невозможно, – воскликнула она, ломая руки, – невозможно! И вы еще уверяете, что любите меня! В вас говорит гордость, Раймонд, а не сердце... Я вас умоляю, – если я была с вами и доброй, и нежной, если вы мне вернули доверие, если вы меня действительно простили, если вы меня любите, – исполните мою просьбу, послушайте меня... Говоря так, она все больше придвигалась к нему, неотступно моля его и словами, и взором, и всем своим существом; силою внушения как бы покоряя его своей непреложной воле, чтоб сломить его сопротивление; наконец, он сказал ей тоном человека, который жертвует своею гордостью, насколько это в его силах: «Вы этого хотите... Я могу еще сделать следующее, но не просите ничего больше; я могу написать Пуаяну письмо, в котором выражу сожаление, что позволил себе оскорбить опрометчивыми словами такого храброго человека, как он... Я вам обещаю написать письмо в такой форме, чтоб ему было возможно удовольствоваться им... Но если, несмотря на мои письменные извине-

ния, он потребует удовлетворения с оружием в руках, я должен буду согласиться на это и, конечно, выйду к барьеру».

– А когда он получит это письмо? – спросила Жюльетта, собравшись с силами, – сейчас же?..

– Хорошо. Сейчас же, – ответил Казаль, немного помолчав, – даю вам в этом мое честное слово.

– Ах! – воскликнула она, – благодарю вас, благодарю! Какой вы добрый! Как вы меня любите!..

Теперь это было уже ее дело уговорить Пуаяна, и она не сомневалась – не хотела сомневаться, – что после письма Раймонда ей удастся убедить его, когда он вечером придет к ней, отказаться от мщения. Разве ей не удалось одним своим присутствием смирить гнев, ревность и гордость того, кто принял ее сперва так грубо? От чувства благодарности, охватившего ее, от облегчения принесенного ей успешностью ее просьбы она заплакала, и силы изменили ей. Она схватила его руки в порыве страстной благодарности. Вдруг он почувствовал, что она вся дрожит. Он испугался. Как бы с ней не повторился здесь, у него, такой же обморок, как случился тогда у нее во время его последнего посещения; он поддержал ее одной рукой, и она не оттолкнула его. Он снова увидел у себя на плече это бледное личико, изнуренное тоской, с просвечивающей сквозь слезы как будто детскою улыбкой

довольства; точно после такого напряжения ее бедному истерзанному сердцу было бесконечно сладостно отдаться во власть этой опасной, этой неизреченной и губительной нежности. Он дерзнул погладить ее исхудавшую щечку, и она не сопротивлялась; его уста прильнули к ее трепещущим устам, и они слились в поцелуе. Было ли это в ней нервным опьянением, наступающим после слишком сильного страха? Проснулся ли в нем тот странный, глубокий и в то же время мучительный пыл, который возбуждает в нас сознание, что другой обладал той женщиной, которую мы любим? Было ли это у обоих то смутное сознание трагизма судьбы человеческой, горести жизни, которое так непонятно и так властно связано с бурными порывами сладострастья? А может быть, так как они любили друг друга, это было просто властное, тираническое безумие любви, благодаря которому, когда придет час, руки сплетаются, соединяются уста, сливаются души в страстном опьянении чувств вопреки разуму, судьбы, воли и гордости. Он увлек, вынес на руках ее из этой комнаты, где у них произошло такое мучительное объяснение. Она не сопротивлялась, И когда долго, очень долго спустя, она вышла из этого дома, в который вошла, обезумев от смертельной тревоги, она уже вся принадлежала человеку, которого приходила умолять отказаться от мщения. Да, она отдалась

Казалю!..

# Глава XI

## Последний закоулок лабиринта

Известный афоризм древних на счет грусти, охватывающей всякое живое существо после упоения страстью, верен не только сам по себе, является не только истиной физиологической. Он применим и к жизни общественной, если можно так выразиться; так обыкновенно тяжелы условия, при которых наша мысль пробуждается от чувственного опьянения, и наша личность снова сознается нами, личность, от которой мы считали себя совсем отрешенными, тогда как она только на время отдавалась другому!

Нам приходится снова стать обыкновенным человеком, который хлопочет, занимается своей профессией, следит за своими интересами, помнит о той роли, которую он играет в обществе, исполняет свои обязанности. Приходится вновь превратиться из любовницы, для которой ничего не существует, кроме возлюбленного, в светскую женщину, на которой лежит столько скучных обязанностей по ведению дома, отдаче визитов, поддержанию своей репутации и по мелким бесчисленным заботам обыденной жизни! Счастлива еще та, которую не ждут дома поцелуи до-

верчивого мужа или ласки невинного ребенка, когда она еще не остыла от восторгов запретной страсти! Если бы еще эти ужасные переходы от идеала к действительности совершались постепенно! Нет! Большею частью нас возвращает к житейской прозе самая пустая мелочь, какое-нибудь минутное потрясение! Так случилось и с госпожой Тильер: после того как она забыла весь мир в объятиях Казаля, ее сразу вернул к сознанию ужаса своего положения самый грубо-вульгарный случай: извозчик, которого она не отпустила, соскучился в ожидании ее выхода и сошел с козел. Он ходил взад и вперед около кареты, и толстые подошвы его сапог громко стучали на сухой панели. Увидев ее, он открыл ей дверцу кареты с добродушным, веселым лицом, на котором она прочла самую оскорбительную насмешку. Почти упавшим голосом она велела ему ехать в парфюмерный магазин на улице Сен-Оноре – первый пришедший ей в голову адрес. Она только что вспомнила: извозчика привел ей ее лакей. А что, если этому шутнику-кучеру захочется узнать, кто она, и он пойдет спрашивать ее людей и скажет об ее двухчасовом визите? Какой визит и кому?.. При одной этой мысли краска стыда залила ее лицо, и она вся оцепенела от испуга. Тут только она поняла, что совершилось нечто непоправимое, нечто неожиданное, самую возможность кое-

го она не допускала: она, госпожа де Тильер, имела другого любовника! И при каких обстоятельствах она ему отдалась? Накануне поединка, который стал неизбежным по ее же вине, между двумя существами, с одинаковыми теперь правами на нее? Нервная возбужденность внезапно сменилась в ней невероятным стыдом. Извозчик остановился у названного магазина; она рассчитала его, не решаясь глядеть на него. И в магазин она точно так же не посмела войти. Ей казалось, что ее позор виден по ее лицу, по малейшим ее жестам, и она не смела глядеть на прохожих. Она сделала несколько шагов вперед, точно за ней следил какой-нибудь шпион, которому поручили узнать, куда и откуда она идет. Улица Матиньон была позади нее, но она заметила это только тогда, когда очутилась на одной из широких аллей, ведущих к Триумфальной Арке. Становилось темно, и первые фонари зажглись своим белым светом. Она посмотрела на часы; половина девятого.

– Боже мой! – подумала она, а мать ждет меня более часу! Как она будет беспокоиться, и что ей сказать? Да, что сказать ей? – И новый ужас представил ей старушку-мать с ее глазами полуглухой женщины, такими пронзительными, такими острыми и так привычными читать в ее сердце благодаря почти сверхъестественной прозорливости ее любви к дочери. Как

выдержит она этот взгляд? Ей почти сделалось дурно от страха! Она присела на скамейку в отдаленном уголке аллеи, почувствовав, как она сразу пришла в отчаяние и в полное изнеможение. Не в такие ли минуты полного внутреннего смятения внезапно принимают решение, которое остается загадочным для самых близких друзей, – покончить с собой, и госпоже Тильер невольно пришла мысль о смерти! Ей только стоило позвать проезжавшего извозчика и велеть ему везти ее к ближайшему мосту. Воображение представляло ей глубокие зеленые воды реки, тихо текущей в эти вечерние сумерки. В первый раз в жизни она почувствовала желание полного успокоения, она, доселе такая энергичная, так твердо решившая жить, так умевшая владеть собой! И скольких несчастных влекло, быть может, на этом же месте, в такие же печальные сумерки, к этому великому успокоению: голодную нищенку, покинутую девушку, ревнивую любовницу. Все действия нравственные или физические приводят к этому печальному искушению, все пробуждают в сердце жажду небытия, а перед некоторыми страданиями равны и светская дама, и уличная бродяжка. Но, несмотря на смятение и расстройство ее чувств, Жюльетте слишком было присуще сознание долга, чтобы она могла решиться умереть, не вспомнив о тех, кому она была необходима. На мгновение,



как в галлюцинации, она увидела отчаяние матери, когда ее принесут к ней мертвую; она словно увидела перед собой госпожу де Нансэ. – Нет! – сказала она себе, – я никогда не причиню ей такого горя! – И быстро встала со скамьи, все повторяя:

– Ах! дорогая, дорогая мамочка. От нее нужно все скрыть. У меня хватит на это силы. – И подозвала проезжавшего извозчика, но не для того уже, чтоб он ее свез к Сене. Она решила храбро вернуться домой и еще раз прибегнуть ко лжи, чтоб по крайней мере пощадить одно из тех лиц, которые любили ее. Всем прочим: Пуаяну, Казалю, Габриелле, как много она причинила забот. – Снова лгать! – говорила она себе. – Господи! как много, много приходилось ей лгать с тех пор, как она запуталась в своих чувствах, точно в лабиринте. Но что значили эти упреки совести по сравнению с тем тяжким гнетом, который отныне будет терзать ее совесть? Усилия, которые ей пришлось делать, чтоб придумать для матери объяснение своего запоздания, имели, по крайней мере, тот хороший результат, что отрезвили ее от упоения любви и от безумия отчаяния, последовавшего за ним. Страдать теперь ей придется, пожалуй, еще сильнее от безвыходности положения, в которое она попала, но теперь это была боль определенная, ее можно обсуждать сравнительно спокойно, а не в том смятен-

ном состоянии духа, когда человек, потерявши всякое самообладание, не умеет даже страдать с достоинством. Без особенного труда она нашла себе извинение перед матерью, не вызвавшее в старушке никакого сомнения, – так оно было просто и так подходило к бледному цвету лица, к поблекшим глазам и усталому виду ее дочери.

– Мне сделалось дурно на улице, – сказала Жюльетта, – когда я возвращалась пешком, чтобы пройтись немного, и меня внесли в аптеку. Я не позволила, чтоб вас предупредили об этом, боясь, что вы встревожитесь, дорогая мамочка, а вышло, что вы еще более измучились в ожидании.

– Только бы сейчас же застать доктора, – ответила госпожа де Нансэ, слишком испугавшись страдальческого вида дочери, чтоб заподозрить ее в чем-нибудь. – Бедное дитя, ты так расстроена, а все же подумала обо мне... Какая ты добрая. – Говоря так, она нежно ее обнимала, не подозревая, как Жюльетта страдала от ее чрезмерного доверия к ней.

– Но мне уже лучше, – ответила последняя, – пусть доктор приедет завтра утром, если ночью мне станет хуже... Я попробую отдохнуть.

– Да, поди приляг, – сказала госпожа Нансэ. – А я беру на себя принять Габриеллу, которая заезжала три раза и обещала вернуться к 9 часам... Нужно ли

ей передать что-нибудь от тебя?

– Нет, ничего, дорогая мама; объясните ей, что я вернулась, очень дурно себя чувствую и не могла остаться ее ждать. Я совсем ослабела.

В этом ей нечего было прибегать к обману. У нее достало сил, чтоб выдержать встречу с матерью. Но ни Габриеллу, которая будет говорить о Казале, ни Пуаяна, особенно последнего, обещавшего зайти к 9 часам, она уже не смогла бы принять! Завтра, когда она вновь наберется сил, она будет снова владеть собой. В настоящую же минуту ей было необходимо остаться одной, хотя она знала, какие ужасные видения будут преследовать ее в эту бессонную ночь. Но ей уже не приходилось считаться со страданиями. Человек, переживающий такие страшные душевные бури, уподобляется солдату, который в пылу сражения не чувствует своих ран и даже не прячется от пуль. Жюльетте было необходимо разобраться в самой себе. Ее поступок был так непредумышлен, так неожидан, что ей нужны были часы и часы, чтобы допустить, что это – действительно совершившийся факт, что она отдалась Казалю! Как только она легла и осталась в темноте, к ней вернулось полное обладание своими мыслями; ею неотвязчиво овладело сознание, что она принадлежала Казалю, что это была суцая правда! Руки, которые она теперь, как больной ребенок, дер-

жала сложенными на груди, обнимали Казалю; уста, которые время от времени жалобно шептали только: «Господи, сжался надо мной!.. Господи! Господи!» – горели от его поцелуев. Эти поцелуи еще и теперь, при одном воспоминании о них, разливали по всему ее существу страстный восторг. Что отуманило ее до такого забвения? Какая роковая сила привела ее к этому дому, к этой комнате, к этому неизгладимому моменту, когда она не смогла оттолкнуть человека, к которому пришла только для того, чтобы просить пощады! Перед ее умственным взором прошли одна за другой все картины пережитого дня: ее одинокая прогулка по аллее ее садика, приход Габриеллы, разговор с Генрихом, езда в карете и ее внезапная решимость ехать к Казалю. Невероятная быстрота, с которой совершилось ее падение, только увеличивала ее стыд, и она громко повторяла себе, с таким отчаянием в голосе, что он ей казался чужим:

– До чего я себя презираю! Как я себя презираю!..

Но презирать себя, мучиться угрызениями совести, проливать над собой слезы, подобные тем, которые проливают умирающие, всем этим можно искупить, но не уничтожить факта, который стоял тут, перед нею, со всеми своими немедленными последствиями. Завтра она увидит де Пуаяна. Как ей поступить? Она сознавала, что благороднее всего сказать ему всю прав-

ду, признаться в своем безумном увлечении и подвергнуться вполне заслуженному возмездию беспощадного оскорбительного разрыва. Она представила себе подробности этого признания, измученное лицо Генриха, его взгляд, в то время как она будет говорить, и с невыразимым ужасом она сознала, что хотя и изменила такому благородному сердцу, но эта измена не убила в ней ее болезненной чувствительности к скорбям этого человека! Мысль, что своею исповедью она так жестоко растерзает его сердце, заставила ее отказаться от своего намерения и сказать себе:

– Нет, я никогда не признаюсь ему в этом. – Разве нельзя было разойтись и без подобного признания? А разрыв с ним на этот раз был неизбежен, так как принадлежать одновременно двум было бы таким падением, до которого она никогда не дойдет. Нет, у нее не будет зараз двух любовников! Увы! А разве это не было так? Разве она не отдалась второму, не выяснив своих отношений к первому? И тот, и другой не имели ли оба права сказать себе в это самое время: «Тильер моя любовница...»? При мысли о таком позоре она, чтоб оправдать себя перед собственной совестью, повторяла: – Меня смутила эта история с дуэлью. Я потеряла голову. Если б не грозившая опасность, я больше никогда бы не увидела Казаля. Никогда! Никогда!.. Но по крайней мере я помешала им

даться! – А была ли она уверена в этом? И внезапно охвативший ее при этом панический страх окончательно сразил ее. Она так говорила, после обещания Казалья, как будто Пуаян удовольствовался его извинительным письмом. А примет ли его Пуаян? Без сомнения, он принял бы, если б она могла его повидать в 9 часов, как было условлено, переговорить с ним, покорить его своему влиянию. Но она отказалась от этого свидания. Уже сказывались печальные последствия ее измены. Если дуэль теперь состоится, она будет вдвойне виновна в ней. А дуэль состоится непременно. И, как обыкновенно бывает в подобных случаях, ее расстроенное воображение остановилось на предвидении самого худшего. К ней вернулись все ее тревоги, к которым присоединился ужас сознания, что теперь дуэль произойдет между двумя ее любовниками, и в эту минуту она еще более дрожала за них обоих. Думая о Казале, она, несмотря ни на что, была охвачена трепетом упоения иным наслаждением, которое испытала в его объятиях; а между тем чувство к тому, которому она изменила, так глубоко пустило корни в ее сердце: сделав попытку вырвать это чувство, она еще сильнее почувствовала его живучесть. Она только усыпила его. Она так жалела Пуаяна, причинив ему такое оскорбление, и так при этом мучилась упреками совести! Ах! как ненавистна, как пре-

ступна двойственность ее сердца. Но где найти силы победить ее в настоящее время, когда, после такой искренней борьбы, чтобы привести его к единству, она обратила в факты то, что таилось в самой глубине сердца. Все ее самые добросовестные старания привели только к чудовищному результату: теперь Казаль имел на нее такие же права, как Пуаян. Как получить исцеление? Как даже понять самое себя? И она твердила:

– Нет, это неправда, нельзя иметь двух любовников зараз, как нельзя любить обоих. Можно любить только одного из двух!..

Но сколько ни повторяла она это предписание совести, сколько ни хваталась за него, чтоб не поддаться преступному искушению, она не переставала сознавать в себе эти два противоположные чувства, которые не уничтожали, а напротив, только сильнее распаляли друг друга. Точно так же она постоянно видела опасность, которой подвергались оба ее друга. Под утро, после того тревожного шестичасового сна, который наступает после тяжелого кошмара, в ней промелькнул луч надежды. Ей подали письмо, принесенное еще накануне вечером, с просьбой передать ей немедленно. Она увидела, что это – почерк Казаля. С волнением вскрыла она конверт и вот что прочла:

«Вторник, вечером:

Я сдержал свое слово, милый друг, и написал г-ну де П... Письмо это, так дорого мне стоившее, докажет Вам, как я желаю сделать Вам приятное. Эта записка выразит Вам и всю мою благодарность. Не сожалеете ли Вы о том, что для меня сделали? Если, как я надеюсь, все устроится, я зайду к Вам завтра около двух часов и расскажу обо всем сам. Если бы я был уверен найти Вас такой, какой Вы были сегодня, я попросил бы Вас прийти ко мне выслушать все это и многое другое. Но я понимаю, что это было бы неосторожно. Не могу ли я надеяться, что Вы скоро вернетесь, если не ко мне, то в какой-нибудь более безопасный уголок, где бы я мог Вам подтвердить, насколько я весь Ваш.

*Раймонд».*

(Копия).

«Милостивый государь.

Накануне нашего поединка я решаюсь на шаг, который можно было бы странно истолковать, если бы я не доказал уже, как и Вы, впрочем, своей храбрости, и если бы не добавил, что Вы вольны не придавать никакого значения настоящему письму. В последнем случае считайте просто, что я ничего не писал Вам. Но я хочу облегчить этим мою совесть. Такие талантливые и достойные люди, как Вы, редки, и жизнь их слишком дорога стране,



поэтому я, без всякого смущения, выражаю Вам сожаление по поводу того, что при нашем последнем свидании я не смог сдержать себя. Повторяю, милостивый государь, я пишу Вам, чтоб успокоить свою совесть, и если Вы не удовлетворитесь настоящими словами, я остаюсь в Вашем распоряжении, как было условлено. Но, что бы Вы ни решили, прошу Вас считать мое письмо доказательством моего особенного к Вам уважения.

*Казаль».*

– Генрих не может не принять извинений, сделанных в такой форме, – сказала молодая женщина, после того как несколько раз перечла оба письма Казаля, написанное на одном и том же листе бумаги; такое совмещение показалось ей несколько грубым, почти неделикатным, и в этом ей приходилось упрекнуть Казаля в первый раз за все их знакомство. Ей не хотелось бы, чтоб он одновременно и так свободно говорил и о своих чувствах, и о своем сопернике. Конечно, все дело сводилось лишь к тому, какой оттенок придал он своему отношению к ней; но для женщины, умеющей их отличать, этого было достаточно, чтобы она почувствовала боль, несмотря на тот страшный кризис, который она переживала. Точно так же было ей больно и от просьбы Раймонда о новых свиданиях, которые заключались в конце его письма. Под на-

ружными выражениями уважения чувствовалось желание предъявить свои права на нее и на ее волю. Он обращался к ней как к любовнице, с которой еще не фамильярничают, но на любезность которой твердо рассчитывают. Неужели ей хотелось, чтобы Казаль, после того, как она отдалась ему, счел это случайным приключением, без всяких последствий. Ведь его записка доказывала, что он считает себя как бы связанным с нею! Но почему вместо того, чтобы увидеть в его словах доказательства его искренности, она почувствовала себя глубоко оскорбленной ими! А с другой стороны, не было ли у нее в руках доказательства, как он покорился ее желанию, написав Пуаяну такое письмо, которое так трудно было ему написать. И ей стало досадно на себя, что она не чувствовала никакой благодарности за этот шаг, который непременно должен привести их к примирению. Она принялась взвешивать каждое слово в письме Казалья к Пуаяну и должна была признать, что оно написано тонко и убедительно.

– Спасены! – сказала она себе, – они спасены! И теперь не жаль, что я погибла!

Но несмотря на эту надежду, ее беспокойство продолжалось, и около 10 часов она нашла какой-то предлог, чтоб послать к Пуаяну. Ей необходимо было убедиться, что граф был дома. Когда она узнала,

что, напротив, он вышел очень рано, – не сказав даже, когда вернется, – от надежды она перешла к тревоге, возраставшей с каждой минутой. Тщетно говорила она себе: «Как же я не подумала, что если дело уладилось, все же ему нужно повидать секундантов?» Но тревога ее не уменьшалась. Что делать? Разве послать и к Казалю? Она долго обдумывала, начинала несколько раз писать ему, но не решилась послать письма. В отчаянии она хотела послать к госпоже Кандаль, как вдруг отворилась дверь и вошла Габриелла. При виде ее расстроенного лица Жюльетта не могла уже более сомневаться:

– Они дерутся?.. – воскликнула она.

– Наконец-то я тебя вижу, – сказала графиня, не отвечая прямо на вопрос Жюльетты, который она могла принять и за крик ужаса. – Я понимаю, ты все время после полудня пыталась убедить Пуаяна... Но, узнав, в каком состоянии ты вернулась вчера, я тотчас догадалась, что тебе это не удалось. Да, они будут драться. Я теперь убеждена в этом. Вчера вечером я видела у мужа на столе запечатанный ящик с пистолетами, принесенный от Гастина... А сегодня утром, когда он уехал в восемь часов, ящика на столе уже не было... От швейцара я узнала, что он поехал к Казалю!..

Я все утро прождала его возвращения, чтоб узнать исход дуэли, какой бы он ни был. Прождав его до

одиннадцати, я не могла оставаться долее в неизвестности. Но что ты сама знаешь, говори же, что ты знаешь?

– Я знаю, что Раймонд оскорбил Генриха, – ответила Тильер, – больше ничего, и что в этом причина дуэли. Боже мой! Может быть, в эту самую минуту один из них умирает – и виновата в этом я! Поедем туда, Габриелла! Лишь бы не опоздать!.. Твой швейцар сказал тебе, куда поехал твой муж?.. А от швейцара Казалы или лорда Герберта можно узнать, куда они все наконец направились...

– Да ведь это же безрассудно, – возразила госпожа Кандаль, во-первых, мы приедем слишком поздно, если бы нам и удалось их найти... А потом я не допущу тебя так скомпрометировать себя. Ты делу не поможешь, а только окончательно себя погубишь... Мы должны считаться с нашим положением... Ну, не будь же такой слабой, подумай о своей чести.

– Ах! До чести ли мне теперь! – дико вскричала Тильер, – мне только бы спасти их жизнь, слышишь ли, только одного хочу, чтоб они остались живы...

– Замолчи, – сказала графиня, – кто-то идет. Действительно, вошел лакей. Его слова, в сущности такие обыкновенные, имели в настоящее время такое страшное значение для обеих, что они с ужасом взглянули друг на друга.

– Граф Пуаян здесь и спрашивает, угодно ли вам его принять.

– Просите, – ответила, наконец, Жюльетта. – Пойди в мою спальню, – продолжала она, обращаясь к Габриелле... – Мне твое присутствие может понадобиться... Ах! как я дрожу!

И, действительно, она едва могла стоять на ногах. Если дуэль состоялась, то Пуаян, значит, остался цел и невредим. А другой? А что дуэль состоялась, она отгадала это по первому взгляду на графа, стоявшего перед ней совсем бледным и в традиционном темном сюртуке, представляющем менее видную цель, чем всякий другой костюм. Она бросилась к графу, не думая уже о том, как он посмотрит на этот прием:

– Ну, что?.. – сказала она едва слышно.

– Поединок состоялся, – ответил он просто. – И вот я перед вами. Но, – прибавил он совсем тихо, – к несчастью...

Она посмотрела на него как безумная: – Он ранен?.. – спросила она. – Он... – она побоялась договорить. Граф опустил голову, как бы собираясь сказать «да» на ее недоговоренный вопрос. Она вскрикнула, и губы ее несвязно договорили: «Убит! он убит!» Как подкошенная, она упала на стул, закрыв лицо руками, она судорожно рыдала. Казалось, душа ее отлетит сейчас – так непосильны были для ее слабой гру-

ди вырывавшиеся оттуда стоны. Пуаян несколько минут глядел, какую жестокую скорбь выражали ее рыдания. Лицо его омрачилось глубокой грустью. Он подошел к ней и прикоснулся рукой до ее плеча.

– Можете ли вы и теперь отрицать вашу любовь к нему? – сказал он с тем выражением безысходной душевной муки, от которой Тильер всегда так страдала. Но теперь она едва ли сознавала, что граф перед ней. – Не плачьте, Жюльетта, и простите, что я вас подвергнул такому испытанию, но мне нужно было выяснить ваши настоящие чувства. Нет, он жив и только легко ранен в руку; доктор в настоящую минуту уже, вероятно, вынул пулю. Он будет жив... Мне, впрочем, все равно, жив ли он или мертв! Живого или мертвого вы любите его, а меня разлюбили... Я захотел узнать, насколько он вам дорог... Я солгал вам в первый и в последний раз и несу уже за это жестокое наказание, так как я видел вас так горько рыдающей! Да, жестокое наказание, но я предпочитаю его сомнениям последних дней!.. Пожалуйста, не отвечайте мне... Я вас не виню... Вы сами, может быть, не сознавали, до какой степени вы его любили. Теперь и вы, и я – мы это знаем.

Наступило несколько минут обоюдного молчания. Взрыв отчаяния, овладевший Жюльеттой, когда она сочла Казалья убитым, сменялся каким-то оцепенени-

ем, по мере того как говорил Пуаян; успокоившись на счет исхода дуэли, она, так сказать, была придавлена неоспоримой, неумолимой правдой. Только теперь, после стольких месяцев, их положение ясно определилось, и Жюльетта обличена в своей любви к Казалю, которую она так горячо отрицала. Впрочем, если б даже она не выдала себя своим отчаянием при первых словах графа, он все равно узнал бы всю правду. У нее не стало больше сил лгать ему – так она устала, так изнемогла от долгой внутренней борьбы со своим сердцем. Она продолжала сидеть, опустив глаза, с руками, сложенными на коленях, как преступница, ожидающая своего приговора, – и преступная еще более, чем мог это предполагать человек, стоявший перед ней и не находивший тоже силы продолжать разговор. Есть слова, после которых остается бежать, бежать далеко, не оглядываясь, – так много они приносят непоправимого. А тем не менее не уходят и после подобных слов... но тогда разговор напоминает раненого быка в цирке, мечашегося туда и сюда с ножом в ране и от каждого своего движения вонзающего его все глубже и больнее. Первая заговорила Тильер.

– Это правда, – сказала она умоляющим голосом. – Я борюсь столько уже дней с волнением, охватившим мою душу, и не могу совладать с собой. Правда и то, что вы вправе обвинять меня, что я не призналась вам

ни в смутивших меня чувствах, ни в моей борьбе с ними. Но правда и то, – продолжала она, возбуждаясь все более, – что ни на минуту, слышите ли, никогда вы не переставали быть дороги мне, так дороги, что малейшее ваше страдание непреодолимо влекло меня к вам, чтоб утешить, исцелить. Ваше счастье было мне необходимо для моего собственного. Я вполне была искренна, говоря вам, что ваши ласки мне так же необходимы, как воздух!.. Называйте как хотите это чувство, привязывавшее меня к вам и приведшее меня к отказу предложенного вами разрыва... Но знайте, что чувство это было и есть искренно и бескорыстно. Поймите хоть это, Генрих! Не думайте, что я играла перед вами комедию...

– Нет, – перебил он ее, – вы испугались моих страданий! Ну, вот я с ними перед вами. Смотрите на них... Я все знаю, все понимаю – и все-таки жив и буду жить. Я не в том возрасте, когда не умеют отказаться от счастья. Но и в мои годы жаждут правды; а она в том, что вы меня разлюбили, Жюльетта, и любите другого. И если я пожелал иметь неоспоримое окончательное доказательство тому, то единственно для того, чтобы быть вправе сказать вам без горечи упреков: «Вы свободны! Располагайте вашей свободой, как хотите...» Все, – слышите ли вы? – все предпочтительнее этой душевной слабости, так долго мешавшей вам храбро



взглянуть в ваше сердце; все предпочтительнее этому тяжелому состраданию, этим колебаниям между такими противоположными чувствами; это довело вас до того, что вы нанесли мне такую смертельную обиду, – мне, любовь которого вы так знаете и цените.

– Смертельную обиду?.. – повторила она. Что же подозревал он в ее отношениях к Казалю? Что скажет он ей больше? И, вся дрожа, она сказала: «Объясните, чем я вас смертельно обидела...»

– Прочтите это письмо, – ответил он, протягивая ей листы бумаги, на котором ее растерянный взор узнал почерк Казалю; это было письмо, с которого она получила копию. – И что вы скажете? Я все могу выслушать, и вы должны мне сказать все. Вы ли просили его написать мне свои извинения? Ведь сам он никогда не принес бы их мне!

– Да это я! – проговорила она с усилием. – Простите меня, Генрих, я была, как безумная. Вы так жестоко оттолкнули меня; у меня только и оставалась эта надежда, эта слабая надежда помешать дуэли.

– И вы не подумали, что если б я удовольствовался его извинениями, он мог бы считать меня трусом, упросившим вас добиться их от него?

– Нет, Генрих, – вскричала она, – уверяю вас, что у него ни на минуту не явилась подобная мысль. Он знает, насколько вы храбры, а при этом ему достаточ-

но было взглянуть на меня, чтобы понять, что я обезумела от отчаяния...

– А! – возразил граф, – он с вами вчера виделся?

– Да! – ответила она с новым усилием.

– Здесь? – спросил де Пуаян. Видно было, что ему тяжело было предложить ей этот вопрос.

– Нет, – ответила она на сей раз с решимостью человека, которому надоело притворство и который предпочитает погубить себя, чем продолжать обманывать.

– У него?..

– У него!..

Они посмотрели друг на друга. Ее лицо покрылось смертельной бледностью, а когда она увидела, как от ее ответа выражение мучительной скорби отразилось на всем его существе, она снова уступила чувству неудержимой жалости, так часто останавливавшей ее порывы к откровенности. В этот торжественный час последнего объяснения, так же как и во всю прошлую ночь, она сознавала, что только полною, абсолютною исповедью ей возможно искупить свой грех перед ним. Поступив так благородно, она могла бы еще сохранить к себе уважение. Но как будет страдать от ее признания он, бывший ее другом в течение стольких лет! Вместо признания она с мольбой сказала ему:

– Не судите меня по наружности...

– Жюльетта, – обратился он к ней, схватив ее руку, – поклянись мне, что это неправда, – спросил он таким упавшим голосом, какого она никогда не знала в нем. – Поклянись, что между этим человеком и тобой не произошло ничего такого, чего бы ты не могла мне сказать... Я могу пожертвовать моим счастьем, оставив тебя ему, если ты его любишь. Но не так, не с этой мыслью, что накануне нашей дуэли... Нет, это недопустимо... Поклянись же мне... Поклянись.

– Между нами ничего не произошло. Клянусь вам в этом, – ответила она совсем разбитым голосом.

Граф провел рукой по своим глазам, точно для того, чтобы прогнать это ужасное видение. Затем тихо и с грустью продолжал:

– Вот доказательство, до чего ревность может довести сердце, стоящее однако ж больше этого... Простите мне оскорбительное подозрение... Это будет последнее. Я теперь не имею права так говорить с вами, да и прежде не имел его, так как побуждения, которые могли вас заставить иногда лгать, исходили из такого благородства, что не позволяли мне так оскорбить вас... Я тоже на несколько минут сделался безумным! Забудьте же эти оскорбления... Я обещаю вам, что сумею быть вашим другом, только другом... Теперь я слишком взволнован... Завтра, если позволите, я при-

ду к вам в два часа. Мы будем оба более спокойны и побеседуем. А пока прощайте...

– Прощайте! – ответила она, почти не глядя на него. Ее все удручало: и только что произнесенная ложь, и ее преступная измена по отношению к человеку, настолько сохранившему благородство, даже при всей своей ревности, что он считал себя виноватым перед нею в самом справедливом из подозрений. Ее угнетали и предчувствие, что за сегодняшним объяснением тотчас последует окончательный их разрыв, и горечь от стольких пережитых сильных испытаний. Когда граф пожал ей руку, он почувствовал, что при этом она осталась холодной и не ответила на него пожатием! То скорбное выражение, которое она в нем заметила прежде, снова вернулось к нему, но теперь в нем было столько нежности, столько смертельной грусти. Глаза его были полны той бесконечной, безмолвной печали, которой отдается человек, когда приносит себя в жертву любимому существу. Господи! Как часто потом она его представляла себе таким, и как всегда при этом ей слышалось его глухое «прощайте!»

– Между тем госпожа Кандаль, встревоженная, что ее не извещают об уходе графа, решила приотворить дверь и застала Жюльетту как окаменелую, опирающуюся руками на камин. Она так и осталась, после того как встала, чтобы вернуть Пуаяна, но потом

спросила себя: «Зачем?» и так и замерла, забыв и Габриеллу, и время, сознавая только одно, что она побеждена, сломлена и разбита жизнью.

– Случилось несчастье? – спросила графиня, обманутая ее видом.

– Нет, – ответила Жюльетта, – хотя дуэль состоялась... Но Казаль получил лишь незначительную рану... Через несколько дней он, по всем вероятностям, со всем от нее оправится...

– Вот видишь, как все устроилось лучше, чем мы могли ожидать. Но почему же ты так печальна? Что тебе говорил Пуаян?

– Не спрашивай меня об этом, – резко ответила ей Жюльетта, – оставь меня, я погибла по твоей вине. Если бы ты не познакомила меня с Казалем, если бы не зазывала его к себе, ко мне и не говорила бы мне о нем так, как говорила, могло ли бы случиться все это?.. – И вслед за этими резкими словами, увидя слезы Габриеллы, она бросилась к ней на шею; такая непоследовательность служила новым доказательством ее душевного расстройствa, отдающего ее бедное сердце самым противоположным чувствам! Габриелле не удалось ее успокоить самыми нежными ласками; не удалось и узнать настоящую причину ее печали. Но, должно быть, ее разговор с Генрихом глубоко потряс ее, потому что она рассеян-

но приняла слова госпожи Кандаль о том, что она пошлет узнать о состоянии здоровья Казалья и тотчас же известит ее о нем... Оставшись одна, она снова отдалась своим мыслям, но теперь не образ Казалья неотступно преследовал ее. Она постоянно видела перед собой Пуаяна, просящего ее поклясться, что ее совесть чиста перед ним; постоянно слышала его голос, которым он ей сказал: «Прощайте!»

Ей было необходимо вновь увидеть его, переговорить с ним, открыть ему себя. А для чего? Чтоб опять лгать! Чтоб показать ему еще новый оттенок ее преступного двоедушия!.. Нет! теперь все уже сказано, все покровы сняты! Неужели после того, как он решился, наконец, произнести слово «расстанемся», слово, которое она сама так долго не решалась произнести, она может желать возобновления преступных изворотов, тяжелых отговорок? Ведь это будет безумием! Что могла она ждать от Генриха после его сверхчеловеческого отречения? В каких тайниках ее сердца могло возгореться желание вернуться к тому, что так долго тяготело над ней непрерывной цепью страданий, и вернуться именно тогда, когда, отдавшись другому, она могла, наконец, зажить простой спокойной жизнью. Она думала над этими вопросами весь конец дня и всю ночь и ни на чем не смогла остановиться; наконец, наступило время, когда дол-

жен был прийти Пуаян. Час... половина второго... два часа... А его все нет. Страшась, чтоб он не решился на какой-нибудь роковой шаг, она велела запрячь карету и поехала к нему, где ей сказали, что граф вышел и что неизвестно, когда он вернется. Она поспешила вернуться к себе, думая застать его у себя: но его и здесь не было. Тогда она написала ему несколько слов, но ответа не получила. И только на следующее утро, после самой тревожной ночи, ей подали конверт, на котором она тотчас узнала его руку и – о непостижимое противоречие сердца женщины! – принялась читать его письмо с такой же жадностью, с которой двое суток перед этим читала письмо Казаля.

«После 5 часов вечера.

Мой друг!

Чтобы написать вам то, к чему обязывает меня долг перед самим собой и перед вами, мне захотелось вернуться в маленькую квартирку на улице Пасси, которую в более счастливые времена вы называли „наш уголок“. Мое сердце радостно билось каждый раз, как вы произносили эти два простых слова. Они, увы, так нежно выражали то, что было моей единственной мечтой, грезой, святой надеждой, которую я лелеял в течение нескольких лет, – жить с вами открыто, дать вам мое имя, быть всегда с вами и забыть подле вас мое печальное прошлое, оправиться от страданий и

насладиться безграничным счастьем... И вот я снова в том уютном гнездышке, которое вы никогда более не назовете „нашим уголком“. Я смотрю на все, что меня здесь окружает: эти немые предметы как бы оживают для меня, я рассматриваю обивку на стенах с ее незатейливыми пейзажами – деревьями и колокольнями, маленькую низкую библиотечку с теми книгами, которые мы читали здесь с вами, старинные вазы, которые я наполнял к вашему приходу цветами!.. Да, человек, у которого смерть похитила любовницу, который пришел на кладбище посетить ее могилу, не может страдать сильнее меня; я тоже пришел проститься с могилой нашего общего дорогого прошлого; и может ли сравниться чья-либо скорбь с моей тоской, чья-либо любовь с моей любовью. Мне так хочется, чтобы эти строки, которые вы прочтете, когда я буду далеко и от Парижа, и от нашего заветного уголка, занесли к вам хотя бы слабый отзвук этой грусти и этой любви. Мне так хотелось бы, чтобы в вашей памяти остался образ не того человека, который говорил вам вчера таким странным тоном, а образ того, который думал о вас так, как я думаю в настоящую минуту – с благоговейной любовью, с нежностью и с беспредельной благодарностью за ту долю сердечной привязанности, которую вы отдали мне здесь, перед этими безмолвными свидетелями моего счастья. Вы так широ-



ко наделили меня счастьем, что даже теперь, в моей безысходной тоске, я могу только сказать вам спасибо, так живы во мне воспоминания о тех минутах, когда вы принимали мою любовь и когда сами дарили мне свою!

Поймите меня, бесконечно дорогой друг мой, и не считайте меня неблагодарным; уезжая от вас, я уверен, что вам дорог: вы всегда были чистосердечны, говоря мне, что малейшая грусть в моих глазах вам нестерпимо тяжела. Уверен я и в следующем: узнав из этого письма, что я надолго, если не навсегда, уезжаю из Франции, вы будете искренно, глубоко страдать. Вы, надеюсь, не осудите меня, если я добавлю, что именно ваша глубокая привязанность ко мне служит также подтверждением того, как сильно в вашем сердце другое чувство, вспышку которого я видел вчера: новая любовь так овладела вами, что вы не могли вырвать ее из своего сердца, хотя и сознавали, как глубоко я буду страдать. Теперь я понял, какую вы пережили душевную борьбу.

Драма, разыгравшаяся в вашем сердце, осветилась для меня новым светом: я сразу понял, как сильно вы были ко мне привязаны и как мало эта привязанность походит на любовь. Вы были искренни, не желая сознаться самой себе в новом чувстве, овладевшем вами! Вы горды и не могли допустить мыс-

ли, что вы изменились; вы добры и не хотели причинить мне горе. Вы искренни и ни на секунду не допускали, что можете изменить человеку, с которым считали себя соединенной на всю жизнь. Увы! Поверьте, Жюльетта, новая любовь ваша очень уж сильна, если даже такие стимулы не смогли ее победить в вашем сердце. Если бы я не слышал вашего вчерашнего крика, не видел ваших слез, когда вы поверили роковому исходу дуэли, то и тогда для меня, который так хорошо вас изучил, все было бы ясно. Но я был свидетелем этих слез, я слышал этот крик. Если я решаюсь уехать, то потому, что сознаю, что не буду в силах смотреть на вашу новую любовь. Будете ли вы продолжать с нею бороться или сдадитесь, я тотчас же это узнаю по вашей грусти, по вашей радости, по вашему молчанию – по тому, как вы будете щадить меня. Я не вынесу этого; я – человек, любящий вас всем сердцем, всеми силами своего существа, – человек, которого и вы любили и от которого не можете, не должны требовать сверхчеловеческих усилий. Да и вправе ли я теперь, когда мне все стало ясно, смущать своей тоской вас, пред которой открывается новая жизнь, вправе ли я смущать вас моей любовью, которую вы уже не разделяете, тревожить вашу совесть и мешать тому, в чем, может быть, заключается ваше счастье? Имею ли я право выказывать свою ревность, которую

я не в силах побороть, в чем смиренно сознаюсь. Могу ли я допустить, чтобы на вас отозвалась моя болезненная чувствительность, которая причиняла вам столько страданий и, вероятно, в течение многих лет! Нет, Жюльетта, перебирая в своей памяти все пережитое нами, я сознаю, что нам необходимо расстаться; разлука неизбежна, когда одно из двух любящих сердец разлюбило, а в другом любовь так же сильна, как прежде. Это невыразимо горько! Ах, горше самой смерти! Но только этой ценой можно спасти свое достоинство и уважение к прошлому, которое лишь в том случае останется чистым, если оно бесповоротно станет только прошлым.

Я долго обдумывал все это уже тогда, когда, вернувшись из Безансона, впервые подумал, что вы можете заинтересоваться кем-нибудь другим, кроме меня, но никогда еще не представлялись мне такими все эти грустные мысли, как вчера и сегодня ночью. Я понял, что все перенесенные нами печали являются искушением за то запретное счастье, которым мы наслаждались! Я слишком хорошо знаю, как искренни ваши религиозные чувства, чтобы не догадаться, что за той задумчивостью, причину которой вы мне никогда не говорили, скрывается сожаление и угрызения совести за то ложное положение, в которое вас поставила любовь ко мне!.. А виноват был один я: не будучи

свободным, я должен был таить от вас мою любовь, я не имел права насладиться ее радостями. И кто знает? Если бы у меня хватило мужества любить вас тайно, любить безмолвно, благоговейно, страдальческой чистой любовью, близкой к поклонению, быть может, Тот, Который всеведущ, за такое геройское отречение не допустил бы, чтобы угасла ваша нежная привязанность ко мне! Кто знает, не нисходит ли на самоотверженную чистую любовь такая же благодать, какую мы обретаем при глубокой вере и которая делает нас всегда способными молиться. Если это действительно так, и нам обоим грозит неизбежность искупления, я молю Бога, на которого мы так всегда твердо уповали, даже преступая Его законы, чтобы Его правосудие наказало меня одного.

Молю Его сделать достойным вас того человека, который похитил у меня вашу любовь; пусть человек этот поймет, какое прекрасное и благородное существо привела к нему судьба через столько испытаний. Теперь я коснусь самого большого вопроса. При этом позвольте мне вам сказать, что со вчерашнего дня я несколько изменил свой взгляд на вашего нового друга. Когда-то я говорил вам о нем резко и с горечью, предчувствуя в нем благодаря какому-то ясновидению палача своего счастья. Не думаю, что я тогда был вполне прав и что тот, которого вы могли полюбить,

таков, каким я его считал. Я хочу, я должен вам сказать, что мое мнение о нем переменялось после его письма, в котором он извинялся, – письма, которое такому человеку, как он, было очень трудно написать; этим он доказал мне, как глубоко он вам предан. Я не сказал вам вчера того, что должен теперь добавить, чтобы быть к нему беспристрастным: он исполнил то, что обещал вам в своем письме, и стрелял на воздух! Пусть все то, что я пишу вам теперь о нем, зачтется мне, как искупление за мое страстное озлобление против него, не позволившее мне принять его извинение и заставившее меня желать его смерти. Пусть все только что сказанное даст мне еще право молить вас хорошенько обсудить – идти ли вам дальше по тому пути, на который вы ступили! Испытайте его, узнайте его чувства к вам теперь, когда вы свободны отдаться своим чувствам. Он свободен, молод, не раб своего прошлого; он может посвятить вам всю свою жизнь и переродиться под вашим влиянием. Если этому суждено совершиться, конечно – мне будет тяжело, что вы именно этим способом начнете свою новую жизнь. Но в настоящее время я люблю вас так бескорыстно, все мучения последнего времени сделали мою любовь к вам такой святой, что вдали от вас я найду силы примириться с этой мыслью, помня слова Святого Евангелия: „Мир оставляю вам, мир мой даю вам, –

не так, как мир дает...“ Такой мир доступен душе, полюбившей беззаветно и от всего отрекшийся!

А теперь, мой друг, прощайте. Прощайте, звезда моего неба, светившая мне из ясного уголка этого пасмурного неба. Прощайте вы, которая поддержала меня тогда, когда я изнемогал под бременем жизни, вы, благодаря которой я могу сказать: я испытал счастье. Не бойтесь какого-нибудь рокового шага со стороны человека, покидающего вас лишь с одним вашим образом в душе и с одним только желанием знать вас счастливой и не заставить вас никогда пролить ни одной слезы. В эту ночь в моих тяжелых думах я решил, как употребить годы, которые мне осталось прожить. Из моего последнего опыта на политическом поприще я понял, что мне следует порвать и с этой деятельностью, с которой, впрочем, порвать навсегда мне ничего не стоит! Остаток моей душевной энергии я решил посвятить другому делу. Наши личные скорби были бы жестоко бесполезны, если бы не заставляли нас искать забвения в бескорыстном служении идее, в служении общему делу. Вы так хорошо знали мои замыслы в те счастливые дни, когда вы мне позволяли думать вслух при вас! Вы поймете меня, если я скажу вам, что решил ехать в Соединенные Штаты, где займусь моим капитальным трудом по социальной философии, план которого вы так одобряли.

А для того, чтобы привести его к концу, нужны многолетние исследования, возможные только там, в Америке. Завтра, когда вы будете читать это письмо, я буду уже в море; предо мной будет только громада волн, все больше и больше отдаляющих нас друг от друга. Я уже подал президенту палаты свою отставку. Самые важные дела были уже приведены мною в порядок еще накануне поединка; а второстепенными согласился заняться наш благороднейший Людовик Аккрань, беспредельную любезность которого вы хорошо знаете; он и дал мне возможность выехать сегодня же. Первое лицо, которое он назвал, узнав о моем решении, были вы. Я ему сказал, что уже обсудил с вами это путешествие и что вы его одобрили; смотрите же, поддержите меня в этом. И вот теперь я могу думать только о вас и с грустью, и с неизъяснимой сладостью. Не правда ли, вы мне напишете? Но только еще не сейчас, позвольте мне выбрать время, когда я буду в состоянии узнать от вас обо всем, не испытывая смертельных мук. Оставьте мне в своем сердце местечко, как другу, чем я не мог бы удовольствоваться, оставаясь с вами. Мое сердце так болезненно уязвлено, так легко обливается кровью! Но разлука излечит и от этого, сохранив одно неувядающее чувство, вся суть которого заключается в этих простых словах: „Будьте счастливы даже не со мной, даже вдали от меня“...

Еще раз прощай, дорогой друг мой. Не забывай, как я тебя любил. Что сказать тебе еще? Разве эти трогательные слова всех униженных судьбой, слова, которые говорю тебе из глубины моей души: „Господь да хранит тебя“, моя единственная любовь!

Генрих».

Когда мы расстаемся с кем-нибудь навсегда, происходит странное явление: на душу оно производит то же действие, что отдаленность на зрение. Вы были в каком-нибудь городе, обошли его вдоль и поперек, рассмотрели каждый камень его здания. Вам не нравилась то одна, то другая его подробность. Вас поражало каждое нарушение гармонии: здесь стиль одного здания поражал вас своим контрастом со стилем соседнего дома, в другом месте запущенность здания, приходящего в ветхость, дальше неуклюжесть неудачно реставрированного фронтона. Ваше внимание разбивалось, вы не были подготовлены к тому впечатлению, которое получается от общего чарующего вида на город и которое вы теперь испытываете, любясь с палубы парохода зданиями, возвышающимися вдоль берега или стоящими на горе одно над другим. Вы не в состоянии оторваться от этой панорамы, как Боабдиль, который, как гласит предание, все оглядывался на свою дорогую Гренаду и проливал по



ней слезы.

В настоящую минуту город тонет в лучах солнца, заходящего во всем своем блеске; главы церквей, устремленные к небесам, верхушки горделивых памятников, низкие кровли лачуг – все словно осыпано золотой пылью. Это запоздалое очарование, при виде чарующего целого, напоминает то чувство, которое мы часто испытываем к умершему другу, когда провозжаем его на кладбище: мы словно забываем, что друг этот иногда досаждал нам. Он вдруг предстает пред нами в идеальной красоте своего духовного существа – красоте, которую мы прежде не замечали. Его настоящая личность, освобожденная от ежедневных мелочей жизни, делается нам дорогой, и мы видим, как он был необходим нашей душе. Мы готовы применить к нему тот великий гуманный закон, по которому всякое доброе качество только тогда достигает своего развития, когда имеет рядом с собой противоположное – дурное. В умершем мы видим только его хорошие стороны и оплакиваем его с искренней любовью, сознавая, как часто были несправедливы к нему при его жизни. Несправедливости наши он чувствовал, но слез наших уже не чувствует. Какое злое противоречие и как торжествуют при этом жестокие моралисты! А что же оно, однако, доказывает, как не то, что мы живем и умираем одинокими, и только ред-

ко понимаем сердце ближнего и еще реже даем ему возможность понять нашу душу.

В те дни, которые следуют за окончательным разрывом с любимым существом, мы находимся в состоянии, напоминающем предсмертную агонию; мы переходим от бурного протеста к смирению, от надежды к отчаянию и увлекаемся обманчивыми грезами. Один юморист оригинально, но тонко назвал «посмертной кристаллизацией» то странное изменение в оценке прошлого, которому подверглась госпожа Тильер, когда она прочла письмо де Пуаяна. Она положила себе на колени эти страницы, в которых тот, кто был ее другом в течение стольких лет, как бы отпечатлел всю свою душу, и тихие горькие слезы неудержимо полились из ее глаз. Тут он высказал ей всего себя и свою абсолютную прямоту; даже теперь, в час расставания, в его мыслях не было и тени злого подозрения; он любил ее с пылом, подобным религиозному пылу мученика, находящего блаженство в муках отречения, он так верил в свои идеи, что даже в этих прощальных страницах к обожаемой женщине с наивной искренностью проповедника упоминал о своем намерении написать историю социализма! Перед Жюльеттой разом предстали бесчисленные эпизоды их романа! Генрих представлялся ей таким, каким она узнала его в первый час их встречи, когда она сразу по-

няла, что он со своим цельным характером не может идти за своим веком, что люди, подобно ему не идущие на компромиссы со своей совестью, неминуемо должны погибнуть в наш беспринципный век. Как ухаживание его за ней было полно деликатности. С каким умилением и даже гордостью следила она тогда за его постепенным возвращением к жизни, по мере того как она заживляла его рану! Ведь именно тогда ему хотелось сделаться более известным, и лучшие его речи относятся ко времени первых лет их счастья, когда она заключила с ним тайный союз, которому он остался верен, тогда как она!.. Ах! Эти слезы, неудержимо льющиеся на письмо Пуаяна, смывавшие на нем чернила, не были только слезами печали о навсегда законченной чудной поэме любви... их вызвали и горькие угрызения совести.

Да, он был прав, благородный друг, и гораздо больше прав, чем говорил, чем думал. Разрыв между ними сделался неизбежной необходимостью. Что случилось с той, которую он окружал таким ореолом уважения, возвращая ей свободу? Как поступила она? Если бы теперь она и захотела помешать отъезду Генриха, возражать на его «прости» и отказаться от свободы, так благородно ей предложенной, она не смогла бы решиться на это, чувствуя, что потеряла на это право своим падением, которое в настоящую минуту стало

ей прямо непонятным, – настолько прощальные слова Генриха вернули к нему ее прежние чувства. Образ Пуаяна далеких, прежних дней заслонил и стер все, что она перечувствовала за последние недели! Это возвращение к прошлому, от которого в руках у нее осталась такая скорбная и жалкая реликвия, не могло быть продолжительным; однако оно настолько было сильно, что целый день она думала только об отсутствующем, так любившем ее и теперь так от нее далеко.

Только вечером приезд Габриеллы с известием о другом, о раненом, вывел ее из этого гипноза тоски и отчаяния, и она упрекнула себя, что ни разу не вспомнила о Раймонде, тогда как и он тоже страдал из-за нее! Условие, принятое во время дуэли о полном сохранении ее в тайне, строго соблюдалось, и де Кандаль объяснил жене болезнь Раймонда легким приступом ревматизма в левой руке. – Дней через пять-шесть ему можно будет встать, – добавила графиня де Кандаль. – Только бы после его выздоровления кому-нибудь из них не пришла бы мысль о новой дуэли.

– Ну, этого уже не может быть, – ответила Жюльетта, – прочти это письмо. – И говоря это, она передала госпоже Кандаль письмо Пуаяна еще со следами на нем ее слез. Она сделала это, повинувшись одновременно и опасной непреодолимой потребности высказать-

ся, одинаково овладевающей нами и при чрезмерной радости и при великом горе, и более благородному чувству – желанию показать своей подруге все благородство человека, так плохо прежде оцененного ею. Жюльетта увидела, что и у молодой графини выступили слезы, по мере того как она читала письмо Пуаяна, а затем она услышала ее возглас:

– Боже мой! Если бы я его знала!..

Затем графиня возвратила Жюльетте письмо Генриха и после минутного колебания сказала:

– А постаралась ли ты узнать, насколько Казалю известно твоё отношение к Пуаяну и кто его в это посвятил?

– Ему все известно, – ответила Жюльетта, – и знает это он от меня самой!..

– Как, от тебя самой? – возразила госпожа Кандадь, но увидела такое смущение на лице Жюльетты, что не решилась дальше расспрашивать о том, при каких обстоятельствах произошло это признание. Итак, Жюльетта виделась с Раймондом, после того как он был у них? И свидание носило, вероятно, очень интимный характер, если Жюльетта дошла до такого признания! Так же как и Пуаян, она не подозревала ужасной истины, но увидела, какую новую опасность создавало это признание для Жюльетты в ее отношениях к Казалю, и продолжала:

– А если он, узнав о вашем разрыве, снова захочет видиться с тобой. А как ему не узнать об этом? – газеты будут говорить об отставке самого выдающегося оратора правых и об его отъезде в Соединенные Штаты...

– Если он будет искать случая меня видеть, – ответила Тильер, – я сумею ему показать, кто я...

На этот туманный ответ госпожи Тильер графиня не стала просить разъяснений, боясь потревожить это измученное сердце. А Жюльетта этим ответом, в котором графиня не нашла ничего определенного, выразила свое решение не идти далее по пути падения; решение ее было твердое, но она еще сама не знала, в чем оно должно было выразиться. С того самого момента, как она освободилась из объятий Казаля, до настоящего ее разговора с Габриеллой, разные побочные заботы постоянно мешали ей взглянуть прямо на свое новое положение. Сначала мысль о свидании с матерью, потом страх за исход дуэли и наконец разговор с Пуаяном и безумный страх перед последствиями этого разговора... Каждое из этих событий казалось ей самым опасным, а между тем она их пережила. Так бывает с бурными волнами, которые, как кажется, грозят все снести, но они отливают, ничего не повредив. Сошло свидание с матерью. Состоялась дуэль.

Граф с твердостью раз принятого решения определил их отношения, и только оставалось окончательно ему покориться. Все вопросы, казавшиеся ей такими трудными, разрешились, – все кроме, однако, самого жгучего. Получив свободу, она стояла лицом к лицу перед неизвестным: ее неотвязчиво преследовали слова Габриеллы, какого о ней мнения Раймонд? Чего потребует тот, от которого зависела вся ее будущая жизнь?.. Что он думает? Чего желает? После ухода графини она подошла к своему письменному столу, за которым так часто писала де Пуаяну, и достала письмо Казалья, написанное в утро дуэли... Она перечла его с бесконечной грустью, вызванной невольно напросившимся сравнением, и в настоящую минуту сравнение это было очень горьким! Какая громадная разница между этой запиской, полученной ею на другой день после того, как она ему отдалась, и прощальным письмом Генриха. Эти несколько строк Раймонда с таким прямым упоминанием о том, что произошло накануне, с этим обращением «прелестный друг» и окончанием, в котором так определенно говорилось об устройстве их будущих свиданий, – эти строки открыли глаза Жюльетте так же хорошо, как если бы Казаль оскорбил ее, перейдя с «вы» на «ты», и послал ей поцелуй в своем письме. Да, она была для него такая же, как госпожа Корсьё, де Гакевиль и д'Эторель.

Все эти фамилии, случайно названные госпожою Кандаль когда она посетила Жюльетту в роковой день случая с каретой, разом пришли ей на память. Он писал ей так же, как, вероятно, писал им и многим другим. Да и почему он будет судить ее снисходительнее этих дам? Потому, что они славились своими любовными похождениями, а она нет? А был ли он уверен в ней? Он только знал, что у нее уже был один любовник. А после того, что она отдалась ему и при таких обстоятельствах, – не имел ли он права предполагать, что, кроме Пуаяна, были и другие? При этом воспоминании всю ее обдало как бы горячей струей стыда. Какая пропасть между этим истолкованием ее поступка и представлением о ней Пуаяна, между этой грубой жадной обладания ею и благоговейным обожанием Генриха, который мучился тем, что не мог достаточно уважать своего соперника! Боже мой! Что сказал бы он, узнав о том, что Казаль предлагает ей вступить с ним в связь? Она с такою ясностью представила себе все подробности этой связи, что ею овладел смертельный страх, как будто она уже в действительности их переживала. Нечто подобное происходит со страдающими морскою болезнью: они чувствуют ее приступы от одного корабельного запаха, лишь только взойдут на палубу. Жюльетта как бы видела себя



снова начинающей свои тайные разъезды по Парижу, которые всегда так мучили ее в ее отношениях с Пуаяном, и эти ожидания перед дверью, при чем так сильно всегда билось ее сердце, и выход под густой вуалью, и трепетное возвращение ее на улицу Матиньон. Но тогда ее поддерживал Генрих, которого она еще не разлюбила; она знала, что он не менее ее страдал от грустной необходимости скрывать их любовь. Он только еще более уважал ее и жалел, что не может узаконить их отношения браком. Сколько раз он на коленях перед ней молил ее простить ему грех, в который ее вводил. А что она знала о характере Казаля? Он, действительно, ухаживал за ней так деликатно, нежно, покорно, что очаровал ее этим, но ведь тогда он считал ее свободной, безупречной, А как он сразу переменился, когда им овладела безумная ревность. Как жестоко обошелся с ней, когда она была у него, чтобы добиться его извинения перед Пуаяном. Что же это был за человек и как не вспомнить того, что Генрих говорил ей о нем по поводу страданий, причиненных им Полине Корсьё, как не припомнить легенды о цинизме этого прожигателя жизни. Она содрогнулась от страха не только перед неизвестными ей сторонами души Казаля. Ей стало ясно или, вернее, она предчувствовала, что, несмотря на угрызения совести, несмотря на желание остаться всеми уважаемой,

несмотря на внезапно пробудившееся в ней недоверие, она не устоит перед этим человеком, каким бы он ни был, как только увидит его, и тогда он будет ее властелином навсегда. Страсть, испытанная ею в объятиях Казалю, бросала ее в жар при одном воспоминании о ней.

С ним она впервые познала восторги любви; и теперь заранее содрогалась при мысли, что попадет под власть всеопьяняющей страсти, которую почти никто из женщин не признает, несмотря на то, что почти все они – ее покорные рабы или готовы сделаться таковыми... Жюльетта чувствовала, что если она еще раз отдастся Казалю, ей придется распротиться со своей волей и уже будет поздно думать о возвращении с опасного пути... А возможно ли ей будет устоять перед ним, когда одна мысль о нем отсутствующем волнует ее, расслабляет и даже заставляет колебаться в мечтах об искуплении вины. Ее первый грех с Казалем можно было если не извинить, то объяснить ее тогдашним неменяемым состоянием; но если она будет его продолжать, то это станет ее окончательным падением, нравственной смертью той Жюльетты, которая умела сохранять полное достоинство во время своего романа с Пуаяном, хотя свет, конечно, осудил бы этот роман. Тогда она искупала свой грех тем, что умела сохранить свою гордость. Увы! Что осталось от

этой гордости после ее визита к Казалю и что будет с нею дальше, если она заведет с ним новую интригу, тем более унижительную, что он еще так недавно предлагал ей сделаться его женой. Так еще недавно, – а как уже ей это казалось далеким! Да, несмотря на свой характер и понятия, Казаль мечтал дать ей свое имя, чтобы не иметь надобности скрывать свои отношения с нею, он мечтал о том, о чем Пуаян говорил в начале своего прощального письма. Но когда Казаль предлагал ей свою руку, он ее еще уважал. Как доказать ему, что, несмотря на факт ее неожиданного падения и на столько других неверных внешних признаков, она была достойна сохранить хоть часть его уважения, а не быть приравненной им к дамам, известным своими любовными похождениями.

Она никогда не походила и не будет на них походить. Под влиянием этих мучительных размышлений за то время сравнительного спокойствия, которым она пользовалась, благодаря невольному заключению раненого Казалья, в ней созрело решение, осуществление коего могло примирить различные стремления ее души; оно давало ей возможность и быть достойной поклонения Пуаяна, и удовлетворить свое страстное желание хотя бы отчасти искупить свою вину и сохранить незапятнанным свое доброе имя, которое она всегда так настойчиво оберегала. Но боль-

ше всего ей хотелось вернуть себе уважение Казаля, хотелось, чтобы он теперь уважал ее даже больше, чем прежде: так сильно она продолжала его любить. За это решение говорило еще и то, что оно вполне согласовалось с той страшной усталостью, которую она ощущала после целого ряда потрясений. А что, если ей навсегда отказаться от свидания с Раймондом?.. Прежде чем он будет в состоянии приехать к ней, она уедет из Парижа и удалится в дорогой Нансэ – приют ее детства и молодости, где при первом ее великом горе в 1870 г. она уже испытала магическое действие одиночества, так чудесно исцелившего ее. Да, не уехать ли? Пусть он помнит о ней, как о женщине, которая, находя для себя невозможным стать его женой, не захотела быть его любовницей. Конечно, он узнает об отъезде Пуаяна в Америку и поэтому не сможет заподозрить ее в желании вернуться к Генриху после того, как она принадлежала другому. Он, быть может, поймет тогда, что она не искала вульгарной любовной интриги. Но как отнесется он к ее бегству? Не последует ли он за ней в Нансэ? Ну, что ж! Тогда она пойдет еще дальше. Решившись на окончательный разрыв с любимым человеком, следуя в этом отношении мужественному примеру Пуаяна, она чувствовала, что опасность только придаст ей новые силы. Она стала лелеять грезу, которую лелея-

ли все хрупкие, любящие существа, искавшие убежища от жестоких душевных бурь и ударов судьбы: от Раймонда она спасется за монастырской оградой. Как бы мужчина ни презирал женщин, он не может не питать уважения к той, которая проводит остаток дней своих в отшельнической келье, под защитой креста. А как ей будет легко сделаться монахиней теперь, когда она так измучена, так разбита. Единственным препятствием к немедленному пострижению была госпожа Нансэ.

– Нет, – подумала Жюльетта, – я не могу оставить мать. – Об этом она раньше не подумала. И так уже будет трудно заставить мать примириться с окончательным отъездом из Парижа и дать понять этой бедной старушке, что ее мечта о новом замужестве Жюльетты неосуществима. Но чем оправдать в ее глазах такое внезапное решение? Какую долю правды открыть ей, чтобы убедить ее уехать и вместе с тем не слишком огорчить ее? Жюльетта так боялась этого объяснения с матерью, что откладывала его с утра на вечер, а с вечера на утро и верно долго бы еще продолжала откладывать, если бы ее не заставило принять решение известие, полученное ею на четвертый день после дуэли: Раймонд собирался прийти к ней. Возвратившись после долгой прогулки по тем же пустынным аллеям Булонского парка, где ею было при-

нято ее первое решение: не принимать у себя Раймонда, она нашла чудную корзину роз и орхидей, принесенную посыльным в ее отсутствие. К ручке корзины была пришпилена записка, один почерк которой привел ее в страшное волнение. Она тотчас узнала почерк Раймонда, несмотря на то, что он был написан неуверенной рукой. Раймонд писал:

«Первые слова, которые я в силах начертать, дорогой друг, пишу Вам, чтобы успокоить Вас и спросить, в котором часу мне можно прийти к Вам завтра, в день моего первого выхода. Р.К».

Пока Жюльетта читала эту записку, написать которую раненому Казалю стоило, по-видимому, больших усилий, она вдыхала опьяняющий запах роз. Он нежил ее, как ласка; записка Раймонда, казалось, излучала страстное желание обладания. Вдруг, как бы отгоняя от себя какое-то наваждение, Жюльетта разорвала записку на мелкие кусочки и выбросила за окно в сад; потом она вынесла корзину с опасными цветами на балкон и вернулась к себе в комнату. Там она бросилась на колени и стала молиться. Что произошло в этой измученной душе в продолжение целого часа молитвы, часа, ставшего, конечно, решительным часом ее жизни? Нет ли в молитвах страждущих душ, так горячо возносимых к Непостижимому Духу, Творцу всех судеб, того исцеляющего свойства, той поддерж-

ки для ослабевшей воли, в которые люди инстинктивно верили во все времена? Не в этот ли момент Жюльетта дала себе тот обет, который ей удалось выполнить менее чем через год. Когда она встала, глаза ее блеснули, и видно было, что ее озарила какая-то мысль. Она прямо прошла наверх к матери, которая очень удивилась, увидя ее такой преображенной:

– Что ты хочешь мне сообщить с таким восторженным видом? – спросила она дочь, которую привыкла видеть все последнее время такой грустной, что резкая перемена, происшедшая в ней, испугала ее.

– Я пришла сообщить вам об одном намерении, которое прошу вас одобрить, дорогая мама, хотя оно, вероятно, покажется вам не особенно благоразумным, – ответила Жюльетта. – Сегодня вечером я еду в Нансэ.

– Это действительно неблагоразумно, – продолжала мать, – та забываешь, что доктор нашел необходимым наблюдение за твоим здоровьем, так как он говорит...

– Ах! – перебила ее Жюльетта, – разве тут дело в моем здоровье! Дело в том, – продолжала она серьезно, почти трагически, – будет ли ваша дочь честной женщиной, которая может целовать вас, не краснея, или же... падшей женщиной...

– Падшей женщиной?.. – повторила госпожа Нансэ

с видимым ужасом. Усадив дочь на скамейку у ее ног, она с бесконечной нежностью погладила ее волосы и продолжала:

– Ну, дорогое дитя, исповедуйся перед старой матерью. Я уверена, что в твоей головке опять засела какая-нибудь сумасбродная мысль. У тебя ведь особенный талант портить себе жизнь разными бреднями а как бы ты могла жить спокойно...

– Нет, дорогая мама, – сказала Жюльетта, – тут не бредни, не воображение, – и продолжала еще мрачнее. – Я люблю человека, женой которого не могу быть и который ухаживает за мной. Я чувствую, я знаю, что если останусь здесь и увижу его, я погибну; вы слышите, мамочка, я погибну. Да, погибну, и теперь у меня только хватает сил бежать.

– Как, – спросила госпожа Нансэ с ужасом, выдававшим недальновидность ее тревог за дочь, – так ты расстроена не разлукой с Пуаяном. Я очень хорошо замечала, что ты страдаешь, но я думала, что он являлся причиной этого, и объясняла себе его отъезд тем, что он любит тебя, но не свободен...

– Умоляю вас, не расспрашивайте меня, дорогая мама, я ничего не могу вам объяснить... Но поймите, если вы любите меня, я не решилась бы так говорить с вами, если бы не страдала невыносимо; обещайте же мне не мешать исполнить то, что я собираюсь сде-



лать...

– Что? – воскликнула госпожа Нансэ. – Боже мой, ведь не собираешься же ты оставить меня и уйти в монастырь?

– Нет, – ответила госпожа Тильер. – Но я хочу навсегда уехать из Парижа... отказаться от этой квартиры, так как моя нога никогда не переступит ее порога... Простите меня, если я причиняю вам хлопоты, которые собственно должна была бы взять на себя... Я попрошу вас переслать все, что мне здесь принадлежит, в Нансэ, где я буду вас ожидать...

– Да что ты говоришь, – ответила госпожа Нансэ, – ведь через месяц, ну через год, тебе до смерти надоест Нансэ и твое одиночество. Ты придешь в себя от чувств, волнующих тебя в настоящее время... И тебе станет невыносимо жить вдвоем со старухой...

– С вами буду жить я, дорогая мама, с вами всегда и именно в Нансэ, в этом мое спасение, – сказала Жюльетта, страстно целуя белые морщинистые руки матери, ласкавшие ее страдальческое лицо. – Ах, не будем больше рассуждать. Вы меня любите, вы знаете мою порядочность и благородство, помогите же мне спастись от падения...

– Жить со мной? всегда? – с грустью возразила госпожа Нансэ. – А что будет с тобой, когда я умру, и ты останешься совсем одинокой на свете. Конечно, я

умру раньше тебя, – и что же тогда?..

– Когда вас не будет со мной, – ответила Жюльетта с каким-то незнакомым ее матери выражением, – Господь будет со мной...

Спустя одиннадцать месяцев после своей дуэли с Пуаяном и последовавших за нею событий Раймонд Казаль возвращался со своим приятелем лордом Гербертом на яхте этого последнего с Цейлона, где они охотились на слонов, после того как на одном из берегов Персидского залива стреляли львов.

Они остановились на острове Мальте, где их ожидала корреспонденция. Вероятно, одно из полученных Раймондом писем очень его расстроило, так как он сделался таким грустным, что лорд Герберт даже не пробовал его развлечь. Он знал, что у Казалья была на сердце какая-то тяжкая забота, хотя от него самого он не слышал никаких признаний, но догадался об этом по резкой перемене, происшедшей в прежнем беззаботном Казале. Все эти одиннадцать месяцев они почти не разлучались и проводили время, как подобает двум друзьям, плавающим под белым с красным крестом флагом королевской эскадры. В августе они были в Норвегии, ловили лососей, оттуда поднялись до Нордкапа. В Англию они вернулись на несколько недель весной, чтобы не пропустить скачек в Ньюмаркете; здесь они отдались –

Раймонд своей безумной страсти к игре, а лорд Герберт демону алкоголя, так как в море на своей «Далиле» – так называлась его яхта – он делался совсем другим человеком и не позволял себе ни единой капли водки, следил за малейшими подробностями по управлению яхтой, с точностью моряка, получившего диплом капитана дальнего плавания. Это служило доказательством, что в лорде Герберте жило сознание своей ответственности, – такое сознание типичная черта представителей англо-саксонской расы. Он периодически воздерживался от алкоголя, и это предохраняло его от полного оупения, к которому может привести постоянное употребление этого ужасного яда. Тогда к лорду Герберту возвращались все его способности, и его друзья с удивлением находили в нем прежнего выдающегося оксфордского студента, каким он был, пока не стал топить горя в вине, чтобы уйти от всего в мире и от самого себя. При виде грусти своего единственного друга, которого он любил с чисто английской преданностью, глубокой и надежной, он всячески старался развеселить его, причем выказывал остроумие, которого и не подозревали в нем завсегдатаи «Филиппа», и чувствительность еще более удивительную. За все время их продолжительного путешествия в Индию и Персию, предпринятого в декабре, он очень искусно и деликатно обходил го-

ре своего альтер эго, но в день их отплытия из Мальты он так растрогал Казалю своей дружеской заботливостью, что Раймонд решился, наконец, рассказать ему ту удивительную драму, в которой он был одним из действующих лиц. Фамилии госпожи Тильер он, конечно, не произнес, а предупредил друга, что он отдаст на его разрешение самую необъяснимую загадку женской души.

Ночь была волшебной красоты. Звезды блестели с той яркостью, которой они отличаются только на юге. «Далила» незаметно рассекала тихое, глубокое, спокойное море, казавшееся голубовато-черным, а над ним расстилалась почти черная синева неба. Свежесть легкого ветерка, такая приятная после нестерпимой жары Египетского моря, довершала неотразимую успокоительную прелесть этой ночи. Лорд Герберт, сидя в глубоком соломенном кресле, молча слушал своего друга, выпуская клубы дыма из своей вересковой трубочки.

Раймонд отдался прелести воспоминаний и больше для себя, чем для своего молчаливого слушателя, воскрешал все картины пережитого за время его знакомства с Жюльеттой. Его первая встреча с ней у общей знакомой, его первые посещения, очарованию которых он отдался. Запрет Жюльетты посещать ее, что довело его до того, что он предложил ей сделать-

ся его женой; затем его безумная ревность, сцена с Пуаяном во французском театре; приход к нему госпожи Тильер, которая отдалась ему с большой страстностью... Потом он рассказал, как, оправившись от своей раны, он пошел к Жюльетте и услышал, что она уехала из Парижа; как написал ей, но не получил ответа; как узнав, что она в Нансэ, поехал туда и не только не был принят, но не мог даже мельком взглянуть на нее. Ему сказали в Нансэ, что она выходит только, чтобы погулять в парке, окруженном стеной, и он перелез через эту стену, как герой романа; а на другой день узнал, что она, вероятно, узнав о его присутствии в Нансэ, уехала неизвестно куда. Перед таким упорным решением его избегать он, как порядочный человек, прекратил свои преследования и именно тогда попросил лорда Герберта поехать с ним в Берген.

– Конечно, – сказал он в заключение, – нет ничего удивительного в том, что меня заставляет страдать женщина... – Но мне хотелось бы теперь, когда все это стало далеким прошлым, объяснить себе то, что я раньше не понимал, а после письма Кандаля, которое получил на Мальте, понимаю еще меньше! Содержание письма я тебе сейчас сообщу... Ну, теперь после всего, что я тебе рассказал, какое ты себе составил мнение об этой женщине?

– А ты вполне уверен, что она больше не видела

своего первого возлюбленного? – спросил Герберт.

– В этом нет никакого сомнения. Он до сих пор в Америке.

– Следовательно, она порвала с тобой не ради него. Прости мне несколько грубый вопрос: что она – очень страстная?

– Вся страсть.

– И очень наивна? Ты ведь понимаешь, что я подразумеваю.

– До крайности наивна...

– Ну, а этот Пуаян, ее первый возлюбленный, что, он хорошо пожил в молодости?

– Он? Да нисколько! Он какой-то проповедник; очень талантливый и красноречивый, но, вероятно, страшно ей надоедал... Так что же ты думаешь об этой женщине?

– А вот что, – продолжал лорд Герберт после некоторого молчания. – Она всегда была искренна с тобой и любила тебя, любила чувственно, но не могла разлюбить другого, которому отдала свое сердце. Он был избранником ее ума, мыслей и многого другого, исключительно ей присущего, и твое влияние не было достаточно сильным, чтобы это уничтожить, но ты дал ей то, в чем не удовлетворял ее де Пуаян: и в тебе она нашла удовлетворение своей страсти. Для того чтобы удовольствоваться одним любовником, ей

нужен был бы человек, совмещающий часть твоих качеств и часть качеств Пуаяна, т. е. и ты, и он в одном лице, – словом, ей нужен был Казаль с сердцем Пуаяна. Я не нахожу другого объяснения этим странностям... А теперь перейдем к письму Кандаля, – что же он тебе пишет?

– Что ее мать умерла, а она ушла послушницей в монастырь. – И Казаль добавил. – А все-таки невозможно согласовать такие факты: она любит первого любовника в продолжение нескольких лет, второго всего два часа и уходит в монастырь на всю жизнь!

– Во-первых, – возразил англичанин, – еще вопрос, останется ли она там... А если и останется, то это своего рода самоубийство. Монастырь заменяет восторженным женщинам вино. Это сантиментальнее водки или морфина, а к тому же более испытанное средство и, конечно, более почтенное, но цель у всех одна и та же: забыть все, забыть себя. И на что ты жалуешься, – продолжал он с горечью человека, таящего злобу на любовницу, которую он презирает, но все же не может забыть. – Женщина, которая, расставаясь с тобой, оставила в тебе мысль, что она вымаливает себе у бога прощение за свою любовь к тебе, да ведь в наш миленький век комедианток и потаскушек это – редкость из редкостей...

– А могу ли я быть уверен, что она меня любила? –

возразил Казаль.

– Конечно, любила...

– А другого?

– И другого любила, вот и все...

– Нет! – воскликнул Казаль, – это невозможно: человек не может любить одновременно двух.

– А почему же нет? – спросил лорд Герберт, пожимая плечами. И он зажег свою трубку, которую прочистил и набил табаком во время разговора с Казалем. Конечно, за все их путешествие он произнес меньше слов, чем в эту беседу.

– Когда я жил в Севилье, – добавил он, – у меня был проводник, страстный любитель пословиц; одну, которую он постоянно повторял, я рекомендую тебе, так как в ней заключается разгадка всей твоей истории, а может быть, и всех других историй: «Cada persona es un mundo» – «Каждый человек вмещает в себе мир».

Приятели замолчали, погружившись в свои мечты, а крупные яркие звезды продолжали гореть; темно-голубое море как бы вздрагивало; «Далила» плыла по этому морю под темно-синим небом. Но и море, и небо не так таинственны, не так изменчивы, не так опасны, а также не так прекрасны, как бывает порой среди бурь и штилей, среди страстей и жертв, среди противоречий и страданий непостижимое, загадочное женское сердце.